НЁМАН

1/2011
ЯНВАРЬ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1945 года
Минск

СОДЕРЖАНИЕ

**Редакционно-издательское учреждение
«Литература и Искусство»**

**Первый заместитель директора — главный редактор
Алесь БАДАК**

К сведению авторов

*Авторы несут ответственность за приводимые в материалах факты.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Редакция только сообщает автору свое решение.
Материалы, отправленные только по электронной почте, редакция не рассматривает.
Объем прозаических произведений не должен превышать 6 авторских листов.*

Техническое редактирование и компьютерная верстка *С. И. Таргонской*
Стильредактор *Н. А. Пархимович*
Набор *Т. С. Чуйковой*

Подписано к печати 10.01.2011 г. Формат $70 \times 108^{1}/_{16}$. Бумага газетная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 19,60. Уч.-изд. л. 19,89. Тираж 3556. Заказ 75.
Регистрационный № 11 от 22.08.09 г.

Адрес редакции: 220034, г. Минск, ул. Захарова, 19.
Телефоны: главного редактора — 284-85-25; заместителя главного редактора, отделов прозы, поэзии, публицистики, критики, зарубежной литературы — 284-80-91.
e-mail: neman-lim@mail.ru

Республиканское унитарное предприятие «Издательство «Белорусский Дом печати».
220013, Минск, пр. Независимости, 79. ЛП № 02330/0494179 от 03.04.2009 г.

**Учредители — Министерство информации Республики Беларусь;
общественное объединение «Союз писателей Беларуси»;
редакционно-издательское учреждение «Литература и Искусство»**



АЛЕКСЕЙ ДУДАРЕВ

Белые Росы

Киноповесть

Минск, 1982 г.

Каждый день старик встречал солнце.

Как только черный звездный небосклон над далеким лесом подернется редкой синью, старик медленно и торжественно проходит сад, спускается в белый туман, который рукавами тянется от речки к деревне, и, скрытый до пояса, плывет в нем навстречу теплу и багровому диску, шепчет чуть слышно:

— Ну, давай уж просыпайся! Утро выдалось студеное, довоенный ревматизм кости ломит, в мире неспокойно, президенты сходят с ума — плюнь на все и просыпайся людей согреть... Видишь, как оно получается: был молодым — ты меня будило на рассвете, старым стал — я тебя тревожу... Пришли уж и сегодня мне какой-нибудь захудалый лучик старые кости погреть... Ну, и остальным, конечно... Просыпайся, просыпайся...

Солнце просыпается...

Но первые лучи падают не на деревню (она стоит в низине), а зажигают багровым светом тысячи квадратиков окон большого серого бетонного города, который со всех сторон навис над маленькой деревней...

Старик смотрел на солнце.

Солнце смотрело на старика.

Несмелый розовый лучик, пробившись через листву в хату старика, мягко лег на старую фотографию, с которой испуганно смотрели трое совершенно одинаковых ангелят... Васька, Сашка, Андрей.

Васька Ходас возвращался домой со свадьбы. Шел в обнимку со старой отцовской трехрядкой. Трезвый. На свадьбах Васька никогда не пил. На свадьбах он играл. Тихий синеватый рассвет. Пустые улицы.

Васька приостановился, стал шарить по карманам в поисках курева. Нашел, стал вытаскивать... Гармошка неожиданно выскользнула из рук. Васька судорожно схватил ее и сам на ногах не удержался, стал падать грудью на цветастые меха...

— Спокойно!!! — нервно выкрикнул Васька. В воздухе, спасая инструмент, перевернулся и припечатался затылком к прохладному асфальту.

Васька лежал на проезжей части рядом со светофором, который ехидно мигал желтым глазом.

— Ну че ты моргаешь? Че моргаешь? — спросил Васька у светофора. — Дурак... Железный...

Вздохнул, посмотрел в голубеющее небо и, закинув ногу за ногу, растянул на груди трехрядку... И полилась, полилась из-под светофора между домами непривычная, чужая и далекая мелодия...

В доме слева скрипнула балконная дверь на шестом этаже...

Придерживаясь за косяки, на балкон вышел седой как лунь дед... слушал удивленно и не мог понять, откуда исходят звуки.

Еще одна балконная дверь открылась... Вышла старуха с мокрым ползунком... И замерла.

Васька играл уже закрыв глаза... Увлекся. Еще на один балкон вышли. Уже вдвоем. Старые люди...

Слушали... Но Ваську под светофором не замечали...

Желтая милицейская машина в двух метрах проехала мимо гармониста, но Васька самозабвенно играл и стражей порядка не заметил.

А вот они заметили. Метров через десять машина развернулась и остановилась под светофором. Хлопнула дверца...

Васька открыл глаза... Его гармошка захлебнулась. Над ним стоял старшина милиции примерно Васькиного возраста...

Васька проворно вскочил.

— Садись, подвезем, — просто сказал старшина и повернулся к машине.

Васька использовал это и, зажав свою гармошку под мышкой, задал стрекача во двор ближайшего дома...

Через полминуты машина догнала его...

— Ты что, припадочный? — крикнул из машины старшина.

— Не надо! Я со свадьбы, — жалобно заявил Васька, как будто свадьба разрешала всем валяться на проезжей части.

— Садись, тебе говорят, подкинем до дома!

— Ну, не буду я больше, не буду... — чуть не плакал Васька.

— Тьфу! — в сердцах сказал старшина и обернулся к водителю. — Разворачивайся, ну его... к черту!..

Машина развернулась и поехала со двора.

И тут Васька понял, что никаких репрессий и не предполагалось.

— Стойте! — довольно нагло крикнул он.

Остановились.

Васька подбежал, открыл заднюю дверцу, поставил на сиденье гармошку, сел сам, уверенно хлопнул дверцей, сказал небрежно:

— Поехали!

Машина развернулась перед светофором и, набирая скорость, понеслась по пустой улице.

Старые люди на балконах все еще слушали тишину.

Одинокий аист кружил над спокойной, утренней землей... Сделав два круга, большая птица на мгновение зависла над гнездом и опустилась на черную шапку гнезда на старом дереве... Подняв длинный острый клюв к небу, аист сыпанул в него торжественную мягкую дробь...

Старик подошел к колодцу с большой алюминиевой кружкой в руках... Кряхтя, снял тяжелую деревянную бадью, придерживая валик, пустил ее в черную глубину... Достал, поставил ее на край сруба, зачерпнул полную кружку и стал пить маленькими глотками.

Из глубины соседнего двора появился сухонький дедок. Колючий. Есть люди, которые за всю жизнь никому зла не сделают, но всю свою жизнь только и знают, что вредничают. Гастрит был из их числа.

— Здоров, Федос, — приветствует он соседа.

— Здоров.

— Я в смысле здоров — нигде не колет?

— Нет, не колет, — ответил Федос.

— Когда помирать думаешь? — спросил Гастрит. Спросил так, как спрашивают «который час?».

— В среду, — без паузы ответствовал Федос.

— В эту или в следующую? — ехидничает Гастрит.

— В какую, хрен ее знает, но что в среду — это как пить дать. Самый подходящий день... Помру, значит, поутрянке... Нет, нет... После обеда... Помоют. Ты мыть будешь. Только водой из этого колодца.

— Холодная же...

— Это тебе холодная, а мне будет в самый раз. Ну, весь четверг полежу. В пятницу, значит, на кладбище, а уж потом все выходные поминайте... Пейте, гуляйте аж до понедельника... На это сотни две оставлю...

Гастрит внимательно смотрит на соседа и безапелляционно заявляет:

— Брешешь!

— Чего ты?

— Не верю я, что вот так... И ты боишься. Должен бояться. Ну что ты видал такого в жизни, чтоб с легкой душой смерть принимать? Что ты за свою жизнь сделал?

Старик подумал немножко, ответил:

— Восемьдесят лет смерти фигу показывал... Это если в год по фиге, и то восемьдесят штук, а если чаще... Бо-большое дело! Троих сынов за один раз сделал, на ноги поднял и в люди вывел...

Гастрит сощурился:

— Брось ты! В люди он вывел... И еще раз! — Гадко сощурился, спросил: — Сашка пишет кому-нибудь?

— Пишет, — тяжело сказал старик. — Мне пишет.

— Мои не пишут, — грустно промолвил Гастрит и заявил зло и уверенно: — И твой должен не писать...

Старик с досадой посмотрел на соседа:

— Иди ты домой, Гастрит... С тобой поговоришь — потом целую ночь паскудство всякое снится. Ты от своей злости раньше времени загнешься.

— Не надейся! — окрысился Гастрит и тут же покорно согласился: — Загнусь, конечно, а тебя переживу!

— Ну, разве что...

Старик зачерпнул еще одну кружку и не спеша пошел к своей хате.

Гастрит посмотрел ему вслед, вздохнул, взял у плетня лопату, прошелся по своему запущенному и заросшему сорняками огороду. Зло воткнул в землю инструмент и сказал отчаянно:

— Пропади все пропадом!

«Чунча с гармошкой» катил через город на милицейских «Жигулях».

— Куда тебе? — спросил старшина.

— Во, пряменько по проспекту. Я из Белых Рос.

— Что, еще не снесли?

— Собираются... Говорят, в этом месяце... Скоро городским буду... С балкона людям на макушки поплевывать...

Старшина улыбнулся.

— Где работаешь?

— В колхозе пока.

— Кого женил?

— Друга по армии... Третий раз женится, и все по любви. — Васька сам удивлялся этому.

Старшина обернулся.

— Дай-ка гармошку.

— Зачем?

— Попробую...

— На... — Васька подал гармонь. Неохотно подал.

Старшина поставил гармошку на колени, набросил потертый ремень на плечо. И вдруг резко ударил краковяк.

— Стой! — заорал Васька.

Шофер с испугу резко нажал на тормоз.

— Ты чего? — спросил он.

— Это я не тебе... Ты давай крути! — И к старшине: — Ну что ты ее тискаешь, как не знаю что?! И кто так играет? Сам дергается, как паралитик, и ее дергает.

Шофер глянул на старшину и предложил:

— Может, все-таки отвезем этого композитора? Обнаглел...

— А че я сказал? Че я сказал? — заволновался Васька.

— Ладно, ладно, — старшина отдал гармошку. — Я последний раз еще до армии в руках ее держал. — И почему-то погрустнел.

Васька ласково обнял свой инструмент.

— Хотите, врежу? Хорошие вы ребята, елки-моталки!

Не ответили. Васька на секунду замер и «врезал» озорную разухабистую польку.

И катилась через сонный город, рассыпая по пустому проспекту игривую мелодию, милицейская патрульная машина.

Старый Ходас стоял в своей хате и смотрел на фотографию, с которой испуганно глядели на него трое совершенно одинаковых ангелят... Васька, Сашка, Андрей.

Федос посмотрел на маленького Ваську, а потом его взгляд перешел на Андрея, с крупного изображения Васьки перешел на Андрея.

Мелодия, которую наигрывал Васька в милицейской машине, прозвучала замедленно и плавно над спящим со своей женой Андреем.

И не услышал он ее, и снов он не видел. Никогда.

Потом Ходас перевел взгляд на маленького Сашку.

И эту же мелодию, замедленную и плавную, услышал во сне далеко-далеко от родного дома, на маленьком острове Шикотан, брат Васьки — Сашка... Сашке снился сон... Улица своей далекой маленькой деревеньки. Мама, покачиваясь в такт ведрам, несет из колодца воду. А ей навстречу бегут ее три одинаковых, но разноцветных сыночка... Обступили ведро, в котором качается расплавленное солнце, и, толкая друг друга лбами, начали пить студеную колодезную воду вместе с солнцем...

Мама стоит, улыбается и смотрит... на темный, белый и рыжий затылки над ведром... И где-то далеко пиликает гармошка. Сашка пробует оттолкнуть братьев, чтобы пристроиться к ведру. Не получается... И вдруг нежная мамина рука коснулась его рыжего затылка:

— Сашка-а-а... — позвала мама.

Он поднял голову и... увидел Верку, но очень взрослую.

Почему-то испугался и бросился бежать.

— Сашка-а-а, — позвала Верка.

Он обернулся, упал... и так больно стукнулся, что даже проснулся. На полу. Осмотрелся в темноте — ужас охватил: телевизор сам по себе, как паук, через комнату к нему шагает...

— Сашка!!! — услышал он голос с улицы. — Удавился ты там, что ли?

Сашка узнал голос своего дружка Мишки Снегиря.

— Чего тебе?! — испуганно закричал Сашка, не отрывая глаз от телевизора.

— Выскакивай мигом, а то придушит! Стихия!

Сашка подхватился с пола, начал хватать одежду.

— Ну, где ты там?! — беспокоился Мишка.

— Штаны никак не найду...

— Выбегай так!

Легкий финский домик весь задрожал, затрещал и пошатнулся. Со стены соскользнула маска — пьяная рожа гипсового черта — и врезала Сашке по голой ноге.

— А, елки-моталки!!! — застонал, запрыгал на одной ноге и никак не мог попасть больной ногой в штанину.

— Прибьет! — заорал на улице Мишка.

— Сейчас! — держа в одной руке незастегнутые брюки, Сашка ударил плечом в дверь. Ни с места. Прижало.

— Мишук!

— Оу!

— Помогай! Дверь скособочило...

— Досиделся, дубина! — Мишка с силой потянул за ручку снаружи. Та оторвалась. Мишка полетел через голову с крыльца, выругался, зло швырнул ручку, разбил стекло в окне.

— Через окно, через окно! — закричал он. — Слышишь, Сашка!!!

Сашка бросился от двери к окну, выпустил из рук брюки, те соскользнули сразу вниз, запутались в ногах. Сашка споткнулся, грохнулся на пол и покатился под свою пустую панцирную кровать. Это его и спасло. В тот же миг домик в последний раз содрогнулся, зазвенело стекло, затрещало дерево, стены упали на улицу, потолок вместе с крышей с грохотом опустился на пол. Пыль. Тишина. Только издалека слышно, как ревет Тихий океан.

— Сашка-а-а!!! — зарыдал на улице Снегирь. — Помогите-е-е!!! Ходаса придушило-о-о-о!!!

— Замолчи! — послышался из-под руин глухой голос.

— Сашок, роднуля моя, живой?

— Ты куда меня привез, паразит? Я не застрахован даже!!!

— Я сейчас, сейчас, — Мишук стал карабкаться на обломки и разгребать шифер. — Ты это... Не бойся...

— Чего уж бояться? — ответили развалины. — Осталось только под землю провалиться... Трясет еще?

— Все, все... Я этому Брысю завтра... Покажу... Один аварийный дом в поселке, а он нас сюда всунул. Тебе там ничего... Не сломало? От, черт! Не подниму никак... Сашка?

— А?..

— Дышишь?

— Дышу...

— Пойду людей позову... Один я тут и до утра до тебя не докопаюсь... — Мишук зло глянул на темные домики поселка. — Во, люди! Человек концы отдает, а они спят! Ну, я вам устрою карнавал! Терпи, Сашок... Я быстро...

— Давай...

Мишук убежал.

Сашка остался лежать под развалинами. Рукой потрогал панцирную сетку кровати, доски справа и слева, вздохнул, повернулся на правый бок, закрыл глаза. И опять, как и во сне, зазвучала в ушах гармошка брата... Океан пророкотал злой волной и заглушил ее на мгновение...

Откатился... Опять гармошка.

Волна!

Захлебнулась гармошка... И не звучит.

Сашка открыл глаза, облизнул пересохшие губы.

— Люди-и-и!!! — во весь голос закричал в своем «гробу» Сашка. — Пи-и-ить!!!

Глухо ревел неспокойный Тихий океан у Курильских островов.

— Пить! — шептал Сашка над бескрайним водным простором. — Люди!

Ваську с гармошкой высадили там, где кончился асфальт.

Васька вылез, помялся, посмотрел по сторонам, достал из кармана рубль и протянул его в окошко старшине.

Тот ничего не сказал, только посмотрел. Но как!

Васька нервно спрятал деньги и сказал торжественно:

— Ну, тогда желаю успехов в боевой и политической...

И побежал по тропинке вниз.

У палисадника крайней хаты взял гармонь наизготовку, вздрогнул, растянул ее, заиграл и запел:

Э-е-ей. Деревне слава!
Деревня слева, деревня справа,
Деревня — тут, деревня — там
По утрам и вечерам!

В конце куплета распахнулось окошко в хате, и из него высунулась голова.

— Ты что, совсем ошалел? — спросила она.

— Здоров, Андрюха! — восторженно приветствовал брата Васька. — Глянь, утро-то какое! Выходи, покурим, петухов послушаем... «Камбала» твоя все еще на курорте греется?

— Закрой окно, а то весь день не отвяжется! — донесся из хаты сердитый голос.

Андрей захлопнул окошко.

— Приехала, — шепотом сказал Васька.

Андрей вышел на улицу. Одет он был странно: майка, штаны, босиком, но в шляпе.

— Когда ты придуриваться перестанешь? — с досадой спросил он брата. — Тебе же тридцать пять лет, а ты все еще чунчей ходишь...

— Я, между прочим, чунчейбарабанчей хожу... За тебя кличку ношу и за Сашку... И ничего я не придуриваюсь! У меня детство трудное было... Недостаток витаминов, девятьсот граммов родился! Но я не обижаюсь... Честное слово...

— Ты знаешь, что Мишка Кисель вернулся? — неожиданно спросил Андрей.

— Что ты говоришь? Явился, значит... золотистый, золотой...

Андрея взорвало:

— Ну что ты зубы скалишь? Он три дня из твоей хаты не вылазил, пока ты там танцульки устраивал...

— Чего? — глупо спросил Васька.

— Вся деревня знает «чего», а он не знает, — с досадой вздохнул Андрей и пошел к крыльцу. — Дал Бог братца...

— Да какой ты брат! — вспыхнул вдруг Васька, прошел немного вдоль улицы, обернулся, крикнул: — Родственник ты!

Света в окнах не было. Васька поставил гармошку на крыльце, решительно подошел к двери, нерешительно потоптался возле нее, попробовал, заперта или нет. Нет, открыта. Вошел в хату.

Васька прошел сени, осторожно открыл дверь в хату. Прислушался. И вдруг из темноты послышался голос жены Маруси:

— Уходи!

— Спокойно! — шепотом сказал Васька. — Я, между прочим, домой пришел, в свою хату...

В ответ ни гугу. Постоял немного в прихожей, прошел за печь к кровати:

— Ну че ты?

И заметил, как дернулась от его протянутой руки Маруся.

— Не подходи!

— Кисель заходил? — хмуро спросил Васька.

Молчит. Васька прислонился спиной к холодной печи.

— Ты, Маруся, не бойся... Гонять я тебя не собираюсь... Только через пять лет... Могла бы уж и вытерпеть... — и вышел бесшумно.

Облокотившись на гармошку, Васька стоит на крыльце.

Послышался клекот одинокого аиста. Васька поднял голову:

— Опять прилетел? Сносят нас, тебе сказано, сносят!

Аист сменил ногу и отвернул от Васьки свой длинный клюв.

— Все лето обормота гоняю, а ему хоть бы хны! Ну, прилетишь, обживешься, а твое гнездо бульдозеру под гусеницы! Что тогда! Весь век на людей обижаться? Кыш!!!

Когда встревоженная Маруся в белой ночной сорочке вышла на крыльцо, Васька сидел в гнезде аиста, смотрел на солнце и самозабвенно играл на своей гармошке.

Белая птица упрямо кружила над хатой.

Оглядываясь на мужа, который сидел на верхушке дерева, Маруся вернулась в дом.

Утро. Отец Васьки доил корову.

— Стой, Мурашка, стой, — попросил старик. — Сейчас пастись пойдем...

Во двор вошел Васька. Уже в рабочей одежде.

— Здоров, батька...

Старик перестал доить.

— Нагулялся?

Васька кивнул головой, взял у поленницы чурбачок, подставил его к корове с другой стороны.

— Эти не трогал?

— Не...

Стали доить в четыре руки.

Потом сидели на ступеньках крыльца, по очереди пили из большой кружки теплое пенистое молоко.

— Дрянь дело, — говорил отцу Васька. — Разводиться задумала... И надо же ему было прикатить сюда...

— Вам так надо было сходиться, как мне в космос летать... Говорил дураку, так нет — женюсь, женюсь...

— Не надо, батя...

— Бить не пробовал?

— Ай, — только махнул Васька.

— Попробуй, без злости только...

— Да что ее бить? Как каменная... Что по камню бить?

— Все у тебя не как у людей, Васька... Все наперекосяк...

Васька встал.

— Ладно, пойду созидать, а там видно будет...

Ушел.

Старик смотрел ему вслед.

Васька вышел из деревни и быстрым шагом пошел по наезженной пыльной дороге к лесу, в сторону от наступающего города...

— Пошли, Мурашка, — старик берет корову за кривой рог и идет вдоль улицы.

У Васькиной хаты сказал корове:

— Постой тут минутку... Сейчас приду...

Корова послушно остановилась. Старик подошел к забору.

— Маруся!

Женщина вышла на крыльцо.

— Иди сюда...

Подошла.

— Что это вы, а? — негромко спросил старик. — Пять годов прожили, а теперь позориться? Какая тебе любовь надо? Бабе дети надо и мужик... Сорок скоро стукнет, а она любиться задумала. У вас же дочка, ты про нее-то подумай... Как ей без отца-то?

Маруся беззвучно заплакала. Тихо, как исповедуясь, сказала:

— Это Мишкина дочка...

Лицо у старика вытянулось.

— Ах, ты... Ах, стерва... — выдохнул он.

— Стерва... — грустно согласилась Маруся.

— Ваське же только не проговорись, — зашептал ей старик. — О Господи, твоя воля... Иди сюда...

Маруся покорно подошла.

— Чтобы я этого больше не слышал... Ни от тебя... Ни от кого! Чуешь?

Всхлипнула. Кивнула.

Одинокий аист сидел в гнезде.

Ошарашенный старик вел корову пастись за деревню на луг.

Неспокойный океан жадно лизал прибрежный желтый песок.

На острове кричал во всю глотку петух. Сашка Ходас сидел на изогнутой кровати среди руин, Мишук пристроился на сломанной табуретке, раздавленный телевизор стоял между ними вместо стола и почему-то работал. В передаче «А ну-ка, девушки!» девушки доказывали, что они тоже девушки.

Сашка сидит окаменевший, слушает. Мишук вздыхает. Оба думают. Петух вдруг захлебывается собственной песней и вместо очередного «кукареку» пищит голосом Аллы Пугачевой:

...еки-ино!
Нужно быть смешным для всех!
Арлекино! Арлекино!
Лишь одна награда — смех!
Ох-хо-хо-хо, ха-ха-ха!

Сашка щелкнул переключателем портативного магнитофона, тот затинькал, откручивая коричневую ленту назад.

Мишук тоскливо смотрит передачу. Вздохнул:

— А вот эта ничего... Только тут много... — где «тут», не объяснил.

— У тебя мать есть, Мишук? — спросил Сашка.

— Нету...

— А отец?

— Не-а...

— Померли, что ли?

— Кто их знает! — улыбнулся Мишук. — Может, и померли, а может, и живут, любовь у них была, меня вот налюбили. Потом папка от мамочки отказался, а мамочка от меня в роддоме. Подкидыш я.

— И не страшно тебе одному во всем свете?

— Привык. А иногда подумаешь-подумаешь, едрена-матрена! Людей вокруг хоть пруд пруди, а ты живешь, как в космосе...

— Пень! — вскипел Сашка. — Так чего же ты не женишься, сам себе родственников не наделаешь? Чего ты летаешь по всему свету, как паутина?

— А сам? — зло прищурился Мишук.

— И я такой же балбес... У меня же деревня есть, хата, батька, два брата-близнеца... Я третий. Вместе родились... Как в сказке... У крестьянина три сына, старший умный был детина, средний был и так и сяк, младший вовсе был...

— Дурак... — дорифмовал Мишук.

— Я — средний! — уточнил Сашка. — Так и сяк я... Хотя я не так и не сяк.

Кричал из магнитофона петух.

— Да выключи ты! — сморщился Мишук. — Целое утро! И где только записал?! — и потянулся рукой к выключателю.

— Не трожь! — закричал Сашка. — Он мне душу отогревает.

И вдруг стукнул кулаком по изувеченному телевизору.

— Сашок, не петушись... На, отвлекись, — Мишук дал другу жевательную резинку. — Это у тебя нервы... Землетрясением тряхнуло, вот стресс и получился. Не петушись, котик...

Сидят. Тупо жуют резину вдвоем. Сашка выплюнул резинку, всхлипнул:

— Ничего не сталось! Сам себя подкидышем сделал! Мишук, ты никогда не думал, зачем живешь?

— У меня семь классов, Саша, — почему-то ответил Мишук.

— На кой черт мы заперлись сюда? Вон до Японии доплюнуть можно... Ну, зачем?!

— Рубль зашибить.

— Зачем?

— Рубль? Ну, Сашок... Не знаю.

Океан выбросил на песок небольшого крабика. Волна отошла: крабик стал на ноги и резко побежал в море. Новая волна опять его выбросила. Крабик опять упрямо направился к воде. Так продолжалось раза три.

Сашка встал, подошел, взял крабика, швырнул его в море и, зло пнув ногой очередную волну, возвратился к Мишуку.

— О смерти я сегодня подумал, Мишук...

— Ты что, офонарел? Нашел о чем...

— И хочу воды, Мишук... Колодезной! Хоть глоток, хоть росинку...

Мишук встал:

— Я сбегаю?

— Иди ты!

Смолкли.

По узкой тропинке идет их бригадир.

— Эй, артисты! — позвал он. — Вы работать сегодня думаете?

Сашка повернул к нему голову, крутнул ручку магнитофона на полную громкость и крикнул:

— Иди ты в баню!

И грозно прокукарекал магнитофонный петух.

В городском отделении связи старик писал телеграмму «блудному сыну». Написал, подошел к окошечку.

— Пошли-ка в Воркуту, сыну...

Остроносая работница скользнула по телеграмме маленькими глазками, хмыкнула и издевательски прочла вслух:

— «Дурак приезжай. Дают квартиру в городе с удобствами. Я загнусь тебе останется. Батька», — и спросила: — Что это такое: «дурак, загнусь»?

— Это чтоб он понял.

— Дедушка, это не письмо... Надо писать культурно, без пошлостей...

— Ну дак подскажи как, — попросил старик.

— «Срочно приезжай. Отец», — и все.

Старик вздохнул.

— Не приедет, пятнадцать лет не дозваться...

Остроносая тоже вздохнула:

— Ну, не знаю... Перепишите как-нибудь...

— Перепишу...

Старик высунул голову из окошечка, задумчиво посмотрел на бланк, вздохнул...

Напряженно гудел колхозный ток. Золотым потоком лился из кузовов машин хлеб... Васька, весь перепачканный, вылез из-под транспортера, на ходу вытирая руки, подбежал к рубильнику, включил... Стремительно поплыла отполированная черная лента... Васька что-то крикнул в сторону, еще раз заглянул под транспортер и присел на желтый сугроб зерна отдохнуть... Потом прилег, свободно раскинув руки... Лежал и смотрел, как из транспортера сыплется зерно и стекает вниз ему на руки, шею, плечи... Закрыл глаза...

Старик медленно брел через переполненный людьми и машинами вечерний город. Все и все куда-то спешили. Мигали светофоры, проносились машины; бежали люди... Только старик никуда не спешил. И круглый диск розового солнца медленно-медленно опускался между домами. Горели красным верхние этажи.

Старик остановился, держась руками за поясницу, еще раз посмотрел на солнце. Вздохнул.

— Вам плохо, дедушка? — остановилась рядом с ним девушка в джинсах.

— Хорошо мне, детонька, хорошо...

Тихий звездный вечер. Засыпанный зерном так, что из него торчат только острые колени, кисти рук, подбородок, нос и прядь белых волос, спит на току Васька.

Снится ему сенокос. Отец в белой рубахе гонит первый прокос, за ним сам Васька, потом Сашка, и наконец, Андрей дружно в такт взмахивают косами, их тонкие голоса сливаются в один, брызгают рассыпанные по росе капельки утреннего солнца. А вслед за косарями по волнам-прокосам идут с граблями женщины... Разбивают мокрую траву... За отцом — мать, за Васькой — Маруся, за Сашкой — Верка Федотова, ну а за Андреем его «камбала».

Васька отрывает голову от травы и с удивлением обнаруживает, что покосто посреди городской улицы... И не покос это вовсе, а длинная широкая клумба... Справа и слева проносятся машины, дальше — тротуары и дома... Люди ходят. Рядом проехал милицейский «жигуль». Знакомый старшина, который подвозил его домой, сидит в кабине и самозабвенно наяривает на балалайке. Васька посмотрел на отца, оглянулся на братьев... Косят! Он тоже взмахнул косой… и с ужасом увидел... что на прокосе сидит его Маруся, прижимая к груди дочку.

А коса уж пущена!!!

Васька закричал… и, проснувшись, вскочил из-под зерна...

В каком-нибудь метре от него старая бабка насыпала в ведро зерно. Узрев восставшего как из-под земли человека, икнула так громко, словно из ружья выстрелила:

— Ги-ик!

— Насыпай, бабуля, насыпай, — тяжело проговорил Васька, обалдевший от страшного сновидения.

— Ги-ик! — еще раз «выстрелила» старуха.

Короткая летняя гроза прокатилась над деревней и городом. Маруся и Мишка Кисель забежали в подъезд недостроенного городского дома по соседству с деревней. Стоят, смотрят на дождь.

— Ну, так что будем делать-то, Маруся? — робко спросил Кисель.

— Не мучай ты меня, — почти взмолилась Маруся. — Уезжай искать свое золото...

— Да гори оно синим огнем! Сначала золото моешь, потом лес валишь! — выпалил Кисель, помолчал, недобро сверкнул глазами: — Ты тоже хороша! Не успел отъехать — замуж выскочила...

— Чего же ты не забрал меня с собой?

— Куда?! Думаешь, там горы золотые, лопатой грести можно... Песок там обыкновенный и холод...

— Могли бы и тут жить...

— Я не могу! Это Васька твой с утра на солнце глянет — весь день счастливый, а мне этого мало... Мне...

— Золото надо... — вздохнула Маруся.

— Могла и дождаться! — вспыхнул Кисель.

— Дождаться?! Одной! Пять лет?! С дитем на руках?!

Кисель захлопал глазами.

Маруся оглянулась, сказала:

— Дочка от тебя, Мишка... Вся деревня поверила, что семимесячная родилась... Без малого четыре килограмма и семимесячная...

— Так чего ж ты не сказала? — обалдел Кисель.

— А ты спросил?! — выкрикнула Маруся. — Уехал и пропал! Хоть бы письмо! Хоть бы слово! Васька мой позор на себя взял, дочку без ума любит... Мне на него до седых волос молиться надо, а я... Бросил ты меня.

— Старая любовь не ржавеет...

— Только получается одна ржавчина...

— Учти, — жестко сказал Кисель. — Я тебя люблю, как любил... Учти... — и глупо улыбнулся.

Маруся закрыла глаза, сжалась, как будто ожидая, что на нее сейчас выльют ушат холодной воды.

Васька услышал плач еще с крыльца.

— Иду, Галюня, иду!

Открыл, вбежал в сени, опрокинул пустое ведро, открыл дверь в хату.

— Ты чего это?

Галюня стояла на кровати и плакала.

— А чего... вы... меня... оставили одну? — всхлипывая, спросила она.

— Так ты уже большущая...

— Я маленькая...

— Ух ты! Кобылка такая — и маленькая. — Васька сел на край кровати, взял дочку на руки. — Ну во! Обсопливилась вся... Сейчас мы все твои слезинки... Вот так... Так... Страшно было, что ли?

— Нет... Просто не люблю одна... Где мама?

— На работе, наверно... А мы ее встречать пойдем... Пойдем встречать маму. Пойдем? — Стал заворачивать дочку в одеяло.

Он сидел с дочкой на крыльце. Ждал. Галюня уже спала, укутанная в одеяло. Посыпался клекот аиста. Осторожно, чтобы не разбудить дочку, Васька повернул голову.

— Здоров! Что-то давненько тебя не было... — прошептал Васька. — Зимовать ты тут задумал или что? Найди себе невесту и ищи другое место, понял? Не будет весной здесь гнезда... Культурный центр будет!

Скрипнула калитка... Пришла Маруся.

Остановилась перед мужем:

— Дай сюда!

Васька осторожно привстал, протянул ей Галюню:

— На... Пришел, заревелась вся... Не надо ее одну оставлять в темноте... Испугается еще чего...

И открыл дверь в сени... В хате радио било полночь.

И на Курильской гряде били куранты и гремел торжественный гимн. Только там уже давно начался светлый солнечный день.

Радио объявило:

— В Москве — полночь, местное время — девять часов утра. Передаем легкую музыку...

И под «легкую музыку» Сашка Ходас подал заявление об уходе.

Директор рыбкомбината взял бумажку из рук Сашки:

— Садись.

— Постою, — буркнул тот.

Глаза директора забегали по синим строчкам заявления. Вот что было в нем написано. Директор ехидно прочитал: «Заявление. Прошу уволить меня с острова. Не могу. Ходас».

Директор поднял голову:

— Что ты не можешь?

— Жить тут. Заболел.

— Лечись.

— Подписывай! — попросил Сашка.

— В деревню, конечно, путь держишь? — съязвил директор.

— Ну, в деревню, а тебе что? — начал закипать Сашка.

— Корову заведешь?

Сашка смолчал.

— ...Парное молочко будешь пить... Петушков по утрам слушать, цветочки вместе с навозом нюхать...

— Тебе сны снятся? — спосил Сашка.

Директор черкнул что-то в заявлении, подал:

— На, отдыхай...

Сашка пошел к двери.

— Вернешься — возьму только грузчиком, — сказал ему в спину директор.

Сашка толкнул дверь и вышел к солнцу.

Старый Ходас лежал на скамейке во дворе своей хаты. Лежал лицом вниз. Кряхтел. Морщился. Возле него хлопотал Гастрит. На земле гудела паяльная лампа. В черном, огромных размеров чугуне что-то кипело.

— Ну, скоро ты там? — болезненным голосом спросил Ходас.

— Последняя заварочка, — Гастрит бросал в чугун крапиву, ромашки, лопухи, помешивал черпачком, доставал «на пробу», нюхал.

— Во прижал, проклятый, — простонал Ходас, осторожно поглаживая спину. — Как будто гвоздей кто натыкал.

— Ничего, Федос, — пообещал Гастрит. — Ты у меня сейчас молодым козликом запрыгаешь... Народная медицина! У нас в войну наш комполка радикулитом мучился... Чего только не делали! Ни в какую! Крюком полковник ходил... Пока я не взялся... Одну процедурку засобачил — полк потом два месяца наступал.

— Давай!

— Ша! — Гастрит еще раз понюхал варево, повесил черпак на забор, взял приготовленный чистый рушник, подошел к Ходасу, задрал на спине рубашку, оголил худую ребристую спину.

— Ну и белый же ты, Федос, — сказал удивленно. — Как попадья...

— А ты видел попадью? — спросил Ходас.

— Приходилось...

— Брешешь...

— Ша! — Гастрит расстелил рушник на его спине, принес крапивы, ромашек и лопухов. Тоже расстелил. Потом взял возле крыльца длинные кузнечные щипцы, запустил их в бурлящий чугун, ухватил что-то и достал... дымящийся кирпич. Поднес и остророжно положил его на поясницу соседа.

— У-у-уй! — взвыл Ходас.

— Спокойно!

— Ой, сымай скорее! В кишках закипает!

— И должно закипать, — прижимая щипцами кирпич к пояснице, крикнул Гастрит. — Для тебя ж стараюсь!

— У-у-уй! — еще сильнее заорал Ходас.

Лечение завершилось таким образом. Ходас, невзирая на радикулит, «молодым козликом» бежал за Тимофеем по улице, перекидывая из руки в руку горячий кирпич. Гастрит удирал со всех ног, испуганно оглядываясь и крича:

— Встал ведь... Бегаешь? Чего тебе еще надо? Я вас, дураков, бесплатно лечу, а если бы за деньги — на мерседесе ездил бы...

На лужку перед речкой Васька «охотился» на пчел... Носовым платком бережно прижимал пчелу к земле, а потом уж из платка пускал в полиэтиленовый мешочек.

Там уже ползало несколько штук.

От речки, голый до пояса, с полотенцем на шее, идет Мишка Кисель. Курит. Остановился.

— Здоров, Василий!

Васька, держа в платке жужжащую пчелу, поднялся с колен и уставился на Киселя.

— Ну, чего глазами хлопаешь? — улыбнулся Кисель. — Вернулся. Как видишь...

— Все золото в Сибири собрал? — спросил Васька.

— На твою долю оставил...

— Мне некогда... Уборка в колхозе...

— Ну, работай...

Кисель прошел.

— Погоди, — сказал Васька.

Кисель подошел.

— Знаешь что... — предложил Васька. — Едь ты за бриллиантами, за серебром, еще за каким-нибудь добром... Только Марусю не трогай. Люблю я ее... Пожалей ты... нас...

— Я ее тоже люблю. Со школы...

— Тут не школа. Тут дочка у нас. Жили нормально, а ты как мозоль, как прыщик, как бельмо какое появился...

— Это я бельмо? — взвился Кисель. — Люблю я ее, понял? И она меня любит, понял?! Разуй глаза! И дочка... Это... Моя! Моя, моя Галюня!

Васька прижал носовой платок с пчелой к левой щеке Киселя. Тот дико взвыл, согнулся, закрутился на одном месте. Спокойный Васька смотрел на него. Кисель разогнулся.

— Ну, Чунчабарабанча! — прохрипел он, сжимая кулаки.

Васька пришел домой. Возбужденный. С «фонарем» под глазом.

— Что это с тобой? — спросила жена.

— Где Галюня? — волнуясь, спросил Васька.

Маруся кивнула на соседнюю комнату.

Васька вошел. Молча взял дочку на руки. Подошел к зеркалу.

— А что это у тебя, папуля? — спросила девочка.

— Пчелка укусила... — Васька показал мешочек с пчелами.

— Больно?

— Больно...

Галюня подула на глаз папули. Васька пристально рассматривал себя и дочку в зеркале, сравнивая детски губы, брови, нос со своими. Заметил на шее родинку.

— Ну-ка, покажь, покажь...

— Уй, щекотно! — заверещала Галюня.

Васька расстегнул ворот рубашки и стал искать родинку у себя на шее. И нашел! Почти на том же месте! Засмеялся облегченно. Стал целовать дочку.

Из передней за ними наблюдала Маруся.

Васька отпустил Галюню и вышел из хаты.

Во двор пришел Васька. Ходас лежал на скамейке и постанывал.

Злосчастный кирпич валялся в траве. От него шел пар.

— Принес? — спосил отец.

— Ага, — шмыгнул разбитым носом Васька.

— Давай пришпандоривай...

Васька, при помощи носового платка, достал из мешочка одну пчелу, посадил ее отцу на поясницу, чуть прижал.

— Ну как? — спросил у отца.

— Не кусает.

— Так у тебя кожа, как у слона... Тут и змея не прокусит.

— А ты разозли ее!

Васька поднял пчелу.

— А ну, кусайся! — и опять посадил.

— Ой, хорошо, — прокряхтел старый Ходас. — Давай другую...

И пока Васька одну за другой «пришпандоривал» к его пояснице пчел, старик чуть вздрагивал, сладко щурился и улыбался от удовольствия.

— Все?

— Все.

Старик медленно приподнялся, сел на скамейку, осторожно-осторожно пошевелил плечами.

— Совсем другое дело...

И вдруг его взгляд упал на Васькины «легкие телесные повреждения».

— Кто это тебя?

— Ай, — только махнул рукой Васька.

— Кисель, что ли?

Васька вытер тыльной стороной ладони сукровицу под носом, сказал возмущенно:

— Гад... Понимаешь, ну пускай уж про Марусю что-нибудь там такое, а то... Галюня, говорит, от него. Выдумал, ювелир несчастный... Да она на меня и похожа-то... Я не вытерпел...

Выражение глаз у старого Ходаса стало тяжелым. Даже страшным.

Он вошел во двор Киселихи, плотно закрыл за собой калитку. Кисель сидел на колодке перед поленницей дров и прижимал к опухшей щеке обух топора. Лицо у него было свирепое.

— Мать дома? — спросил старик.

— В город пошла, — буркнул Кисель.

— Кто в хате?

— Никого... А че тебе надо?

Старик вплотную подошел к Киселю.

— Ругаться пришел? — хмыкнул Кисель. — Ты лучше скажи своему охламону, что в следующий раз...

— Скажу, — не дослушал старик, правой рукой вырвал из рук Киселя топор, а левой ухватил сухими жилистыми пальцами за короткие волосы на затылке, пригнул голову к колодке.

— Да ты что, в натуре? — взвизгнул Кисель, пробуя освободиться.

— Лежать! — приказал старик, тюкнув топором по колодке возле самого носа Киселя.

— Да ты что, озверел?! — у Киселя от страха перекосилось и без того обезображенное пчелой лицо. — Ты знаешь, что тебе за это будет?

— Знаю, — вид у старика был решительный. — Посадят... Мне все равно, где помирать... Отвечай, что спрошу... Только правду...

— Пусти...

— Дочка у Маруси от тебя?

— От меня...

— К Марусе уже ходил этими днями?

— Было... Пусти, больно...

— Любишь ее?

— Люблю... И она меня... любит...

Старик отпустил волосы.

— Вставай.

Кисель поднял голову с колодки, но остался стоять на коленях.

— Значит так, Мишка, — спокойно говорил старый Ходас. — На Марусе женишься сразу... Я тебе ее позорить не дам... Ну, а Галюня... Мне все равно. Она мне внучка... Я к ней сердцем прирос... И если ты еще раз про нее что вякнешь... Голову снесу... Вот этим вот топором... Веришь?

— Ага. — Кисель поверил.

— Вот и добра... Васька сегодня же ко мне перейдет, а ты через день-дру-

гой к Марусе с дочкой. Говорить, что она от тебя, — никому и никогда... Не тревожь... Ладно?

— Ага...

— И живи как человек... Сказать что-нибудь хочешь?

— Отчаюга ты, Федос... В зоне королем бы ходил...

— Будь здоров... — И вместе с топором направился к калитке.

Он пришел во двор своей хаты, вогнал топор в угол и сказал Ваське, который заканчивал доить Мурашку:

— Разводись...

Васька удивленно посмотрел на отца.

Вечером в хате старого Ходаса состоялся семейный совет.

Говорил Андрей:

— Скоро уже ордера будут выдавать. Я сегодня был в исполкоме. Уже есть решение...

— А где давать будут?

— Не знаю.

— Хоть бы на другой конец города не заперли... К матке на могилку далеко ездить будет, — вздохнул старый Ходас.

— Папа, — обратился к старику Андрей, — надо уже потихоньку все лишнее продавать, чтоб потом не бегать...

— Мурашку продам...

— Может, лучше сдать на мясо, — мягко вставила Андреева «камбала». — Старая. За нее много на базаре не возьмешь...

Старик внимательно посмотрел на невестку, тихо, но твердо сказал:

— Продам.

— Теперь насчет хат... У нас на работе участки за городом дают... Свою мы перевезем туда... Под дачу... Я и насчет твоей договорился... Мой шеф купит на снос...

Старик покачал головой.

— Нельзя... Она нас столько годов согревала, вы тут родились, выросли, матка в ней померла...

— Так все равно под бульдозеры пойдет... — сказал Андрей.

— Продавать не буду. Грех...

Андрей вздохнул:

— Папа, этот грех нескольких сотен стоит...

Васька вскипел:

— А че ты чужие деньги считаешь... Свои считай.

— Ты-то уж помолчи, — вздохнул Андрей.

— Наследники, елки-моталки! — возмутился Васька. — Ты, батя, когда соберешься помирать, запиши все в Фонд мира, они сразу перестанут к тебе ходить!

Жена Андрея метнула из-под накрашенных ресниц злой огненный взгляд, но заговорила с улыбкой и мягко:

— Ой, боже мой, о чем мы говорим! Ваше дело! Хотите, продавайте, хотите — нет... Мы не об этом пришли с вами поговорить...

— А о чем? — спросил старик.

«Камбала» замялась, посмотрела на мужа. Андрей кашлянул и решительно заговорил:

— Поскольку мы живем раздельно, то и квартиры нам дадут раздельно... Нам двухкомнатную и вам однокомнатную...

— Батя, не соглашайся! — встрял Васька.

— Помолчи! — строго осек его старик.

Васька замолчал, Андрей тоже.

— Говори, — сказал старик.

— Ну, что говорить? Жить вам одному трудно будет... Короче, если вы дадите согласие жить с нами, то мы получим трехкомнатную... Я в исполкоме уже говорил об этом...

Старик помолчал, подумал.

— Не, Андрюха, — вздохнул он. — Соглашусь, на грех ведь вас подтолкну... Смерти моей ждать будете...

У Васьки открылся рот.

Андрей побледнел.

Невестка выскочила из-за стола.

— И все! — махнул рукой старый Ходас. — Хватит об этом... Сашка приедет, куда ему? Вы же его на квартиру не возьмете...

— Пятнадцать лет уже едет! — с иронией сказал Андрей. — Да если и приедет, кто его тут пропишет?

— Ну, елки-моталки! — вскипел Васька. — Да это же брат твой! Что ты...

— И вот еще сидит герой, — кивнул старик на Ваську. — Разведется — деваться некуда, у меня будет жить...

Андрей опешил:

— Как... Разведется? Прямо сейчас?!

Васька молчанием ответил на вопрос.

— А с квартирой как? Размениваться будешь или оставишь этой?

— Дочке оставлю! — просто сказал Васька.

— Да какой дочке!..

— Цыц! — грохнул кулаком по столу старик, и когда все замерли, глухим, надтреснутым голосом сказал Андрею: — Если темный родился, так я тебя посветлю... На кой вам три комнаты? Детей-то нет и не будет уже... Неродившихся по поликлиникам развели...

Жена Андрея вскочила из-за стола и, прижимая руку к накрашенным глазам, выбежала вон из хаты.

Сидят. Васька кашлянул, сказал озабоченно:

— Что-то мне какая-то ерунда стала сниться... Цветная... Сегодня на току... Прилег...

— Я вообще снов не вижу, — перебил брата Андрей, подошел к двери, вздохнул: — Спокойной ночи! — И вышел.

Долго молчали отец и сын.

С портрета под рушником три одинаковых мальчика напряженно смотрели перед собой. Как будто всматривались в свою будущую жизнь. Испуганно и удивленно.

Галюня с куклой шла по улице. Кукла «спала» у девочки на руках...

Старая, пригнутая к земле Киселиха вошла в свою хату.

— Ты топора не видал, Мишка? — спросила она.

Кисель лежал на кровати, занавешенной цветастыми занавесками.

— Нет... — скрипнул зубами Кисель и повернулся к стенке.

Задребезжал металлический язычок в ручке двери...

— Сильней, сильней тяни! — крикнула Киселиха и сама открыла дверь.

Вошла Галюня:

— Здравствуйте...

— Чего это ты на ночь глядя? — удивилась Киселиха.

— Бабка Марья, — сказала Галюня. — Тетка Зина и тетка Вера говорили у колодца, что ваш Мишка моего папку забить хочет...

— Господи! — всплеснула руками Киселиха.

Кисель весь сжался на кровати.

— Скажите ему, чтоб не забивал... Я ему свою Люську за это отдам... — и протянула куклу.

Кукла закрыла большие синие глаза и тоненько пропищала:

— Ма-а-аум...

У Киселихи заблестели выцветшие глаза.

— Не надо, детонька, не надо... Играйся с ней сама... Я ему скажу... Пойдем, детонька, пойдем... — и вывела Галюню из хаты.

Кисель резко поднялся, сел на кровати.

Вернулась Киселиха. Перекрестилась на маленькую иконку в углу, вздохнула.

— Не успею я вымолить твою душу у Бога, сынок... Жить мало осталось...

Кисель за занавеской тупо смотрел перед собой.

Киселиха подошла к порогу, долго вытаскивала из веника гибкий прут. Вытащила, прошла, отодвинула занавеску в сторону и... со всего размаху перетянула сына по плечам... Раз, другой, третий!

— Вот тебе любовь! Вот тебе золото! Вот тебе любовь! Вот тебе золото! — почему-то приговаривала Киселиха.

Кисель и бровью не повел. Все так же тупо смотрел перед собой.

В Васькиной хате спала кукла, спала Галюня, кажется, спала Маруся.

Освещенный белой луной, Васька сидел у окна и смотрел в тихую ночь. Грустно смотрел. Потом повернул голову и, подперев щеку рукой, стал смотреть на спящую дочку...

Заворочалась у стенки Маруся:

— Сколько ты сидеть будешь? Иди ложись... на диван.

Васька подошел к дивану.

— Хоть бы спросил что-нибудь, — сквозь слезы сказала Маруся. — Ходит как пень...

Васька снял рубаху, присел на диван.

— Маруся, — спросил шепотом, — а если бы я тебя малость побил? Может, лучше бы было? А?

— Может, и лучше, — сразу же ответила Маруся.

Васька сжал кулак, посмотрел на него при лунном свете с одной стороны, с другой, разжал и лег...

— Завтра пойдем... — вздохнул он.

И закрыл глаза.

Утром старик поправлял покосившийся забор... Чисто выбритый, причесанный, при парадном костюме, Васька вел по улице Галюню с куклой.

— Здоров!

— Здоровьте, деда... — сказала девочка.

— Здравствуйте, здравствуйте...

— Батя, присмотри за ней, мы разводиться пойдем... Если к обеду не разведемся — покорми чем-нибудь...

— Иди, Галюнька, в хату, котику молочка дай... Иди, внученька...

Галюня ушла.

— Ты хоть говорил с ней? — спросил старик.

— Батя, не могу я отношения выяснять! — застонал Васька. — Мне стыдно! Люди не языками должны разговаривать...

— А чем?

— Душой, — сказал Васька, — а уж если ей не получается, че языками трепаться?

— Ладно, иди... — махнул рукой старик.

— Любит она его, гада... Надо же так любить, — удивляется Васька. — Да ты не расстраивайся. Один жить не буду. Женюсь опять... Галюню только жалко...

По улице к хате старика шла почтальонша.

— Вон, — оживился Васька, — на Верке женюсь... Она все по Сашке сохнет... Ну, а я же на него малость похож... Башку в рыжий цвет выкрашу, она меня и полюбит...

— Иди, охламон...

— Не забудь покормить... — напомнил Васька и быстрым шагом прошел к своей хате.

По дороге поприветствовал почтальоншу:

— Здоров, Верка!

— Привет! — весело ответила Верка и подошла к старику.

— Дядя Федя, возьмите телеграмму. Сашка едет...

Старик выронил из рук молоток, подошел, взял телеграмму, но сразу читать не стал, а положил в карман. Спросил у Верки:

— Ну, что нового?

— А, ничего, — Верка села на скамейку перед забором, помахала перед лицом газетой. Фу, с утра и такая духота...

— Сносят нас...

— Ага...

— Почту уже носить не будешь?

— Меня в восемьдесят третье отделение берут... Вон там, за стройкой...

— Корову продали?

— Ага. С курами не знаем чего делать...

— Это проще. И большую вам дадут с маткой?

— Однокомнатную, наверно... Хватит с нас.

— И не жалко?

— И чего жалеть? Деревню? Отжила свое. Неперспективная...

Старик внимательно-внимательно смотрит на Верку.

Верка почувствовала взгляд.

— Что, дядя?

— Родить тебе надо... — вздыхает старик.

— Надо... — грустно согласилась Верка, встала и пошла по улице.

И шагали Васька с Марусей по бурному городу. Шли в нарсуд. Разводиться. Васька наставлял жену:

— Так и так, скажи: пьет, дома не бывает, за дочкой совсем не смотрит... Ну как с таким жить? А то, что характерами не сошлись, это только дураки сейчас говорят... Теперь за это уже не разводят... Судья скажет: бросьте, ребята, лапшу на уши вешать, меняйте характеры и живите дальше...

— Скажу все как есть, — твердо пообещала Маруся.

— Не ерунди! — строго сказал глава семьи. — Стыдно...

— Мне будет стыдно...

— А мне? Подумают, что за мужик такой, бабу приструнить не смог. — Васька задумался. — Мне же тоже надо что-нибудь выдумать... Если скажу, что ты мои рубашки не стираешь... Ничего? А? — как за советом обратился к жене.

У здания нарсуда остановились.

— Ты думаешь, так они и поверят, что ты пьяница? — сказала Маруся.

— А куда они денутся?

И тут тень сомнения легла на Васькино чело.

— Маруся! — задумчиво сказал он. — Подожди-ка меня там, в коридоре... Я сейчас!

И прежде чем Маруся успела о чем-то спросить, Васька выскочил на улицу и куда-то побежал.

— Батя! — с надеждой обратился он к пожилому прохожему. — Одиннадцать есть?

— Дают уже, дают... — грустно ответил прохожий.

А потом, погрустневший, медлительный, Васька вышел из маленьких дверей подвальчика. На ходу дожевывал бутерброд с селедочкой.

Маруся одиноко сидела в коридоре нарсуда, всякий раз вздрагивая, когда открывались входные двери...

По направлению к суду Васька успел пройти всего полквартала. Вниз по тротуару на противоположной стороне стремительно неслась голубая детская коляска с поднятым верхом. Следом за ней, все более и более отставая, бежал мужчина.

Васька оттолкнулся от асфальта, как вратарь, пролетел в воздухе и мертвой хваткой вцепился в заднее колесико.

На асфальт, Ваське на голову со звоном посыпались разнокалиберные бутылки... Васька нервно вскочил, по инерции быстро поднял коляску, все еще надеясь обнаружить там ребенка. Но ребенка не было. Были бутылки.

Хозяин посуды уже не бежал. Он шел и смеялся.

Рука Васьки сжала горлышко бутылки. Он встал и с бутылкой пошел на этот смех, как с гранатой на танк.

— Фашист... — закричал он. — Геббельс проклятый!

Мужчина развернулся и побежал. Васька за ним!

— Стой, гадюка!!! Все равно не уйдешь!

— Ненормальный! — обернулся, закричал мужчина. — Кто тебя просил? Столько бутылок разбил!!!

Васька швырнул бутылку ему вслед. Мужчина пригнулся, бутылка пронеслась над ним и врезалась в ветровое стекло идущих навстречу «Жигулей».

Брызнуло во все стороны стекло.

Измятого, исцарапанного, с изодранными на коленях брюками, его вывел из здания нарсуда сержант.

— Гад! — зло выдохнул на крыльце Васька.

— Ну, ну... — строго сказал сержант.

— Да не судья... Тот гад... С бутылками. Вешать таких мало...

— Иди...

— Руки за спину или как?

— Как хочешь...

Пошли по улице.

На остановке троллейбуса Васька увидел почтальоншу из Белых Рос.

— Верка! — позвал он.

Верка оглянулась.

— Зайди вечером к нашим! — попросил Васька. — Скажи, пускай не волнуются! Я в тюрьме!

— Чего ты орешь? — сквозь зубы прошептал сержант.

— Слушай, начальник, а амнистий у вас не полагается? — не останавливаясь, спросил у милиционера Васька. — Мне с Марусей надо развестись...

Верка так ничего и не спросила у Васьки.

— Скворцов! — крикнул с улицы кому-то сержант, как только они вошли во двор отделения милиции. — Принимай пополнение!

В открытом окошке первого этажа появился уже знакомый Ваське старшина.

— Здоров, композитор! — весело приветствовал он Ваську. — Доигрался?

Васька не ответил.

Васька и старшина курили на скамейке.

— Так чего же ты не рассказал, как все было? — с досадой спросил старшина.

— А он меня спрашивал? — рассердился Васька. — Бросал бутылку? Бросал... Стекло разбивал? Разбивал... За воротник закладывал с утра? Было, говорю... Получи и распишись! И смотрит, так на меня смотрит, будто я пол пот какой-нибудь!..

Старшина вздохнул:

— Как, ты говорил, тебя зовут в деревне?

— Чунчабарабанча, а что?

— Правильно зовут... Ты же, может, несколько человек от смерти спас! Если бы коляска выкатилась на проспект, представляешь, какая бы каша была...

— Ну...

— Гну! — даже зло сказал старшина. — За хорошее дело умудрился десять суток схлопотать...

Васька пренебрежительно махнул рукой:

— Отсижу... Тут дело не в этом... А в том, что нельзя так... Раньше попробуй пустую колыску покачать — по рукам дадут... Нельзя, грех... А он бутылки в ней возит... Алкаш проклятый...

Старшина встал:

— Пошли в кабинет... Дам бумагу, напишешь, как все было...

— Не, не, не! — замахал руками Васька. — Я лучше на вторые десять суток сяду, чем жалобы писать... Нашел писателя!

— А ну, пошел! — старшина схватил Ваську за плечи и толкнул к двери.

— Не имеешь права! — защищался как мог Васька.

Сашка, небритый, сидел в аэропорту. Дикторша вещала безразличным голосом: «Уважаемые пассажиры, рейс № 7791 задерживается на шесть часов по метеоусловиям Красноярска».

Сашка стукнул кулаком по скамейке и беззвучно выругался, тоскливо стал рассматривать уже изученный до мелочей зал ожидания. И видит такую сцену.

Прямо на полу, под картиной «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», расположился на ужин коренастый веселый сибиряк... С удовольствием уплетает сало с хлебом, между ног стоит большая бутылка «Пшеничной». Поест, поест, облизнется, потом набулькает полный стакан водки, хряпнет и не сморщится. Сибиряк!

Два милиционера появились:

— Пройдемте...

— Куда? — опешил сибиряк и удивленно спросил: — За что?

— Быстро собирай все и пошли. Совсем обнаглел!

— Да вы что, ребята? У меня же самолет!

— Собирайся...

— Да что я сделал-то? — чуть не плачет сибиряк и вдруг, перехватив взгляд на бутылку, начинает хохотать: — Ой, братцы! Ну, вы даете! Это же вода! Колодезная... Из наших ключей. Мне моя Зинка всегда на дорогу дает... А вы... Ой, не могу!

— Рассказывай, рассказывай...

— Да попробуйте, елки зеленые!

— Гражданин!

— Ну, понюхай хоть...

Милиционер понюхал, не поверил собственному носу, попробовал. Вода!

— Ну, а зачем ты ее возишь за собой? Вон ведь вода! — показал тот, который пробовал, на мраморный фонтанчик в углу.

— Я такую не пью. Она с железом.

— Ну и что?

— Не хочу, чтобы у меня внутри железо было.

Милиционеры ушли.

Сашка подошел.

— Дай воды...

— На! — сибиряк налил полный стакан.

Сашка маленькими глотками опорожнил его.

— Понимаешь, брательник, какая штуковина... Зинка моя... Ну, ударница! Сама, понимаешь, кнопочка такая, в кармане носить можно, а сына на пять кило отчебучила... Орет, как бугай! За витаминами отправила. Трактор бросил, за витаминами лечу. Ты представляешь, сколько при таком весе витаминов надо, чтобы все путем было! Как вода? Скажи... Из моего колодца... Полгода рыл, думал, до Пентагона докопаю... Нигде такой нет.

— Есть, — сказал Сашка. — У нас в Белых Росах.

— А это может быть, — неожиданно легко согласился сибиряк.

Лайнер стремительно пробежал по взлетной полосе, лег большими серебристыми крыльями на упругий прозрачный воздух и понесся догонять одинокое облачко на горизонте.

Поздно ночью Мишка Кисель вошел во двор старика. Он был одет в светлую куртку с молнией, на плече — рюкзак. Постучал негромко в окно:

— Дядька Федос!

Окно распахнулось, в нем показался весь в белом старый Ходас.

— Чего тебе?

— Топор-то отдай, — тихо и жестко попросил Кисель.

— Вон в углу торчит, — кивнул старик.

Кисель подошел, вырвал из бревна топор, вернулся.

— Ваську позови...

— Сидит Васька, — вздохнул старик.

— Как... сидит? — удивился Кисель.

— В городе чего-то набедокурил... Десять суток дали... К Марусе заходил?

— Нет.

— Зайди.

Кисель покачал головой:

— Боюсь... Остаться могу, — глухо промолвил Кисель и пошел в темноту.

Старик еще долго сидел в окне.

Кричали первые петухи.

Кисель вышел на шоссе перед изогнутой стрелой указателя. Остановился, перевел дух, поправил на плече рюкзак, какое-то время смотрел на исцарапанный указатель. Потом легко одной рукой разогнул его, глянул в последний раз на темную спящую деревню и быстро-быстро пошел по шоссе к освещенному электрическими огнями городу.

И вот наступил тот день для жителей неперспективных Белых Рос, когда все сомнения по поводу дальнейшей судьбы деревни одним махом разрешились.

— Дорогие жители Белых Рос! — радуясь и волнуясь не меньше самих «жителей», говорила полная женщина с депутатским значком на груди. —

Ваша старая деревня с таким милым поэтическим названием переживает свое второе рождение! Через год-два на этом месте вырастут многоэтажные дома, магазины, школа, детские учреждения, предприятия бытового обслуживания... И особенно приятно то, что ваша деревня не исчезнет! — продолжала женщина. — Решением горисполкома новый микрорайон будет носить название Белые Росы! Более того, всем вам, я повторяю, всем без исключения, предоставляются благоустроенные квартиры в одном доме в двух шагах отсюда. Вот этот дом! — женщина показала рукой на серую бетонную башню метрах в пятидесяти от деревни.

Все головы одновременно, как у туристов, повернулись в сторону дома... Огромная махина всеми окнами смотрела на людей. Кто-то даже зааплодировал.

— Улица, уже городская улица, — продолжала женщина, — на которой вам предстоит жить, будет называться Белоросинская. Счастья вам, дорогие мои, радости и здоровых деток в новом доме!

Тут зааплодировали все. Маленький шустрый фотограф бегал вокруг, приседал и щелкал фотоаппаратом.

— Позвольте мне, — продолжала женщина, — выполнить приятное поручение исполкома Первомайского районного Совета народных депутатов и вручить вам ордера и ключи от новых квартир...

Тишина.

— Ордер на однокомнатную квартиру вручается старейшему жителю деревни Белые Росы, ветерану трех войн, ветерану труда — Ходасу Федору Филимоновичу...

Все зашумели, захлопали в ладоши, задвигались, заулыбались...

— Ну че ты пнем стоишь? — прошептал Гастрит. — Иди, если просят. Пока дают...

Старик подошел к колодцу.

— Поздравляю вас, дорогой Федор Филимонович! — женщина протянула старику синенькую бумажку и ключик. — Долгих лет вам жизни, здоровья, счастья! — и даже обняла. Но, обняв, прошептала на ухо: — Скажите что-нибудь...

Старик повернулся к односельчанам.

Все ждали от него речи.

— Ну, чего сказать?.. — заволновался Ходас. — Родился я, значит, тут в одна тысяча...

— Знаем, когда родился, — крикнул кто-то. — Речь давай!

— А ты там не вякай! Говорю что говорю! — огрызнулся старик и продолжал свою «речь»: — Родился я, значит, тут, женился тоже тут... Войну, значит, одну с Буденным Семеном Михайловичем, другую в Карелии, а третью, значит, тоже тут, в партизанах... А теперь во квартиру дали... Помру, значит, с удобствами... Спасибо...

Он вытер пот и пошел.

— Ну, Федос! — упрекнул его Гастрит. Не умеешь ты красиво говорить.

— Я зато думаю красиво! — буркнул старик.

— Все думают, — махнул рукой Гастрит.

Женщина улыбнулась, сказала растроганно:

— Спасибо, дедушка...

— За что? — изумился старик.

— За все. За всю вашу жизнь... — очень тихо, только ему одному сказала женщина, опять улыбнулась, взяла новый ордер и ключик.

— Ордер на трехкомнатную квартиру вручается...

В своем гнезде сидел одинокий аист.

Тревожно поглядывал по сторонам.

Клекотал.

Потом вдруг взмахнул крыльями и полетел.

К новому дому бежали семьями по мере получения ордеров и ключей. Именно бежали, а не шли.

— Петька! — задыхаясь, кричала седая старушка, прижимая к груди черного как смоль кота. — Возьми кошку!

— Ай! — отмахнулся молодой белобрысый парень.

— Возьми, я сказала! Кошка первой должна войти! Или дай хоть я войду, чтоб мне первой в новой хате помереть.

— Бросьте вы, мама!

— Петька, у тебя же семья и дети малые!

И захлопали двери, зазвенели оконные стекла, загудели лестницы под ногами, застонал-завыл лифт. Бурная, восторженная жизнь вошла в серый железобетон.

Первым делом, конечно же, высыпали на балконы.

— А высоко-то как!

— Банчук! Ты меня видишь?

— Не!

— И я тебя не вижу...

— Елки-моталки! Да тут же двух кабанов держать можно!

Струк, перегнувшись через перила, звал соседа:

— Кулага! Кулага!

С балкона этажом ниже показалась нервная голова Кулаги.

— Че?

— А я сверху тебя, — довольный до невозможности, сообщил Струк.

— Ну и что?

— А вот тьфу на тебя с высоты и все, — расплылся в добродушной улыбочке Струк.

— Отобью голову! — взвился Кулага. — Я сказал...

Мурашка, увидев хозяина, подняла от травы морду и замычала. Старик подошел к ней, достал из кармана большой кусок хлеба, протянул к коровьим губам:

— На, поешь, — отломил кусочек, отдал корове. Та осторожно взяла хлеб с ладони старика.

— На базар завтра пойдем... — вздохнул Ходас, достал из другого кармана ордер и ключ. — Вот видишь, квартиру в городе дали… Не обижайся...

Большое розовое солнце через ветви деревьев смотрело на старика.

Утро. По обочине ведет старик свою Мурашку к городу... Чуть впереди шагает Андрей... Молчат... Проносятся мимо автомашины...

— Ты куда сразу? — спрашивает старик.

— На работу. А потом в мебельный... Стенку посмотреть надо...

— Деньги есть?

Андрей кивает.

— А то могу дать...

— Не надо...

— И нечего обижаться! — сердито говорит старик. — Сашка вон со дня на день должен явиться... Я как чувствовал...

— А кто обижается? — оборачивается сын. — Только насчет того, что я бы твоей смерти ждал, это, папаша, дурь несусветная...

— Нечего дурь близко к сердцу принимать, если ты разумный... — нападает старик и делает неожиданный переход: — А денег могу дать.

Андрей улыбнулся, заметил вдали рейсовый авобус, зашагал шире.

— Я поехал!

— Андрей! — позвал старик. — Зайди после работы к нашему охламону... Может, голодный сидит, так купи чего-нибудь...

— Хорошо!

— И скажи, что Кисель смотал удочки из деревни...

Под вечер Андрей пришел на свиданье к Ваське. Братья сидели на травке у синего забора, курили... Андрей рассказывал:

— Комнаты светлые, лоджия, кухня просторная, пятый этаж... Тридцать вторая квартира...

— Галюня там не болеет? — прервал его Васька.

— Вчера конфетами меня угощала...

Васька улыбнулся.

— Да... Чуть не забыл! Кисель уехал...

— Ку… Куда? — оторопел Васька.

— Совсем из деревни уехал...

Васька зло швырнул окурок в траву:

— От, гад! Взбаламутил бабу — и тягу... Что ж делать теперь?

— Будете жить как жили, — сказал Андрей.

— Не-не-не! — поднял раскрытую ладонь Васька. — Я гордый! У меня характер, Андрюха...

— Ой! — аж сморщился Андрей.

— Че ты ойкаешь, че ойкаешь? — запетушился Васька.

— Слушай, ты... С характером... Жрать не хочешь?

Васька сглотнул слюну.

— Пива хочу! Вторую ночь, проклятое, снится... Кажется, подхожу к нашей Росасенке, гляну с берега, а там не вода, а пивко течет... Свежее, пена такая густая, плотная... Я, не раздеваясь, с берега бултых! Ныряю и пью, ныряю и пью... Проснулся — чуть не заплакал от расстройства!

Андрей встал:

— Сейчас принесу...

И тут Ваське что-то стрельнуло. Он вскочил:

— Сымай галстук! — потребовал он, расстегивая свой пиджак и стягивая с головы бумажную пилотку.

— Да ты что? — изумился Андрей.

— И пиджак давай... Посидишь за меня, полчасика заборчик покрасишь... Я сам... Из бочки... Не люблю я в бутылках...

Васька жадно допивал вторую кружку пива. Допил, вытер рукавом братова пиджака губы. Посмотрел на огромные часы, которые висели на площади...

Дернулась минутная стрелка на часах!

Дернул Васька себя за галстук! И побежал вниз по улице...

Перескакивая через три ступеньки, Васька бежал вверх по лестнице. На пятом этаже всем телом ударил в дверь с номером 32. Дверь распахнулась.

— Галюня! — закричал Васька.

— Папка! — зазвенел детский голосок. — Папочка мой! Папка приехал!

Маруся уронила тарелку.

Грустно опустив голову, плелся старый Ходас через деревню. Маленький медный колокольчик, который носила Мурашка на шее, тоскливо позванивал у него в руке: длинь-длинь, длинь-длинь...

Деревня вовсю уже переселялась...

А старик шел, ничего не замечая... Длинь-длинь, длинь-длинь, пел колокольчик.

На скамейке возле своей хаты сидел Гастрит. Веселый.

— Ну как, продал? — спросил он у Ходаса.

Старик тяжело кивнул головой.

— Иди, слезки вытру, — съязвил Гастрит.

Ходас даже головы не повернул, пошел дальше. Гастрит обалдел. Подскочил, догнал...

— Ну брось, брось, — грубостью прикрывая свое сочувствие, сказал он. — К хорошим людям, может, попала, в чистые руки... Че нюни развешиваешь? Сколько взял?

— Сотню...

Гастрит рот раскрыл.

— Корову? За сотню? А, ексель-моксель!

— Старая, говорят... — вздохнул Ходас.

— Так... ее же на мясо сдай, в пять раз больше получишь!

— Не мог я ее на мясо. Понял?

— Ага, — понял Гастрит. — Еще раз понял, что ты остолоп, который на солнце молится... Не обижайся только... Пошли замочим... И корову, и квартиры...

— Я не взял...

— Ладно! Мы сейчас мою тещу малость раскулачим. Пошли, пошли...

Вошли в хату.

— Сейчас мы эту монашку уделаем...

Гастрит нырнул под вышитые рушники, которые прикрывали образа в углу.

— Господи! Прости и помилуй, — пробормотал он и достал откуда-то из-под иконы темную бутылку с полиэтиленовой пробкой. — Вот сейчас по стаканчику влупим и водичкой дольем... Пускай натирается!

— А что она натирает? — осторожно спросил Ходас.

— Поясницу вроде, а может, и еще что... Выдумывает себе болезни и лечится... Водку только переводит зазря! И вот же скажи, что получается! Женки наши помирают, а тещи живут!

— Ну и пускай живет себе на здоровье! — заметил Ходас. — Что тебе, жалко?

— Мне не жалко, — сказал Гастрит, рукавом вытирая бутылку от пыли. — Я просто удивляюсь... Любопытствую. Сейчас огурчиков принесу.

Ходас взял бутылку, посмотрел на свет.

— Не, — сказал он. — Ты как хочешь, а я не... Поясницу вон и змеиным ядом натирают... Может, всыпала туда волчьих ягод, и ойкнуть не успеешь...

— А ексель-моксель! — возмутился Гастрит. — Гляньте вы на него! Ровесник Суворова, а все помереть боится...

— Мне Сашку женить надо, — оправдался Ходас.

— На, смотри. — Гастрит взял кусок хлеба, зубами вырвал пробку из бутылки, плеснул из нее на хлеб, открыл окно. — Фи-фу! И бросил хлеб на улицу.

У хлеба оказалась собака Гастрита, вислоухий Валет.

— Валет, не трогай! — закричал Ходас. — Пошел вон!

Валет уже облизывался, благодарно глядя на хозяина.

— Сдохнет, — вынес приговор собаке Ходас.

Валет и не подумал сдыхать.

— Видишь! — торжественно сказал Гастрит. — Живехонек! Садись! А то она вот-вот нагрянуть должна...

Ходас вздохнул и присел к столу.

— Тебе сколько? — спросил Гастрит.

— Ты что? Краев не видишь?

По двору прошла теща Гастрита. Зашла в сарай.

На столе уже не было ни крошки. Перевернутые вверх дном стаканы стояли на подоконнике. Старики говорили за жизнь.

— И брось ерунду пороть! — надменно говорил Гастрит. — Уж кто-кто, а ты еще три войны переживешь! Это я — другое дело... Я нервный! Псих! А у психов всегда короткий век...

— Я тебе сказал, что помру, — значит помру! — убежденно говорил Ходас. — Всю жизнь жил без удобств... Мне не удобства надо, понимаешь... Трудности...

— Трудности я тебе буду создавать, — пообещал Гастрит. — Не бойся...

— Что это такое? — пожал худыми плечами Ходас. — Вода будет рядом, дров не надо, в огороде копаться тоже не надо... Подумать страшно! По малой нужде и то на улицу выходить не надо... Помру!

— Ну, давай поспорим! — предлагает Гастрит. — На всю пенсию! Если ты первый остынешь — я тебе, значит, до копейки... А если я... — Гастрит умолк, похлопал глазами, понял, что зарапортовался, махнул рукой: — Ай, брось ты, Федос...

В сенях стукнула дверь. Старики схватили газеты, стали рьяно «читать». Вошла старенькая теща Гастрита.

— Здоров, Федос...

— Здоров, Марья, — очень уж трезво сказал Ходас.

— Тимофей, — обратилась старуха к зятю. — Что это с нашим Валетом?

Гастрит многозначительно, с чертиками в маленьких глазах глянул на Ходаса.

— Ничего, — хмыкнул. — Это он жизни радуется... Жить будет на балконе.

— Сдох вроде... — тихо сказала старуха.

Гастрит уронил газету.

— Кы-кы... Как сдох? Уже?

Старики выскочили на крыльцо.

Бедный Валет лежал в пыли посреди улицы. Возле самой собачьей морды серая курица разгребала пыль.

— Мамочки мои, — чуть слышно пролепетал Гастрит.

— Убийца-а! — воскликнул Ходас, сбегая с крыльца.

Побежали по улице так, как, наверное, никогда не бегали и в молодости.

Старики выбежали на асфальт перед указателем «Белые Росы».

На шоссе к городу мчалась «скорая помощь». Гастрит сразу же шлепнулся на асфальт, вытянув одну руку поперек дороги, а другую поднял кверху. «Скорая» остановилась. Пока Гастрит поднимался, Ходас, хлопая себя по животу, что-то кричал в окошечко врачу. Потом старики быстренько влезли в машину. «Скорая» включила мигалку.

Андрей уже докрашивал забор, нетерпеливо поглядывая на улицу. Из дверей отделения милиции появился молоденький сержант.

— Это ты, что ли, у нас сидишь? — спросил он Андрея. — Заходи...

Андрей побледнел:

— Я... Я еще не кончил...

— Завтра докончишь. Давай...

— Ну, подождите немножко... — взмолился Андрей.

— Быстрее, мне некогда!

Не отрывая глаз от малолюдной улицы, Андрей пошел к двери, как на плаху.

Закрыв глаза, Васька резал польку на своей гармошке. Галюня танцевала вокруг него. Лихо выдав последний аккорд, Васька торопливо снял с плеча ремень.

— Тебя совсем отпустили? — тихо спросила Маруся.

Васька поставил гармошку на стул, поцеловал дочку.

— Я тебе куклу новую принесу!

И ни разу не взглянув на жену, выскочил из квартиры и застучал каблуками по ступенькам...

— Ну, братан у меня там, понимаешь? — доказывал Васька дежурному. — Ни за что, просто так сидит... Меня подменял...

— Что ты мне басни рассказываешь?

— Ну, человек ты или...

— Если ты тоже хочешь сюда, я могу это устроить...

— Я трезвый! — возмутился Васька. — Не имеешь права!

— А ну-ка... — дежурный привстал.

Васька пулей вылетел на улицу.

Со скорбными лицами старики шли по деревне. Возвращались из города после «лечения».

— И какой гадости она всыпала туда? — тяжело вздохнул Гастрит.

— Алкаш... — отрешенно промолвил Ходас.

— Да ладно тебе! — смущенно сказал Гастрит. — Могло быть и хуже... Валет спас, царство ему небесное...

— Алкаш... — тупо повторил Ходас.

— А чего ты пил тогда, если такой хороший? — взвизгнул нервный Гастрит. — Что я тебя, силой?.. Сам до краев просил! — Не договорил. Лицо вытянулось от удивления. — Глянь, глянь... — пораженный до глубины души, прошептал он: — Валет...

К ним навстречу как ни в чем не бывало бежал веселый Валет.

— Во псина! — покачал головой Гастрит. — Да он же просто надрался и заснул... А мы-то, мы-то... На клизьмы согласились... А все ты: «Убийца! Убийца!» Пойдем, там еще малость осталось...

— Алкаш, — еще раз повторил Ходас.

— Сам ты алкаш, — завелся Гастрит. — Кто говорил: «Мне до краев, мне до краев...»?

— Пошел ты...

— Сам пошел...

Разошлись в разные стороны. Валет побежал почему-то за Ходасом...

— Иди вон, — сказал старик, — допивай с ним.

— И допьем! Допьем! — весело сказал Гастрит. — Валет, где хозяин?

Валет подбежал, вспрыгнул хозяину на грудь и лизнул в лицо.

Беспокойно спал на жестких нарах Андрей...

И снилось ему: полоска то ли ржи, то ли ячменя... И жена его в белом платочке, повязанном на затылке, согнувшись, серпом жнет... И складывает за собой в ровные кучки. А он переходит от кучки к кучке, скручивает из колосьев… ну, эти... как их называют. Которыми снопы связывают... Короче, делает Андрей снопы... Лихо так скрутит, подоткнет, взвесит на руках тяже-

лый пушистый сноп и осторожно, чтобы не осыпались колосья, кладет на землю... И уж, кажется, подходят они к концу полоски...

Оглянулся Андрей, посмотрел на свою работу...

Вдоль всего поля стоят дети. И у каждого в руках по снопу... Сколько снопов, а их было штук двадцать, столько и детишек...

Андрей испуганно глянул на жену...

А та стояла впереди и, приложив ладошки ко лбу, смотрела на темно-синюю тучу на горизонте... Загрохотал далекий гром...

— Андрей... — повернула жена заплаканное лицо. — Прости ты... меня...

— За что? — глухо спросил Андрей.

— За детей наших... что... не будет...

— И ты прости, — сказал он.

Загрохотал засов. В дверях появился сержант:

— Василий, подъем!

Андрей сел на нарах...

Андрей вышел из дверей отделения и торопливо пошел вдоль забора. Возле детсадика остановился. Из окошечка сказочного домика торчали ноги. Андрей поднял камешек и бросил в домик. Ноги спрятались, показалась белая Васькина голова.

— Андрюха! — заспанным голосом воскликнул Васька. — Тебя освободили, что ли?

Васька с трудом выбрался из домика, виновато подошел к забору.

— Андрюха, честное слово, не хотел, — забормотал он. — Галюню захотелось увидеть... Думал, что успею...

— Раздевайся!

Васька снял пиджак, галстук, шляпу.

— Только... это... — замялся Васька. — Я у тебя пару рублей из бумажника взял... Холодные ночи стали... Осень близко...

Переоделись каждый в свое.

— Ой, что тебе от твоей «камбалы» будет... — вздохнул Васька.

— А я ее брошу! — отчаянно заявил Андрей.

— Да ты что, сдурел? — испугался Васька. — Она хорошая баба...

— Пошли врежем, — так же отчаянно предложил Андрей.

— Рано еще... Не дадут... — Васька не узнавал брата.

— Коньяк дадут... Пошли!

— Что это с тобой? — аж остановился Васька.

— А я сегодня сон видел... — ответил Андрей.

И зашагали по утреннему городу.

Прямо из восходящего солнца вылетел самолет и совершил посадку на аэродромном поле.

Пассажиры покидали салон лайнера.

Сашка, пристегнутый ремнями, остался сидеть, вжавшись в кресло, опустив голову. Маленькая стюардесса склонилась к нему.

— Вам что, плохо? — как-то нежно спросила она.

Сашка поднял голову, улыбнулся измученно:

— Хорошо мне, — сказал хрипло, — ничего... Спасибо...

— Все будет нормально, — улыбнулась стюардесса.

— Ага… — Отстегнулся и медленно пошел к сияющему солнцем люку.

Навстречу восходящему солнцу со своей большой алюминиевой кружкой шел старик от нового дома к старой, пустой, покинутой деревне...

Так же, как и прежде, долго доставал тяжелую бадью, ставил ее на край сруба, черпал кружкой воду, пил, передыхал, думал...

Старик допил воду, достал из бадьи лист, зачерпнул новую кружку, пошел назад к горящему во все этажи огнями своему дому...

Возле хаты Васьки остановился. Из трубы шел дымок.

— Василь! — позвал старик.

Открылось окно. Показался Васька.

— Здоров, батя!

— Долго ты еще ваньку валять будешь?

— У меня характер! — отрубил Васька.

— Я вот возьму сейчас кол да погоню тебя вместе с твоим характером домой... Ишь ты! Забастовку устроил!

— Батя, не мешайся в мою личную жизнь! Пока она сама не попросит, я туда ни ногой... Хату снесут — палатку поставлю и буду жить... Я обиделся!

— Смеются же все и над ней, и над тобой, дураком!

— Смеются — это не плачут, — резюмировал Васька.

— Да ты хоть ко мне-то перейди, да и обижайся на здоровье!

— Все, батя... Свободен! — Васька закрыл окно.

— Тьфу! — зло плюнул старик, прошел немного, опять позвал: — Васька!

— Ну, чего еще? — открыв окно, с досадой спросил Васька.

— Ты не знаешь, на нашем кладбище начальство есть какое-нибудь?

— Конечно... Недавно министра хоронили...

— Да я не про то! Заведующий там или директор... Кто всем распоряжается...

— Есть, наверное... А зачем тебе?

— Говорят, хоронить уже не будут там... Пойдем сегодня с Гастритом места забивать... Может, взятку кому дадим... Там же мать лежит, а мне что, на другой конец города?

— Батя, не нагоняй на меня тоску! — Васька захлопнул окно.

Старик махнул рукой, отхлебнул из кружки и пошел к дому.

Сашка выскочил из такси перед указателем. Немножко постоял, посмотрел на исцарапанные буквы, быстрым шагом пошел по тропинке вниз...

Над деревней вставало солнце.

Медленно-медленно брел он через пустую, словно вымершую деревню. Пусто... Тихо... Даже воробьев не видно...

Он подошел к колодцу, долго смотрел на полную бадью и на цепь, с которой падали в темный колодец капельки.

Сашка рукой зачерпнул воды и плеснул в лицо... Раз... Другой... Третий...

Васька вышел из своей хаты, по привычке стал навешивать замок. Потом посмотрел на него, усмехнулся и швырнул в огород. И вдруг заметил человека у колодца... Присмотрелся... Человек, наверное, почувствовал взгляд, обернулся... Сверкнула на солнце рыжая борода!!!

— Сашка-а-а-а!!!

Сашка тоже хотел что-то крикнуть, но крик застрял в горле, так с раскрытым ртом он и бросился к брату...

Столкнувшись, вцепились друг в друга, не устояли на ногах, грохнулись на землю в пыль...

— Сашка, братуха! — захлебывался Васька. — Вернулся, морда рыжая!!!

Сели, отдышались.

— Ну, здоров... — сказал Сашка.

— Здоров. — Васька заплакал.

— Чего ты? — проглотил комок и Сашка.

— Так... Не обращай внимания, я дурной...

— А где все? — оглянулся Сашка на дома.

— А-а-а... Так снесли нас... В город переселили... Вон в том ящике живем... — Васька показал на дом. — Это я тут... Жене характер показываю... Ну и змей ты, Сашка! Хоть бы письмо написал...

— Где батька?

Васька шмыгнул носом, вытер слезу:

— На кладбище...

Сашкино лицо потемнело:

— Когда? — выдавил он и заплакал.

— Да ты что, Сашок?! Что ты?! — замахал руками Васька. — Это он пошел место себе вышибать! На будущее! По блату хочет похорониться! А так — жив-здоров!

Сашка взглянул на брата, понял, что тот не врет, и захохотал. Васька вслед за ним...

Так и сидели братья посреди дороги в пыли и хохотали.

Вечером сидели всей семьей за столом в новенькой полупустой квартире старого Ходаса. Андрей, Васька, Сашка и сам хозяин. Сидели уже хорошенькие.

— Ты мне сын или пасынок? — навис Ходас над Сашкой...

— Сын...

— Слушаться меня должен?

— Должен...

— Женись! — приказал Ходас.

— Прямо сейчас? — улыбнулся Сашка.

— Да! А то тебя опять понесет... Человек должен быть сердцем к чему-то привязан... От меня, родителя, оторвался — понятное дело, так и должно... Так привяжись к кому-нибудь! А то оторвался и повис, как не знаю что... А кто страдает? — старик стал загибать пальцы. — Я страдаю... Потом... — подумал и загнул сразу все пальцы, так что получился кулак: — Все страдают! Чего ты свою душу мучаешь?

— Все, батя, все! Находи невесту, и хоть завтра, — вздохнул Сашка.

— Другой разговор, — качнул головой Ходас и сразу же: — Верку Матрунину знаешь? Ну, почту у нас носила...

— Как же он ее не знает? — поднял от стола голову Васька. — Мы же учились в одном классе. — Коротко хохотнул и, показав рукой на брата, добавил: — Он ее тискал даже, когда в армию уходил.

— Еще лучше... Глянется она тебе? — спросил у Сашки.

— Да ты что, батя! Я ее пятнадцать лет не видел!

— Сейчас увидишь!..

Андрей, закрыв лицо, хохотал до слез.

— Андрюха, дам по уху! — в рифму серьезно пообещал старик и скомандовал: — Пошли на балкон!

Все вместе вывалились на балкон.

— Матруна! — крикнул вверх старик. — Выдь на балкон, если живая!

Сверху показалось сморщенное лицо старухи.

— Что тебе надо?

— Верка дома?

— Верка! — старуха на миг спряталась и появилась снова: — Она раздетая...

— Зови! — приказал Ходас.

Придерживая одной рукой халатик, сверху глянула Верка:

— Что, дядя Федя? — Заметила Сашку, еще больше запахнула халатик: — Здравствуй, Саша... С приездом...

— Здравствуй, Вера, — тихо сказал Сашка.

— Смотри, — через губу буркнул сыну Ходас и громко: — Та-а-ак... Что это я у тебя хотел спросить? А-а-а... Как жизнь?

— Спасибо, хорошо...

— Почту носишь?

— Ношу...

— Ну, все... Пошли, хлопцы...

Верка засмеялась и тоже ушла с балкона.

Допивали уже на кухне. Васька защищал брата.

— Че ты насел на него? — возмущенно говорил он отцу.

— Молчи! — отрубил отец, налил в Сашкину рюмку и спросил напрямик: — Согласен или нет?

Сашка выпил, понюхал кусочек хлеба и, уже окончательно перестроенный отцом на серьезный лад, резко махнул рукой, как артиллерист, отдавая команду «огонь»:

— Давай!

— Вот это я понимаю! — похвалил Ходас.

— Молодец, Сашка, — поддержал Васька.

— Да вы что, обалдели! — перестал смеяться Андрей. — Пускай сам с ней договорится, поговорит хотя бы, объяснится, что ли... Нельзя же так...

— Цыц! Нельзя-я-я... Много ты понимаешь! Я с вашей маткой не объяснялся... Ни про какую любовь не говорил! А без малого пятьдесят годов вместе, душа в душу... А вы любовь-любовь! Сю-сю, ля-ля! И на развод! Детей перестали рожать! Доведете скоро страну, на улицу выйдешь — не с кем будет поздороваться...

— Пошлет она нас к черту, — сказал Андрей.

Такая перспектива показалась Ходасу вполне реальной. Подойдя к стенке, он крякнул в вентиляционную сетку:

— Верка-а-а!!!

— Папа, — еще раз попробовал урезонить старика Андрей.

— Цыц! Вера-а!

— Ну, что такое? — весело ответила вентиляционная сетка голосом Верки.

— Замуж хочешь? — спокойно и просто спросил старик.

Смех. И сразу же ответ:

— Хочу...

— Так... А за Сашку моего пойдешь? — старик повернул к сетке ухо, чтобы лучше слышать.

Сашка выпрямился за столом.

Васька, раскрыв рот, ждал ответа.

Андрей беззвучно хохотал.

Тишина. Потом вентиляция заговорила скрипучим голосом Матруны:

— Вы че это удумали там, оболтусы пьяные? Женихи мне нашлись...

— А ты молчи! — попросил старик. — Не тебя же сватаем, зови Верку...

— Плачет она...

Все привстали со своих мест.

— Доигрались... — грустно промолвил Андрей.

Старый Ходас провел пятерней по седым волосам.

— Пошли, хлопцы! — заявил решительно. — В сваты пошли... Нечего антимонию разводить... Андрюха, глянь, там за газом бутылка должна быть...

— Я не пойду! — испугался Андрей.

— Пойдешь, где ты денешься, — уверенно заявил старик, — первый пойдешь и будешь эту... речь говорить! Ты у нас умный! Шляпу надень!

Перед дверью в Веркину квартиру старик давал всем последние наставления:

— Значит, так... Андрей первый, я за ним, потом ты, Васька... А Сашка последний, скромненько так...

Встрял Васька:

— Первым делом, — сказал он Андрею, — скажи, что князь за красным товаром пожаловал...

Андрей косо посмотрел на рыжего «князя».

— Он на Стеньку Разина больше похож, чем на князя... Хоть бы побрился...

— Все! Пошли! — скомандовал старик и, распахнув еще не закрытую по деревенскому обычаю дверь, сказал: — Добрый день в хату...

Вошли. Закрыли дверь. Весь древний обряд сватовства занял не более десяти секунд. Первым вылетел «князь», испуганный до предела, потом Васька, прикрывая рукой голову, и сам Ходас. Из-за дверей был слышен звон посуды и ругань. Последним, с достоинством закрыв за собой дверь, медленно вышел Андрей с бутылкой водки в руках. Лицо, шляпа, плечи и новенький галстук у него были засыпаны чем-то белым, мукой, а может, и стиральным порошком.

— Та-ак, — вздохнул Андрей и спросил заинтересованно: — В кого кастрюля попала?

— В меня, — сказал Васька, держась за голову. — Во, психованная!

— А могла и утюгом, ваше сиятельство, — сказал Андрей Сашке.

— А ну, идите домой, — неожиданно трезво и жестко сказал Сашка, отстранил Андрея от двери и вошел в Веркину квартиру.

Буквально через секунду его рыжая физиономия показалась из-за двери и заговорщицки заявила:

— Все! Идите домой... — и спряталась.

Ходас прильнул к замочной скважине.

— Все как надо, хлопцы! Выгорит наше дело! Я чувствую, — зашептал он. — Это ж надо! Кастрюлей! — Показал большой палец: — Во баба! А свадьба будет, никуда она не денется!

И старик не ошибся. Вскоре в Белых Росах грянула свадьба. Под открытым небом. Перед новым домом. Между городским микрорайоном Белые Росы и пустой деревенькой с таким же названием.

Во главе стола сидели молодые. Счастливая Верка и Сашка без бороды.

Андрей с женой сидели поодаль.

Васька наяривал на гармошке.

Матруна прикладывала платочек к глазам.

Грустная сидела Маруся.

Старик Ходас держал Галюню на коленях.

Теща Гастрита кричала: «Горько!»

И закричал весь народ: «Горько! Горько!»

И поднялись Верка с Сашкой, и стыдливо и неумело поцеловались.

Петька, не пожелавший впустить в квартиру кошку, перекрывая свадебный шум, пел молодым:

Эх, дазволь, маці, удаву браці...
Эх, дазволь, маці-і-і...

— Какую вдову? Какую вдову? — возмутилась старуха. — Что ты плетешь?

— Петька, иди сядь, успокойся! — потребовала мать.

— Ну дайте же спеть молодым! — закричал оскорбленно Петька и, пьяно улыбнувшись, подмигнул жениху и невесте: — Сашка! Верка! Ах! Вот кота возьмите! Чтоб первый в дом вошел! Так надо! — И запел:

Эх, не дазволю ўдаву браці...
Эх, не дазволю-ю-ю...
Удаву браці-і-і,
Удава будзе чараваці...

И совал им кошку.

Аист сделал круг над пустым своим гнездом и опустился в него.

Над деревней висел багряный диск заходящего солнца.

На траве курили старики. Ходас рассказывал легенду:

— ...Тогда один из бояр и говорит: спалить надо это село! Потому как вороги нагрянут и будет нам от них предательство!

— А вороги-то какие тогда у нас были? — спросил кто-то.

— А бог их знает! — пожал плечами Ходас. — Их тут перебывало не дай боже!

— Немцы, конечно, — уверенно сказал Гастрит. — Кто же еще? А этот боярин — гад! Мы предателями — никогда!

— Вот... — продолжал Ходас. — Спалить, говорит, и никаких... Село-то на границе: они, говорит, ворогам дорогу к нашему княжеству показывать будут...

— Гад! — повторил Гастрит. — Мазепа какой-нибудь!..

— Помолчи ты! — одернули его.

— Князь подумал малость, а потом и говорит: нет! Меня эти люди не предадут... Потому, говорит, что в этом селе живут Белые Россы!

— Чего-о? Какие Россы?

Ходас улыбнулся снисходительно:

— Раньше-то всю нашу страну как звали?

— Ну, Россия... Дак а...

— Русь, — подсказал кто-то.

— Не Русь, а Рось, — поправил Ходас. — А людей звали россами.

— А-а-а... Вон как!

— Не деревню, значит, так прозвали, а людей... Предков, значит, наших белыми россами окрестили...

— А почему белыми? — запротестовал Гастрит. — Что, у нас тогда рыжих или лысых не было...

Ходас уточнил:

— Ну, белые — это значит чистые... Верные... Свои...

— Сам придумал! — категорически заявил Гастрит. — И князя приплел... Вон у нас луг широкий, а под осень на нем роса выпадает...

— И что? — спросил Ходас.

— И все! — заявил Гастрит. — Нечего историю искажать!

— Чудак ты, Тимоха! — грустно сказал Ходас.

— А я вот не верю!

— Ну и не верь на здоровье! Кто тебя заставляет?

— Кто заставляет? Ты заставляешь... Набрался и плетешь черт-те что...

Стали поругиваться.

А народ плясал от души.

И наступила тихая ночь. Перед домом горели фонари. Большая белая луна сияла над городом и деревней.

Сидели на улице за столом отец с сыном. Блестела луна на чарках и пустых бутылках. Дремала гармошка на табуретке.

Подошел Гастрит, устало опустился на скамейку, а на стол поставил тарелку с остатками свадебного пиршества.

— Себе, что ли, набрал? — удивленно спросил Ходас.

— Тебе! — задиристо-пьяно выпалил Гастрит. — Валету! Слышишь, воет...

В темноте и вправду где-то несмело подвывала собака.

— На улицу просится, — вдруг погрустнел Гастрит, — теперь надо выводить... И не раз... Вот ведь, Федос... Васька! Вроде все хорошо. А в общем-то, пропади все пропадом! И теща, и Валет, и эти деликатесы!

Гастрит взял тарелку и огорченно ушел в ночь.

— Скажи мне, батя, — сонно вздохнул Васька, — как прожить, чтобы не притомиться? А?

— Пить меньше...

— Нет, ты скажи!

— Живи как живешь, набело. И все...

Из темноты к столу подошла Маруся. Тихо попросила:

— Вась, иди домой...

Васька обернулся:

— Сейчас!

— Ну, пожалуйста... — голос у Маруси задрожал.

— Сказано тебе, сейчас приду!

Маруся осталась стоять...

— Иди, — сухо повторил Васька. — И батьке тоже постели... Ему ночевать негде...

— Хорошо... — Маруся быстро ушла.

Еще немного посидели. Молча. Васька встал, нашел на столе недопитую бутылку.

— Пошли, батя, при свете по маленькой пропустим...

— Иди, я еще посижу малость... Подышу...

— Ну, приходи...

— Ага...

Ушел и Васька.

Старый Ходас сидел один за большим пустым свадебным столом.

Смотрел на темный спящий дом... на темную пустую деревню... Думал.

Занималось утро.

Старик сидел один. Смотрел за деревню на далекий лес.

Небо над ним уже стало светлеть. Всходило солнце.

— Ну, вот и все, — прошептал старый Ходас. — Пришел мой вечер… Уже нечего мне у тебя просить... Только спасибо сказать осталось... За то, что родился, за то, что мучился, радовался, плакал... За все...

И, как и прежде, старик медленно и торжественно прошел свой сад. Глухо падали спелые яблоки на траву. Как и прежде, стал спускаться к речке, в ласковый туман, смотрел на спокойное утреннее солнце, шептал:

— Верю в тебя, солнце наше! Пошли нашим детям тепла и света... Согрей их. Все на земле от тепла и света... От тебя, значит... Спасибо... Спасибо... Спасибо...

Багровый диск вставал над лесом, чтобы обласкать и согреть вечную землю.





МИХАИЛ ПОЗДНЯКОВ

Оставить на земле следы

* * *

Век мой горький и бесславный:
То Хатынь, то Куропаты.
На кресте времен кровавых
Я поник, бедой распятый.

То в Москве, то в Карабахе,
То в Ираке днем и ночью
Жизнь и радости на плаху
Кто ведет, кто напророчил?

Где счастливая дорога?
Кто укажет, кто поможет?
Полагался я на Бога…
Вижу только слезы Божьи.

* * *

Обычный в этом мире гость,
Иду нелегкою дорогой,
Отбросив ненависть и злость,
Живу надеждой и тревогой —

Не натворить нигде беды,
Жить не одним насущным хлебом,
Оставить на земле следы —
Которые вели бы в небо.

* * *

Не моторам, не железу —
Гимн слагал бы василькам.
Только в отчем крае цезий
Поселился на века.

На родимой на сторонке
Я бы песни пел, как бог.
Но в дома вселился стронций —
Не пускает на порог.

Всех любил и всем бы рад был,
И любовь была б чиста.
Но вплели в любовь разлады
Доллар, ложь и суета.

Я встречал бы утра диво
Только радостью живой,
Если б нищих не увидел
С переметною сумой.

И теперь брожу, печальный,
В мире, где грехов не счесть.
Но люблю, как ни банально,
Жизнь такой, какая есть.

* * *

Забудутся
Дебаты и разборки.
И время все
Расставит по местам.
Придем однажды
К Храму мы.
Но только
Он даст приют ли
Всем заблудшим нам?

В родных местах

На ольхе дрозды так пели славно…
Вновь иду их слушать голоса.
Детства край! Здесь и свежо, и травно,
Слышно даже, как звенит роса.

Вырублен ольховник — до основы.
Признаюсь — рубил его и сам,
Знать не зная: голосам дроздов я
Без гнездовий расцвести не дам.

Не поют. Теперь на сердце рана.
Эту боль не вылечить годам.
Не роса на травах утром ранним —
Это слезы горькие дрозда.

* * *

Какою была ты богатой,
Уютная мамина хата,
Для нас, малолетних. Приволье
Для солнца и запахов поля.

А кроме того, что просторной, —
Веселой, желанною, вольной
Была, нас с дорог ожидала,
Любовью своей согревала.

Без мамы теперь онемела,
За ней в облака отлетела.
Фундамент, осевший убого,
Пронзает мне сердце тревогой.

Я в небо смотрю виновато,
Ищу материнскую хату.
Там матушка хлеб выпекает
И ангелов им угощает…

В родной деревне

От рассыпчатой картошки
Поднимается парок.
Ждет подачки пес Тотошка…
Где ты, Ленька, мой дружок?

Кореша мои, так рано
Забрала вас мать-земля.
Дыры в хатах, словно раны,
Непогодою болят.

Не грусти, сестрица! Шкварки
Ты с яичницей подай.
Мы поднимем наши чарки
За любимый тихий край,

За дедов, отцов, соседей…
И не плачь, сестра, тайком.
Летом вновь сюда приедем.
Будем живы — не помрем!

* * *

На свете, средь берез и сосен,
Где гостем я живу случайным,
Меня спасают крылья весен
И материнской песни тайны.

На свете этом ненадежном
Нигде — ни далеко, ни близко —
И в радости, и в горе тоже
Жить не хочу я без Отчизны.

* * *

Созрела лесная рябина.
Листва пожелтела осин.
Как облаком, клин журавлиный
Печалью затягивал синь.

Но ветер певучие струны
Невидимой арфы ласкал
И прочь мои грустные думы,
Как тучи залетные, гнал.

И солнцем неярким согрета,
В душе моей радость взошла…
Иль осень навеяла это,
Иль ты где-то рядом была?

* * *

Защитит от бессонниц
Светозарность твоя.
Зажурчит в телефоне
Ручейком: «Это я…»

И вокруг посветлеет,
Грусти копоть смахну,
Крылья счастья смелее
В небе я разверну.

И напевом весенним
Отзовется земля:
«Добрый день, моя песня,
Незабудка моя!»

Я твой голос не вечер —
Слушать вечность готов.
И рванется навстречу
Сердце птицею вновь.

Распрощаемся вскоре.
Ты уйдешь в мои сны.
Зазвучит над простором
Камертон тишины.

* * *

Отбушевал цветущий май,
Громами прошумел над лесом,
О сон дурманящий, прощай,
Прощайте, синие *пролески*[1].

Я резвым ручейком звенел,
Искрился солнцем, жаждал далей,
Как жаворонок, песни пел —
Теперь душа спокойней стала.

Уже средь шумных птичьих стай
Не слышно соловьиной песни.
О сон дурманящий, прощай,
Прощайте, синие *пролески*.

И яблоня, забыв про грусть
По белизне, что отлетела,
Уже иную ищет суть,
Плоды раскачивая смело.

И снится полю каравай
Под солнца уходящим блеском.
О сон дурманящий, прощай,
Прощайте, синие *пролески.*

Перевод с белорусского Елизаветы Полеес.



[1] Пролески (*бел.*) — подснежники.



ЛИНА БОГДАНОВА

Черемуховые страдания

Повесть

Двери автобуса бесшумно закрылись, и Аля осталась одна в кромешной тьме августовской ночи. Было еще по-летнему тепло, вокруг звенели невидимые комары, пахло полынью и пылью, где-то вдалеке слышался лай собак.

— В принципе, этого и следовало ожидать, — стараясь не обращать внимания на вновь подступившую к сердцу боль, проворчала себе под нос незадачливая путешественница — привычка говорить с собой появилась у Алевтины давно, то ли от излишней скрытности, то ли от недостатка слушателей. — Чего можно было ожидать от так неудачно начавшегося лета?

Аля сознательно приуменьшала масштаб выпавших в последнее время на ее долю неприятностей. Иначе просто опускались руки, хотелось запереться в какой-нибудь каморке и выть от тоски и безысходности. В свои прожитые вполне благополучно четыре десятка лет она вправе была ожидать от этого лета гораздо большего. К сожалению, все складывалось с точностью до наоборот.

Два месяца прошли в напряженной борьбе за собственное существование. Борьбе с теми, кто до недавнего времени считались самыми близкими и самыми родными людьми в ее жизни. Борьба оказалась гораздо сложнее, чем можно было предположить. Без помощи своего литовского друга Йозаса ей бы не удалось разобраться в хитросплетениях этих финансовых махинаций.

Зализывать раны она решила в укромном месте, где до нее не смогли бы добраться сердобольные подруги и прочие нежелательные участники недавних событий. Но дернул же ее черт выбрать это самое укромное место столь бездарно, воспользовавшись мимолетным советом незнакомца, оказавшегося ее попутчиком при возвращении с Канарских островов. На Канары она летала вместе с Димкой в надежде на две недели экзотического отдыха. А возвращалась уже через пять дней в одиночестве и смятении.

Только началось все не на благословенных Богом и людьми островах. А дома, в такой родной и такой любимой фирме, которую Аля создавала, холила и лелеяла, как единственное дитя, почти пятнадцать лет. Собственно говоря, благодаря своему «АлДану» Аля так и не обзавелась нормальной семьей в нормальные человеческие сроки. Фирма требовала от нее времени и сил в таких количествах, что этих ресурсов ни на что более не хватало.

Первый муж, тихий и безобидный Эдик сбежал от нее уже через год, потеряв надежду лицезреть еще недавно обожаемую супругу и вкушать радости совместной жизни хотя бы час в сутки. Насчет детей вообще вышел полный облом, поскольку в рекомендованные докторами сроки Аля так и не сделала необходимую операцию — заняться собой в то время было совершенно недосуг. Родители, оставшиеся без присмотра своей ужасно занятой дочери, как-то

незаметно постарели, разболелись и тихонько покинули этот грешный мир один за другим с интервалом в несколько месяцев.

Аля боролась с тяжестью их утраты всем известным, давно проверенным средством — пропадала на работе с утра до ночи, что-то постоянно расширяя и совершенствуя. Раны затянулись незаметно, сами собой, бизнес стал приносить устойчивую прибыль, и к тридцати пяти годам Алевтина Даниловна Плавникова стала известной и весьма успешной бизнес-леди республиканского масштаба. Известной, успешной и совершенно одинокой.

Спохватившись — скоро сорок, а там уже никто и не клюнет на ее слегка перезревшие прелести, — Аля принялась действовать на личном фронте так же решительно, как и в бизнесе, и уже через год устроила себе сногсшибательную свадьбу, околдовав одного из своих партнеров по бизнесу, милягу и симпатягу Димку Киселева.

Три года молодожены жили душа в душу, любили и заботились друг о друге в лучших традициях американской семейной мелодрамы. А потом все вдруг изменилось, потеряло трогательность и теплоту, превратилось в некую обыденность и скуку. Димка зачастил по командировкам, хотя прежде с этой непростой миссией успешно справлялись их многочисленные замы. Аля все больше времени стала проводить с подругами в СПА-салонах и прочих приятных дамских местечках. Дома супруги ограничивались парой-тройкой поцелуев, следуя хорошо отработанному режиму — перед завтраком, уходя на работу, перед совместным, если получалось, обедом в каком-нибудь ресторанчике, вечером перед ужином и, наконец, перед сном. Насчет семейных секс-сеансов все было, как у других семейных пар со стажем, — что называется, по настроению, то есть раз-другой в месяц.

— Для хорошего секса нужны хорошие условия, — время от времени успокаивала себя Алевтина. — Много свободного времени, цветы, шампанское и прочие романтические атрибуты.

И в конце концов сама поверила в то, о чем твердила. И устраивала себе маленькие сексуальные каникулы пару раз в год. Со всеми необходимыми атрибутами. Были среди них и пятизвездочные отели в самых романтических уголках мира, и шикарное белье, и свечи, и цветы, и шампанское. И Димка в таких случаях был хорош до невозможности. Да и сама Аля ни разу не испортила ситуацию.

Так они и жили, погрузившись «по самое не могу» в свой любимый бизнес в ожидании очередного романтического допинга. И теперь эта благополучная и интересная во всех отношениях жизнь дала основательную и не поддающуюся устранению трещину. А началось все этим злополучным летом...

Глаза постепенно привыкли к темноте, и Аля вдруг увидела над собой бездонное августовское небо, заполненное тысячами звезд. Эта совершенно неподдающаяся описанию картина захватывала дух, восхищала, сбивала с мыслей, подавляя и возвеличивая одновременно. Але вдруг показалось, что она уменьшилась до размеров гречишного зернышка и полетела навстречу этому немыслимому великолепию. А звезды, словно смеясь над наивной поклонницей, стремительно удалялись, поблескивая таинственным светом.

В конце концов, бог с ним, с этим неудачным летом. Даже ради этой удивительной звездной ночи стоило приехать сюда и понять, что в мире есть то, ради чего стоит жить. Несмотря ни на что!

Аля развела руки в стороны и закружилась прямо посреди пустынной дороги:

— Привет вам, звезды! Я лечу к вам! Я лечу-у-у-у…

— Нижайше прошу простить за несвоевременное вмешательство, но обстоятельства вынуждают, — как гром среди ясного неба раздался рядом хриплый баритон.

Аля отскочила в сторону, намереваясь отчаянно завизжать. Вдруг что-то теплое и мягкое ткнулось ей в ладонь, отчего разумные намерения окончательно покинули хозяйку, и она потеряла дар речи, а заодно и способность к передвижению. Оставалось только одно: умереть на месте от ужаса, охватившего все ее существо.

— Вы нас не бойтесь, милая барышня, — хрипловатый голос невидимого в ночи чудовища, как ни странно, успокаивал, так что со смертью от ужаса вполне можно было повременить. — Мы с Орликом, собственно, за вами и приехали. Только по дороге фонарик я потерять умудрился. Ведь это вы звонили в фирму «Черемуховые зори»?

От этого знакомого и вполне безобидного названия Аля окончательно пришла в себя и строго спросила невидимого собеседника:

— Вы всех своих клиентов таким образом встречаете?

— Простите великодушно! Кто ж знал, что фонарик… Я его битый час искал, вот и к автобусу не поспел вовремя. Нижайше вас прошу, милая барышня, не губите старика! Елена Леонидовна ни за что такую оплошность мне не простит! И лишит нас с Орликом всяческих средств к существованию!

Невидимый собеседник еще что-то говорил, напевно и с весьма необычными в повседневной речи оборотами, отчего-то напомнившими Але церковную службу.

— Да чего уж там, дедушка, бывает. Я на вас не сержусь.

— Вот спасибо, милая барышня! А насчет автобуса… Есть и дневные рейсы, а выбор остается за клиентом. Разрешите познакомиться — Ираклий Ионович.

— Аля.

— Очень приятно. Кстати, местные жители упростили мое не слишком удобопроизносимое имя до Ионыча. Что мне, памятуя великого классика, весьма приятно. Можете меня так и называть. И помните, в моем лице вы приобрели верного слугу, готового исполнить любое приказание в любое время дня или ночи!

— Для начала помогите погрузить вещи.

Через пару минут повозка тронулась. Аля удобно разместилась на душистом сене, отказавшись от услужливо предложенного Ионычем мягкого покрывала, во все глаза глядя на так взволновавшее ее небо. Ионыч, чувствуя настроение попутчицы, не обременял ее разговорами, ограничившись краткими сведениями по поводу своего недавнего перехода из священнослужителей в помощники хозяйки усадьбы. Посетовав на судьбу-злодейку, сбившую его с пути истинного, он выдал еще несколько перлов из своих бездонных словарных запасов и замолк, бережно управляя Орликом.

И Аля получила время на обдумывание своих проблем. Созерцание многочисленных звезд и созвездий, таинственно мерцающих над головой, настраивало на философское отношение к горестям и потерям.

В самом начале июня она начала готовить очередной романтический сюрприз для любимого мужа. На этот раз выбор пал на Канары, где они пока не бывали. Стабильность их совместного предприятия вполне позволяла такую роскошь. Уже перед самым отъездом Але удалось, наконец, заручиться согласием одного из маленьких, но весьма успешных конкурентов на слияние их предприятий. Будущий партнер обещал к концу ее отдыха дать окончательный ответ, взвесив все «за» и «против».

На это объединение Аля возлагала большие надежды: их довольно прибыльный прежде бизнес в последнее время нуждался в реорганизации. Объединившись, они могли заняться повышением качества продукции, приобретением нового оборудования и прочими полезными делами.

Дмитрий предпочитал иные пути преодоления проблем. Совершенно очевидные, с точки зрения Али, действия вызывали у него недоумение, а порой и раздражение. Поэтому супруга и решила действовать за его спиной на начальном этапе слияния, чтобы позже продемонстрировать упрямцу конкретные результаты новой стратегии. К тому же, Алина собственность в предприятии была в несколько раз больше, да и генеральным директором фирмы была именно она.

Итак, супруги отдыхали на канарских пляжах, а будущий партнер тем временем взвешивал все плюсы и минусы возможного объединения. Слияние предприятий обещало быть довольно успешным. Как и две недели райского наслаждения, заботливо подготовленные ею для любимого Димочки. Все здесь было продумано до мелочей: и трехкомнатные апартаменты с огромной лоджией, выходящей на океан, и маршруты экскурсий, и культурная программа. И сама Аля выглядела сногсшибательно после трех сеансов в престижном косметическом салоне.

Два дня и две ночи прошли, словно в сказке. Казалось, супруги скинули с себя опыт совместно прожитых лет и восторженно переживали новый медовый месяц. Вечер в ночном баре, расположенном прямо на пляже, обещал стать таким же неповторимым и волнующим, как и два предыдущие. Еда была отменной, погода — выше всяких похвал, с легким приятным океаническим бризом, запахом диковинных цветов и шелестом волн. Ведущий программы пообещал множество приятных сюрпризов. Даже Димка блеснул: после первого бокала шампанского достал из кармана премиленькую бархатную коробочку в форме изящно изогнутого сердечка и, протянув ее Але, прошептал:

— Самый красивый жемчуг — самой прекрасной женщине.

Он всегда говорил банальности, но с таким видом, что Але хотелось слушать их еще и еще.

Жемчуг был действительно хорош. Три нитки абсолютно круглых жемчужин одного размера и цвета соединялись маленькими золотыми узелками с одной очень крупной жемчужиной.

— Это самое прекрасное украшение, которое я когда-либо видела! Спасибо, любимый!

Потом они танцевали, потом слушали пение залетных знаменитостей, потом… Настойчивый звонок мобильного прервал этот волшебный сон:

— Я на секундочку, милый, — Аля выскользнула из бара и присела на скамейку у самого берега. Дима, поглощенный завораживающим танцем восточных красавиц, даже не заметил ее ухода.

Звонил будущий партнер:

— Вы меня извините, Алевтина Даниловна, но мне просто необходимо было с вами связаться.

— Бросьте, Женя! Я человек деловой и понимаю — без особой надобности вы бы не позвонили. Что у вас случилось?

— Скорее у вас. Я счел необходимым кое-что проверить в вашей бухгалтерии. Сами понимаете…

— Понимаю, твой бизнес тебе очень дорог. И что же тебя не удовлетворило в моей бухгалтерии? Заметь, я не спрашиваю, каким образом вы до нее докопались.

— Все в пределах разумного, Алевтина Даниловна, не более того. Так, дебет с кредитом и прочая лежащая на поверхности арифметика.

— Не томите.

— Поймите, если бы я не был уверен в вашей порядочности, я никогда бы…

— Да что там случилось, Женя? — Аля начала нервничать.

— В общем, вы почти банкрот. Еще капельку, и…

— Что за ерунду вы мелете?! У меня только прибыли в этом году, — начала было Аля и осеклась — дело было совсем не в прибыли. И когда же она в последний раз проверяла свои обороты? — Вот что, Женя, я сейчас возьмусь за проверку всего этого безобразия. Думаю, что вы не собирались меня разыграть. А позже свяжусь с вами.

— Вы только помните, Алевтина Даниловна, что я вас уважаю и думаю, что мы вполне смогли бы быть партнерами. Жду звонка.

— Спасибо, Женя.

Аля отключила телефон и попыталась осмыслить сказанное Женей. Неслабая доза спиртного и внезапность совершенно невероятных известий не позволяли этого сделать. Она лишь поняла, что случилось что-то из ряда вон выходящее, а может быть, и не случилось. В любом случае, беспокоить Димку непроверенными фактами не стоило. Лучше довериться своим подчиненным. Аля набрала номер главного бухгалтера:

— Инга, привет.

Они поболтали некоторое время о подробностях романтического отпуска (Инга была давней приятельницей Али и имела представление о ее взаимоотношениях с супругом), затем Аля спросила о делах фирмы и мимолетом попросила:

— Сделай-ка мне балансик за последний квартал. Хочу на досуге взглянуть, как там у нас дела. За завтра успеешь?

В столь скромных сроках ничего ужасного не было: Аля уехала в середине июня, а к этому времени обычно уже готовился черновой вариант квартального отчета. Ответ подруги ее несколько насторожил. Инга немного замялась, а потом попросила два дня:

— Аль, у меня на завтра столько бумаг, боюсь, что с отчетом не успею. Можно до послезавтра потерпеть?

— Не вопрос, подруга! Давай до послезавтра. Рада была тебя услышать.

— Счастливо отдыхать!

Аля с минуту задумчиво рассматривала свой телефон, а потом снова набрала номер:

— Матвеич? Доброй ночи! Начальство беспокоит! Есть у меня к тебе разговор…

Придя в номер, Аля отправила Димку в душ, а сама первым делом отключила его мобильный. Пока Матвеич с Ингой будут разбираться в балансе предприятия, ее любимый и единственный супруг будет спокойно наслаждаться изысками местного туристического бизнеса. Для забот по неизвестно еще, существующим ли на самом деле проблемам их общего дела, будет вполне достаточно одной Али. Затем она разделась и отправилась в ванную составить мужу компанию. В конце концов, она тоже заслуживает маленьких жизненных радостей.

Предчувствия ее не обманули: информация Инги и Матвеича весьма существенно расходилась. Оптимистический баланс подруги не совпадал с неутешительной арифметикой ветерана бухгалтерской службы, доставшейся Але в наследство от отца. Они с Матвеичем много лет служили в одном

отделе крупного строительного треста, и отец считал его настоящим экономическим асом.

— Если тебе когда-либо понадобится толковый экономист — ищи Матвеича. Он никогда не подведет. И самое главное, его никто и никогда не подведет. Не поддастся друг никаким махинациям, — посоветовал когда-то отец.

Аля не преминула воспользоваться его советом сразу после основания фирмы. И действительно, толк от Матвеича был немалый. Вот только с компьютером старый бухгалтер не слишком дружил. Оттого и пришлось назначить главным бухгалтером молоденькую Ингу, а старику доверить бухгалтерию в одном из отделов. Но в тяжелые времена Матвеич брался и за компьютерную мышку.

Разобрав отчет старого бухгалтера, Аля обреченно вздохнула: ситуация была настолько аховая, что вмешательство супруга становилось необходимым. Для начала она решила включить его телефон (не дай бог, заметит, что супруга посмела его выключить!). На дисплее показалась информация о трех пропущенных звонках. Диме звонила Инга. Причем, звонила в тот злополучный вечер, сразу после разговора с Алей. Колокольчик тревоги зазвонил где-то совсем рядом. Интересно, зачем Инге было звонить мужу сразу после беседы со своим непосредственным начальником? Але не хотелось делать скоропалительных выводов, но все это ей очень не нравилось.

За завтраком она все рассказала Диме. Тот поспешил успокоить супругу:

— Инга опытный работник. Она не могла так ошибиться. И почему это ты вдруг приплела к делу этого трухлявого счетовода? Он-то какое ко всему имеет отношение? И потом, я же недавно все проверял лично. Здесь какая-то ошибка. Вот приедем и разберемся. А пока отдыхай спокойно, любимая.

Он нежно поцеловал супругу и поспешил занять ее внимание программой сегодняшней экскурсии. И только странный блеск в глазах выдавал волнение и досаду. Именно эта, явно просматривающаяся во взгляде мужа досада убедила Алю в причастности мужа к внезапно открывшейся неразберихе.

— Да как ты можешь спокойно рассматривать доисторические развалины, когда собственная фирма того и гляди сама превратится в развалину? — ее возмущению не было предела. — Нужно срочно заказать билеты на ближайший рейс!

— Как себе хочешь, а я предпочитаю остаться, — Димка поражал своим спокойствием. Вот только глаза его выдавали растерянность и смятение.

Аля всегда замечала, что супруг медленно переваривает новую информацию. Для принятия важных решений ему обычно требовалось несколько дней. В такой ситуации он замыкался в себе, пытался уединиться и в гордом одиночестве найти единственно правильное решение. Поэтому совершенно спокойно оставила Димку в отеле, а сама вернулась домой разбираться в делах своей фирмы.

Вот только разбираться особенно было не в чем. Недавно еще процветавшая фирма, занимавшаяся строительством и реализацией спортивно-оздоровительных и досуговых комплексов, практически стала банкротом. За последние полгода ее затраты в несколько раз превысили доходы по совершенно необъяснимым причинам. Кто и зачем намеренно подводил «АлДан» к банкротству, определить не удавалось.

И тогда Аля вспомнила о своем приятеле по студенческим годам Йозасе. Этот симпатичный литовец удивлял своей необычайной предприимчивостью и талантом финансиста даже видавших виды университетских преподавателей. Он первым из однокурсников организовал на родине крупную фирму

и к настоящему времени числился в тамошних олигархах. Алю связывала с Йозасом не только студенческая дружба, но и некогда более тесные отношения, к обоюдному сожалению, закончившиеся на стадии робких поцелуев.

Тогда неопытную и наивную Алю с успехом, но, — как оказалось впоследствии, — ненадолго, заменила яркая большегрудая блондинка-первокурсница, усмотревшая в привлекательном прибалте потенциального кандидата в супруги. В результате Йозас приобрел первый сексуальный опыт, а Аля полностью разочаровалась в мужчинах на целые пятнадцать лет. Ее патриархальная, как шутили подруги, девичья гордость в тот раз сыграла на пользу хозяйки: Аля сумела сохранить дружеские отношения с Йозасом, чем пользовалась время от времени и по сей день.

И на этот раз приятель пришел на помощь по первому зову. Прилетев из Вильнюса на три дня, он сумел не только морально поддержать подругу, но и привез группу опытных аудиторов-международников.

— Ребята поработают тут пару месяцев, разберутся. Матвеич твой любимый обещал им во всем оказывать содействие. А ты лучше займись тем, что у тебя пока еще осталось, — посоветовал он напоследок. — В твоем окружении завелся НЕКТО, всеми силами пытающийся подкрепиться за твой счет. Так что позаботься о своих счетах, недвижимости и прочих ценностях. И о себе не забудь. Пару недель хорошего отдыха в таком случае пойдут только на пользу. Нечего болтаться под ногами.

И действительно, пользы от Али в данной ситуации не было никакой. Все, что она могла сделать, было уже сделано. Деньги на счетах (Аля время от времени втайне от ревнивого в деловом отношении Димки поигрывала на бирже, и не без успеха, что позволило ей иметь самостоятельный и неизвестный мужу капиталец, который она намеревалась потратить на расширение производства) надежно защищены от всевозможных неожиданностей. Люди из потерпевшей крах фирмы более-менее пристроены. Димка с позором выдворен из дома — несмотря на то, что расследование не дало еще никаких конкретных результатов, Аля была твердо уверена в причастности мужа к банкротству ее филиала (его-то предприятие оказалось вовремя отделенным от основной фирмы и благополучно здравствующим!). Документы на развод подготовлены. Все точки над «i» расставлены. На все про все ушел почти месяц. Осталось разобраться с Денискою.

Стоп! А ведь началось все именно с Дениса! И как Аля могла об этом забыть!

Тревожные раздумья были прерваны ненавязчивым вмешательством извне. Нет-нет, наиделикатнейший возница был тут абсолютно ни при чем. Просто пустынная дорога вдруг закончилась, уступив место деревенскому проселку с уснувшими светлыми домиками по обе стороны, с взволнованным лаем собак, с ароматом яблок и свежей соломы.

— Ваши «Черемуховые зори» разве в деревне находятся? — с неприкрытым разочарованием в голосе спросила Аля Ионыча — в рекламном буклете, с трудом отысканном в одной из турфирм, предлагалось совершенно иное, а именно привлекшие измученную событиями двух месяцев лета Алю уединенность и покой.

— Ни боже мой, уважаемая Алевтина…

— Да бросьте вы церемонии! Али будет вполне достаточно.

— Постараюсь проникнуться. А наши «зори» отсюда километров через пять будут. Там лес кругом, озерцо с речкой и хутор Еленкин. Вы не подумайте, Алевти… простите, Аля, у нас все без обмана.

— Что, и тайна на самом деле имеется? — на этот раз в голосе капризной клиентки слышался сарказм.

Ионыч поспешил урегулировать и этот пункт недовольства:

— И тайна. Мы клиентов не дурим.

— И что же это за тайна?

— Как у людей. Привидение на нашем хуторе обитается. И легенда соответствующая.

Разговорчивый дедок мгновенно ухватился за представившуюся возможность поговорить и принялся освещать суть легенды.

Аля слушала вполуха, еще поглощенная собственными воспоминаниями. Однако талант рассказчика заставил ее отложить «полоскание собственного белья» на более поздние сроки (за оставшиеся полчаса дороги продолжать его уже не имело смысла), и она попыталась вникнуть в подробности хуторской тайны.

Главной героиней предания была по обыкновению юная невинная дева, которая полюбила не того парня и соответственно не в то время (и, как совершенно самостоятельно догадалась Аля, не в том месте), за сиим опрометчивым поступком последовало недовольство богатых родителей возлюбленного, традиционная череда преград, каверз и гонений. И когда, наконец, дело подошло к логическому концу и молодой человек, не вынесши несправедливостей жизни, утопился в местном озерце (нежное, надо полагать, было создание), девица, прихватив с собой многочисленные ценные подарки и прочие дорогие сердцу вещи, исчезла из отчего дома навсегда.

— Поговаривали, что позже видели в озерце рыбаки и охотники ту самую шаль (какую именно, Аля прослушала), плавающую на поверхности. Видимо, отправилась Алеся (ну, а как же еще могла называться невинная белорусская девушка из легенды?) к своему любимому в мир иной.

А по весне на приозерной черемухе стали появляться шелковые кисточки с той самой шали. А еще по ночам наши рыбаки и охотники, поджидающие свою добычу на прибрежных заседках и в шалашах, слышат девичий то ли смех, то ли плач. И уже ни рыба не клюет, ни дичь не слетается — весь день коту под хвост. Мало что ночью от страха натрясутся, так и домой без добычи приходится возвращаться.

— Так отчего же они туда ходят? — удивилась Аля. — Нашли бы себе более спокойное место для охоты и радовались жизни.

— Да в том-то и дело, что ходят. Прямо паломничество развернулось! А все потому, что появилось поверье: кто Алесин плач услышит, обязательно родит себе наследника.

— И что же, много таких наследников в ваших местах появилось?

— Да кто ж считал-то.

— И женщины ходят Алесю послушать?

— Раньше ходили, да только страшно слабому полу в камышах ночь просиживать, вот они муженьков своих и посылают. Наследники, как вы понимаете, в одиночку не делаются. Вот только в последнее время слишком уж разбушевалась наша панночка. То лодку подтопит, то из висящего на ветке ружья пальнет. Так что желающих получить ее благословение слегка поубавилось.

— Надоели, наверное, ей все эти дармоеды, — улыбнулась Аля, отметив для памяти, что нужно навестить Алесю хоть разок. Во-первых, интересно, несмотря на доводы рассудка и неверие во всякие-разные привидения, а во-вторых, насчет наследника — чем черт не шутит.

За разговором она не заметила, как деревня осталась позади, как переехала повозка скрипучий лесной мостик через реку с поэтическим названием Черемуха.

— Ну, вот мы и на месте, — оживился Ионыч. — Вон хозяйка нас встречает.

Аля всмотрелась в темноту ночи и увидела неподалеку дрожащий огонек фонаря. В его тусклом свете постепенно стали проявляться расплывчатые очертания плетня с выглядывающими из-за него головками высоченных подсолнухов, ворот, толстенных березовых стволов. Затем из темноты явилась фигура хозяйки в домотканой полосатой юбке, расшитом жилете и цветастом платке, лихо повязанном на высокой прическе.

Хозяйка живо напоминала Солоху из старого фильма про черевички. И хотя на вид ей было примерно столько же лет, что и самой Але, хотелось называть ее не иначе как тетушкой Аленой.

Встреча была по-деловому спокойной и сдержанной, что Але очень понравилось — не хотелось любезничать или смущаться от вынужденных комплиментов посреди ночи. Хозяйка отнесла ее вещи наверх, предложив гостье вымыть руки и попить чаю.

— Вы посидите тут с Ионычем, а я пока вам душ подогрею, остыл уж, пока вас привезли.

На заслуживающем обязательного внимания огромном деревянном столе было расставлено множество разнокалиберных тарелочек, блюдечек, розеток и вазочек. В центре торжественно парил цветастый чайник водоизмещением не менее ведра. За ним сытостью и довольством светилось разрумяненное лицо Ионыча. Тот смачно прихлебывал чай из блюдечка, хрустел густо посыпанными маком сушками:

— Наша Алена — хозяйка хлебосольная и умелая. Постояльцы поправляются как на дрожжах. Так что сама не заметишь, как похорошеешь на местных деликатесах.

Но Але и кусок в горло не лез. Хотелось поскорей оказаться в постели — как-то разом навалились усталость и апатия. И снова она, уже в который раз, пожалела, что решилась на эту почти провокационную поездку.

«Досиживала бы свое неудачное лето в привычных домашних условиях. Сходили бы с девчонками в сауну, потом в Аква-центр, да и в театре сто лет не были», — мысли понемногу начали путаться, глаза слипаться.

И Аля уже толком не помнила, как наспех сполоснулась в душе, разыскала в недрах дорожной сумки пижаму и не заметила, как заснула.

Разбудила ее тишина. Аля открыла глаза и ничего не увидела. Вокруг вообще ничего не было: ни света, ни звуков. Если бы не запахи, Аля бы подумала, что умерла. Кромешная тьма, казалось, поглотила не только предметы вокруг, но и звуки. Лишь острый запах свежести, перемешанный со сложным букетом неподдающихся анализу природных ароматов, доказывал реальность бытия. Аля немного поворочалась на новом (кстати, весьма удобном — не иначе как чудеса ортопедо-матрацного искусства достигли и этих мест) ложе, стараясь привыкнуть к темноте. Однако тьма по-прежнему была непроглядной. Закрытие глаз и подсчет мелкого рогатого скота вперемежку с крупным и не рогатым привели к единственному открытию: заснуть больше не удавалось.

Пришлось вернуться к прерванному приездом и размещением раздумью об оставленных в городе проблемах.

Именно Дениска, теперь Аля это хорошо понимала, стал камнем преткновения в их семейной идиллии.

У них с Димой дети все никак не получались. Врачи только разводили руками:

— Тут такой случай. Не знаешь, кого лечить. Не часто в браках сразу оба супруга попадаются бесплодными. Хотя надеяться всегда следует.

И Аля надеялась. И даже время от времени лечилась. А Димка только отмахивался:

— Нам и без детей неплохо живется. Ну, хочешь, я буду тебе сыночком? Ласковым-ласковым, послушным-послушным? Или давай собаку купим? Или кошку?

— Да при нашем образе жизни эти собаки и кошки сдохнут от тоски!

— А ребенок тем более. И давай не будем…

Но Аля очень хотела ребенка. И однажды отправилась в детский дом «присмотреть что-нибудь подходящее». Так она говорила самой себе для храбрости. А на деле с замиранием сердца подходила к спрятавшемуся в зарослях сирени зданию. Остатки мужества покинули ее в коридоре, куда они с заведующей вышли после длительной и непростой беседы.

Десятки детских глаз самых разных цветов и взглядов остановили ее на выходе. Взгляды изучали, удивлялись, оценивали, надеялись. И только в одном из них Аля прочла радость и восхищение. Так она впервые увидела своего Дениску.

С тех пор она каждую неделю приходила в гости к малышу. Приносила игрушки, гостинцы. Четырехлетний мальчик был самым маленьким в детском доме, куда попал совсем недавно, и искренне верил в то, что скоро за ним приедет мама. И Аля очень хотела поскорее забрать Дениску. Вот только Дима был категорически против:

— Да из него через год-другой вся чудовищная наследственность, знаешь, как попрет? Потом вовек не отмоешься! Даже и думать не смей! Или он — или я!

Как ни странно, в последнее время эти чаши весов в Алином сознании находились в равновесии. И выбрать кого-либо одного она пока не решалась, надеясь со временем уломать супруга и усыновить Дениску. И, вероятно, Димка это почувствовал. И начал готовить базу для отступления. Для этого ему понадобилась Инга.

И все-таки, вся эта виртуозно спланированная и проведенная операция была слишком хороша для недалекого в бизнесе Димки. Да и Инга не смогла бы придумать самостоятельно столько запутанных и оригинальных ходов. Вероятно, за ними стоял кто-то более серьезный. Многократный перебор своих сотрудников, проведенный Алей еще в начале лета, не дал никаких конкретных результатов. Не слишком подходили на роль отважных и хитроумных хакеров ни ее щеголи заместители, ни вертихвостки бухгалтерши, ни спецы по операциям. Никто в отдельности. Но если взять весь этот змеюшник (до чего я докатилась — любимое детище так обозвать! — но ведь может быть, может, может!!!), то…

И все-таки Аля еще надеялась на существование кого-то совершенно постороннего, к которому не была ничем привязана. Быть может, завелся этот вредитель в среде ее «кровожадных» конкурентов и решил таким образом достигнуть максимального благополучия (надо бы предупредить своего несостоявшегося партнера Женьку, что следующей жертвой может стать он).

Отодвинув поток безрезультатных умозаключений в глубины сознания, Аля припомнила себе июльские страдания, вызванные уже совершенно другими причинами.

Отойдя от дел, Аля решила заняться собой. Шок от предательства и потери самого любимого в ее жизни детища — «АлДана» сменился жесточайшей депрессией. Чего только она не предпринимала, чтобы прийти в себя. Были использованы три десятка абсолютно эффективных способов, начиная от массажа и долговременных гидропроцедур и заканчивая дачными посидел-

ками с дорогими сердцу подругами (Аля сбежала уже на следующее утро) и скоропостижным перелетом в Крым (откуда она возвратилась следующим же рейсом).

Затем последовали три дня метаний по многолюдным столичным улицам, где в часы пик можно было потерять даже саму себя. Но не получилось. Все осталось на месте, глубоко в душе. Каждую минуту, каждый миг было так больно и так горько, что Аля начала всерьез опасаться суицида.

Следовало в срочном порядке предпринять что-нибудь более действенное. И тут ей вспомнились советы неизвестного попутчика, битый час донимавшего ее во время злополучного возвращения с Канарских островов:

— Вы только попробуйте — и навек прикипите сердцем к этой маленькой белорусской жемчужинке. Помяните мое слово. И в горе и в радости там можно обрести счастье. Тишина, безлюдье, чудесная природа. Так хорошо может быть лишь на Родине…

Отчаявшись найти панацею от всех своих бед, она решила: была не была! — и взяла билет на первый попавшийся автобус.

— Ну что ж, получила то, что хотела. Теперь буду терпеть до конца — уж очень хочется посмотреть, какие такие пакости приготовила мне судьба в этой чертовой беспросветной мгле. Видимо, это лето целиком послано в наказание за мои грехи. Какие именно, припомнить сложно, но… Как говорится, был бы человек, а…

В беспросветной тьме, тем временем, наметились легкие намеки на рассвет, и скоро все вокруг словно ожило: с удвоенной мощью застрекотали в траве сверчки (а может, и не сверчки, но застрекотали не слабо), зазвенели комары, запиликала неизвестная птаха. Ощущение нереальности и полнейшего одиночества растворилось без следа. Аля немного послушала предрассветную какофонию и провалилась в глубокий сон.

Комната была до краев наполнена солнцем. Ослепительно яркое, беспардонное и вызывающе настойчивое — оно было везде. От него просто невозможно было укрыться: солнце проникало сквозь закрытые веки, сквозь толщу одеял, волновало, требовало к себе внимания и побуждало к действиям. Аля резво откинула одеяло, опустила ноги на пол и от неожиданности снова подняла их на постель: пол в тени кровати оказался обжигающе холодным.

— Да ведь август на дворе — ночи холодные — нашла чему удивляться, дурочка, — сказала она себе и снова коснулась босыми ногами пола.

На этот раз ожидаемая прохлада была приятной, а поверхность пола — невыразимо гладкой и притягательной. Аля поднялась и направилась к солнцу, нетерпеливо зовущему ее откуда-то слева. Внезапно она недоуменно остановилась: теперь ее ногам было тепло, даже слишком тепло. Женщина опустила глаза: на гладкокрашеном дощатом полу, доски которого были необычно широкими, ярко светилась солнечная дорожка. Она вела прямо к открытой двери, за которой простирался океан зелени и ослепительного света.

Дверь в паре с солнечной дорожкой вела на балкон, а дальше… Видавшая виды Аля застыла в немом восхищении.

Балкон напоминал огромную веранду. Он целиком и полностью был изготовлен из покрытых бесцветным лаком бревен и украшен потрясающе красивой и тонкой резьбой. Доски, бегущие по перилам, карнизам, оконным рамам, напоминали кружево и тепло светились на солнце. А дальше являлась взору янтарная в солнечных лучах лестница, уходящая вниз, прямо в лес, незаметно и полностью поглощающий ее окончание.

Аля, затаив дыхание, пошла по солнечной дорожке туда, в сочную и бесконечную зелень, позабыв про все, о чем думала и о чем волновалась всю ночь, весь предыдущий день, все лето.

Легкое, но навязчивое покашливание в один миг бесцеремонно извлекло ее из волшебной сказки. Аля обернулась в раздражении, но приготовленные к его выражению слова так и не были высказаны. Слишком безобидным и трогательным оказался их обладатель. У края дорожки, посыпанной речным песком (Аля и не заметила, когда гладкий пол сменился шероховатым песочком), стоял ее вчерашний возница, робко теребя в руках какой-то допотопный картузик:

— Прошу простить меня за столь внезапное появление, но хозяйка просит вас к столу. Там уже к завтраку все готово.

Аля весело рассмеялась:

— К чему такие церемонии, Ионыч? Помнится мне, вчера мы перешли с тобой на «ты». — И, увидев, что вышла из дому в нескромном неглиже, по-детски пискнула и метнулась обратно в свои поднебесные апартаменты: — Прости, Ионыч, я сейчас! Только приму душ и переоденусь!

В столовой собрались уже все немногочисленные постояльцы «Черемуховых зорь». За памятным Але по позднему чаепитию столом чинно восседала немецкая семья из четырех персон и худосочная блеклая (должно быть, вылинявшая на местном беспощадном солнце, решила Аля) девица средних лет.

Комментарии Ионыча, доходившие до Али исключительно шепотом, а также ненавязчивое наблюдение за сидящими в ожидании завтрака гостями позволило определить следующее: глава симпатичного рыже-конопатого семейства, герр Дитрих, был знаменитым в своей стране хирургом, что не мешало ему быть к тому же низкорослым толстячком с трогательной лысинкой на макушке и куцей реденькой бородкой.

— Вероятно, для герра Дитриха в клиниках ставят подставки к операционному столу, — закопошилась в Але обычная женская змеиная сущность. — А может, даже заказывают столы пониже.

Его супруга, фрау Линда, вполне соответствовала знаменитому мужу по комплекции: еще меньшего роста и еще большей толщины, она напоминала овал, находящийся в горизонтальном положении, и находилась в очередном интересном положении на подходе к его разрешению.

Молодая поросль семейства Штайн пока не достигла родительской конституции отчасти вследствие возраста — мальчикам было лет по пять-семь, отчасти из-за чрезмерной подвижности, но всеми силами старалась достичь эталона в ближайшем будущем, уничтожая предлагаемые хозяйкой блюда в огромных объемах и с завидным аппетитом. Рыжие кудряшки уплетающих за обе щеки изыски белорусской национальной кухни пацанят тряслись от усердия, уши двигались в такт с челюстями, даже курносые веснушчатые носы включились в важнейший жизненный процесс с завидным усердием.

Комментарии Ионыча добавили к визуальной информации не слишком много. Семейство обосновалось неподалеку, в крошечном флигельке, построенном в саду. Они ограничивали свой отдых шестью принятиями пищи в день и тихим отдыхом в гамаках после этого самого принятия. Конечно, гамаки были прерогативой родителей. Хайнс и Мартин в перерывах между поглощением драников, сырников, вареников, борщей, затирок и прочих кулинарных шедевров хозяйки сломя голову носились по усадьбе, наводя ужас на местных жителей. Куры и гуси, коты, собаки и даже коровы старались не попадаться

на глаза юным потомкам воинственных готов, крушащих на своем пути все что можно и чего нельзя.

К счастью, земельное пространство усадьбы было достаточно велико, чтобы остальные отдыхающие могли найти уединенный уголок для собственных затей и услад.

Худосочная бледность пятой постоялицы была вызвана поэзией. Девицу звали Юлианой, о чем, как справедливо предположило не утихающее Алино змейство, ее родители могли и не догадываться. Юлиана в свои тридцать пять оказалась начинающей поэтессой, пытающейся в сем благословенном уединении создать великие поэтические шедевры.

— Она вам тоже не помешает, — успокоил Алю Ионыч. — Целыми днями витает в облаках в прямом и переносном смысле. Облюбовала холм у болотца, там и пребывает дотемна. Даже еду с собой берет на целый день.

— А чем намереваетесь заняться вы, Алевтина Даниловна? — подала голос вошедшая с дымящимся блюдом хозяйка. — Может быть, вам необходима помощь в выборе занятий? С утра можно отправиться на пасеку или в лес за грибами…

— Нет, нет, — поспешно вмешалась Аля в перечень сельских удовольствий, заметив, что соседи по столу не слишком обрадовались переключению внимания хозяйки на «новенькую». — Для начала я попробую изучить территорию усадьбы. Я, знаете ли, любительница природы и хотела бы найти здесь нечто для души.

— Тогда можете захватить с собой Ираклия Ионыча, — хозяйка принялась раскладывать по тарелкам блины, чем весьма порадовала даже Юлиану, немцы вообще засветились от счастья, переключив свое сознание на выбор дополнений к основному блюду. — С утра он мне не понадобится, а сориентироваться на местности поможет. Хотя здесь заблудиться трудновато: с одной стороны озеро, с другой — река, за лесом — железная дорога, но километров десять накрутить очень даже можно.

— Еще раз поподробней насчет границ и ориентиров — и на сегодня ты свободен, — обрадовала Аля старика, когда с завтраком было покончено.

Случилось это не так быстро, как хотелось, но не попробовать всех соблазнов Алениной кухни было просто невозможно. Во-первых, хозяйка умела прекрасно уговаривать, а во-вторых, она не менее прекрасно умела готовить. Все эти блинчики, омлетики и творожки со всевозможными начинками и приправами создавали реальную угрозу всем отдыхающим в короткие сроки достичь параметров герра Дитриха. А в-третьих, Аля очень соскучилась по домашней еде. В рабочие дни они с Димкой (и чем сейчас занимается этот гад? — чтоб ему пусто было!) питались по кафешкам, где еда была вполне сносной, но как бы искусственной.

В общем, на завтрак ушли добрых три четверти часа, о чем Аля нисколько не жалела.

Ионыч вмиг поскучнел, что навевало подозрения по поводу его далеко идущих планов совместного времяпрепровождения. Аля поспешила смягчить приговор:

— Я очень хочу просто так прогуляться по вашим удивительным красотам. А вот назавтра попрошу уделить мне более пристальное внимание, — и прошептала старику на ухо: — Я хочу поехать с тобой на ночную рыбалку.

Дедок тут же утешился, сменив поволоку печали в глазах на лукавых бесенят, прямо-таки выпрыгивающих из-под ресниц:

— Алесю захотела проведать? А не боишься?

— С тобой, Ионыч, хоть на край света!

Ориентируясь по солнцу, как было рекомендовано стариком, Аля исследовала близлежащий участок леса. Не то чтобы ей очень хотелось отправиться по грибы, которые она не собирала лет этак десять, просто лес как-то сразу поманил и заманил в свою прохладу и свежесть. Приятно было ощущать забытые с детства запахи прелой хвои, можжевельника, прогретой на солнце сосновой коры, мягкость моха под ногами, слушать тенькание невидимых птиц, стрекотание насекомых, далекие звуки деревни. Душевная боль вдруг отошла на дальний план, оставив после себя лишь горечь и чувство невозвратимой потери. Явление было хотя и временное, но на редкость приятное после ослепляющей обиды, ярости и последующего за ними опустошительного безразличия к себе.

В этом новом, совершенно незнакомом и удивительно чистом мире Аля чувствовала себя живой.

А потом стали попадаться лисички. Сначала по одной, затем все чаще. А дальше в действие вступил забытый азарт охотника. Аля присматривалась, приседала, заглядывала под опущенные до самой земли ветки кустарника, осторожно раздвигала траву и кучки сосновых иголок. В голове было полно приятных мыслей, начали проклевываться робкие мечты, заботы и опасения отошли на дальний план. Не хотелось ничего вспоминать, печалиться, строить планы. Хотелось жить, чувствовать, слушать, вдыхать, искать в траве грибы, плести венки, петь песни, кружиться на мягком мху…

Солнце было уже над головой, когда в кармане затренькал телефон. Слышимость была на удивление прекрасной.

— Алевтина Даниловна! — Аля узнала голос Витаутаса, одного из сотрудников Йозаса, занимающегося ее делами. — Все более-менее прояснилось. Вам Евгений Табаров знаком?

И в этот миг лес со всеми его радостями потерял вдруг свою власть над женщиной, краски поблекли, звуки утратили свою недавнюю прелесть. Милый мальчик Женя, которого она собиралась сделать своим партнером, оказался зубастым и жадным до прибыли воротилой. Все началось именно с того момента, когда Аля *посмела* предложить будущему олигарху партнерство и объединение.

Предложение какой-то получокнутой (другие, по мнению «милого мальчика», самостоятельно бизнесом не занимались) бабы не то что возмутило, оно оскорбило его достоинство. Ему, в недалеком будущем вершителю мировой экономики, стать младшим партнером какой-то дышащей на ладан фирмушки!

И мальчик попытался найти способ достойного наказания зарвавшейся бабенки, возомнившей о себе невесть что. И нашел.

Следующая новость добила Алю окончательно. Мальчишка нашел слабое звено в непробиваемой броне Матвеича и склонил старика на свою сторону!

— Мы постараемся разобраться во всех хитросплетениях этих коварных планов, — обещал, ставший вдруг почти неслышимым, Витаутас. — Но со стариком дело получилось весьма нехорошее. Там замешана какая-то девочка, кажется, внучка. В настоящее время эта девочка убыла куда-то в Азию с очередным поклонником, поэтому поговорить с ней не удалось. «Так тебе и надо, старый дурак! Вместо того чтобы прийти ко мне и вместе разобраться в девчоночьих проблемах, он, видите ли, занялся самодеятельностью, плавно перешедшей в предательство. Да он сам себе никогда в жизни этого не простит!» К сожалению, на возвращение всех похищенных средств рассчитывать не приходится — с доказательствами туго, но сыграть на общественном мнении можно. И потом…

Витаутас еще что-то втолковывал Але, но зря. Она узнала все, что было ей нужно. Счастья эти новости ей не принесли, а вот боли добавили. Все опять вернулось на круги своя: весь ее гнев, боль, ярость и ненависть к себе, позволившей свершиться этим ужасным событиям.

Ноги несли женщину в неведомые дали «Черемуховых зорь», а мысли били не в бровь и даже не в глаз, а в самое сердце. Итак, верный и несгибаемый Матвеич тоже предал дочь своего единственного друга. Что-то там получилось нехорошее с девочкой, вероятно, с внучкой мудрого бухгалтера, наивной Валечкой. Тут уж симпатяга Женька оттянулся по полной! Но и Матвеич хорош! Не мог просто прийти и сказать: так, мол, и так, нужна твоя помощь. Вдвоем они бы нашли управу на зарвавшегося сопляка!

Вместо этого он подставляет Ингу, а заодно и Димку.

Мысли о неверном муже несколько ослабили боль в душе — боль от потери «АлДана» казалась теперь гораздо ощутимей. Оказывается, порой ревность и злость бывают полезны. Аля с чувством, отдаленно напоминающим удовольствие, утвердилась в мысли, что Димка не способен на столь тонкий план. Они с Ингой лишь попробовали заварить кашу, переведя на «левые» счета кое-какие деньги от выручки продукции Алиной фирмы. Эти деньги бравые ищейки Йозаса уже нашли.

А дальше в ход пошла тяжелая артиллерия. Женечка не зря учился премудростям бизнеса в Англии (именно этот факт и привлек Алю к его особе — понадеялась, лохушка, на оригинальные прожекты). Видимо, не только азам экономики учат за кордоном будущих олигархов. А тут и Матвеич под руку подвернулся.

Але было больно и горько. Оставалось только орать с применением ненормативной лексики и выть, закусив зубами ладошку.

А вокруг простирались ослепительно зеленые просторы, небесная чистота и позабытое за земными проблемами щедрое августовское солнце. Все это по-прежнему манило, завораживало, подчиняло собственному величию и покою. И Аля подчинилась. Уставившись в некую точку этого бесконечного великолепия, она ощущала, как чувственный ураган, свернувшись в плотную воронку, уносится в неведомые душевные дали, уступая место отстраненному безразличию, а затем наступает черед опустошительного и великолепного в своей невозмутимости спокойствия.

Солнце постепенно опускалось за кромку лесной дали, становилось прохладнее, обострялись запахи и звуки. Аля пришла в себя. Посмотрев на часы, она с удивлением обнаружила, что любуется всей этой красотой не менее трех часов. Вот только любование происходило само по себе, без сознательного участия самой любующейся стороны. Глаза смотрели и не видели, уши слушали и не слышали. Все остальные органы чувств добросовестно исполняли свою работу параллельно с сознанием хозяйки. И случилось чудо!

Нет, захватывающих подробностей Аля не запомнила, а возможно, даже не заметила. Зато в душе ее снова поселился мир и покой, а все экономические, финансовые и подлочеловеческие катаклизмы отошли в мир иной. Хотелось верить, что ушли они туда окончательно и бесповоротно или хотя бы на несколько часов.

С холма чудесным образом просматривались и речка, и выглядывающая из зарослей черемухи деревня, и дальний берег озера. Даже «Черемуховые зори» определялись по высоким шапкам старинных лип, окружающих усадьбу. Причудливое чередование ярких и спокойных тонов, равнин и пригорков, блеска воды и загадочных лесных теней создавало удивительную гармонию, наслаждаться которой хотелось бесконечно, словно родниковой водой в жар-

кий полдень. Наступив на горло собственным желаниям, Аля, тем не менее, нашла в себе силы покинуть этот удивительный уголок.

— Опоздание к ужину мне уже никто не простит, — объясняла она сама себе, спускаясь по извилистой тропинке.

На одном из живописных уступов она обнаружила совершенно поникшую и еще более блеклую, нежели утром, Юлиану. Очевидно, поэтесса облюбовала именно этот холм для создания своих нетленных произведений. С минуту помаявшись между желанием приободрить товарища по отдыху и нежеланием его (то есть, ее) беспокоить, Аля исподтишка рассматривала девушку.

«Не такая уж страшненькая, — она старалась доказать себе самой несправедливость первоначальной оценки женских прелестей девицы. — А если ее немножко подкрасить, постричь, приодеть…»

— Юлечка, я так рада, что вас встретила! А то возвращаться домой одной совсем не хочется! Пойдемте ужинать!

Девица бросила на неожиданно появившуюся возмутительницу ее поэтического спокойствия кисло-скучный взгляд:

— Меня зовут Юлиана. Прошу не сокращать! К тому же, я никогда не ужинаю. Идите одна, я еще немного здесь побуду. С закатом на ум приходят чудесные строки.

И она уткнулась в свой блокнот, а Аля подумала, что первые впечатления о человеке зачастую оказываются самыми верными: «Эта худосочная красотка внутри еще бледнее, чем на поверхности. Не стоит портить косметику и разрушать подобную гармонию. Пусть поэзия примет это создание в дар, все равно больше никто на него (то есть, на нее) не позарится».

Ночные бдения прошли при участии луны и Алеси. Первая участвовала в процессе явно, вторая — в представлении Али:

— Вот поедем завтра с Ионычем на рыбалку. Ночью я найду Алесю и попрошу у нее доченьку или сыночка, хотя лучше девочку — Дениска у меня уже есть. И абсолютно все равно, кто у меня будет — лишь бы был. А люди зря болтать не будут. В каждой выдумке есть доля правды. Вот попрошу у Алеси ребенка и сразу начну работать над проблемой. Эх, Димка, и почему у нас все так получилось? — Аля почувствовала поднимающуюся из глубины души горечь и поспешила затолкнуть обратно ненароком выплывшие воспоминания. — Итак, на чем я остановилась? На проблеме детотворения. Вот только с кем тут над ней работать? С бывшим дьячком, пристрастившимся к выпивке? Не дай бог! Может, Дитриха соблазнить? — от этой мысли Аля даже рассмеялась. — Дитриха можно соблазнить лишь очередной порцией Алениных котлет. И потом, что за овальчики у меня тогда родятся?

Аля захохотала в голос, представив воочию продукт совместного с пухленьким немцем творения. Затем, спохватившись, что перебудит весь дом, поспешила перевести мысли на более подходящие кандидатуры. В ближайшем окружении таковых найдено не было, потому она решила остановиться на Йозасе. В этом выборе нашлись свои плюсы и минусы.

— Ладно, по сусекам похожу, по амбарам поскребу, познакомлюсь с местными мужиками, авось что и найдется подходящее. А нет — придется терпеть до дома. А как бы было хорошо, в густой траве, под яблонькой…

Утром ее разбудил дождь.

— Пропала рыбалка, — огорченно подумала Аля, направляясь в душ. — Теперь зарядит на неделю, от скуки с ума сойдешь.

Завтрак прошел почти в интимной обстановке: семейство Штайнов с утра укатило осматривать достопримечательности аграрного комплекса, располо-

женного неподалеку, а Юлиана попросила подать кофе в свои апартаменты. Вкушать Аленины соблазны оставалось лишь Але и озабоченному природными капризами Ионычу.

— А ведь я совсем было собрался, — делился старик в перерывах между пережевыванием очередного драника. — Даже спальники раздобыл. И Дружка сумел у кузнеца на два дня выпросить.

— Дружок — надо полагать — собака?

— Не собака — профессор собачьих наук!

— И зачем же на рыбалке может понадобиться профессор? Ладно уж охота…

— Э, милая! — перешел собеседник на привычные песнопения. — Давненько вы по ночам в лесах не прогуливались! Там и волки попадаются, и …

— Неужели, и медведи водятся?

— Ни боже мой, — поспешил охладить ее пыл Ионыч. — Я о другом. Народ тут по ночам разный шастает.

— Вы же говорили…

— Да не к Алесе они наведываются. Этим романтикам ее чудеса до лампочки. У нас тут…

Ионыч выдал очередную байку из своих нескончаемых запасов. Оказывается, в этих местах отступающие части наполеоновской армии набрели на нетронутое ими же при наступлении богатое поместье. Проведя два дня в теплом и уютном доме, они отблагодарили хозяина весьма своеобразно: дом сожгли, а наиболее ценные вещи прихватили с собой, оставив испуганную до полусмерти семью помещика в целости и сохранности радоваться жизни в уцелевшей от нашествия конюшне. Оставили себе на беду: не успели бравые вояки отойти от дымящихся остатков усадьбы на пять километров, на их пути возник отряд местных крестьян. Через несколько минут от французов остались лишь воспоминания да большой пролом в ледяной корке озера. Ценностей, вывезенных из поместья, на месте боя обнаружить не удалось. Местные жители с тех пор пытаются найти заветные сундуки, не гнушаясь и более мелкой добычей.

— Наши скептики считают, что Алесю придумали для отпугивания этих кладоискателей. Но большинство сельчан верят в ее целительные способности.

«Верить как-то приятнее», — подумала Аля про себя, а вслух добавила:

— Блажен, кто верует.

— Воистину.

— И что же, теперь по вашим лесам еще и ограбленное наполеоновскими войсками семейство шастает? Умереть — не встать!

— Пока одна Алеся замечена. Видимо, семейство почило мирно. А ты, девица, не слишком святотатствуй по этому поводу. Мало ли что — с нечистой силой шутки плохи.

Неудачно начавшийся день продолжился на кухне, где Алена, пользуясь появившимся по случаю непогоды свободным временем, принялась колдовать над баночками и бутылями. Аля, чувствуя вновь надвигающуюся хандру, вызвалась помогать: кулинарные таланты хозяйки ее заинтересовали, да и делать было особенно нечего. Не возвращаться же в свою светелку и до конца дня снова переживать, размышлять, бередить…

Хозяйка ловко чистила овощи, крошила их в огромный таз, потом заправляла, перемешивала, укладывала в банки, ставила в печь на стерилизацию. Между делом она успевала управлять так кстати появившейся в лице Али помощницей и делиться своими проблемами. А проблем в ее неспокойном хозяйстве хватало.

Нужно было вовремя приводить в порядок большой участок перед домом — косить лужайки, пропалывать клумбы и грядки, красить забор и скамейки. Немалое живое хозяйство — две коровы, куры, утки, гуси, поросята — тоже требовало времени и сил. Хотелось кое-что пристроить, обновить, отремонтировать. Работа по дому отнимала наибольшую часть времени, а еще необходимо было заниматься бухгалтерией, отчетами, закупками.

— К вечеру голова кругом идет, — жаловалась Алена. — А как подумаешь о завтрашнем дне — страшно становится: вдруг чего-то не успеешь, сделаешь не так. Ведь хочется, чтобы людям здесь понравилось.

— Да все у вас прекрасно. Только удивляешься, как вы все успеваете, — успокаивала хозяйку Аля, думая о том, как бы сама управлялась с эдаким огромным хозяйством.

— У меня есть помощники. Ионыч многое успевает, а соседка за скотиной ухаживает. Вот немного поднакоплю деньжат, найму в горничные племянницу. А там, если все пойдет по плану, очередь за братом — мужских рук мне ой как не хватает.

Аля кивала, слушала с интересом и тут же примеряла ситуацию к себе:

«Я бы построила еще один флигелек у реки, так, чтобы из дома можно было спуститься прямо к воде. И маленький бассейн с гидромассажем — чтобы в зимний период гости не скучали. А в саду большую беседку с круглым столом, очагом и прочими наворотами. И лошадку вторую с расписным тарантасиком, и… Оставшихся денег должно на первое время хватить. Потом сделаем хорошую рекламу…»

После обеда Аля с удовольствием составила хозяйке компанию в очередном увлекательном, на ее взгляд, деле. Они перебрались на чердак, оказавшийся таким же светлым и просторным, как и все комнаты в этом гостеприимном доме.

Алена занялась скопившимися за лето травами:

— На целый год хватит. И в баньку сходить, и чайку заварить, и настойку приправить. Тут у меня и мята, и чабрец, и липа. А здесь…

Ее помощница витала в облаках запахов и звуков, которые одновременно возбуждали и успокаивали. Оказывается, и такое бывает. Слова хозяйки тонули в шорохе сухих трав, мерном стуке дождевых капель по черепице, шуме листвы за окном, в запахах цветов и сухого дерева, в ширящихся и обретающих реальные очертания мечтах гостьи.

Аля уже дошла в мечтах до можжевелового лабиринта и лодочной станции, когда дождь закончился и в чердачное окошко заглянуло по-давешнему ослепительное солнце.

— Вот и конец отдыху, — улыбнулась хозяйка. — Пора за работу браться.

«Нет, у меня все будет по-другому», — решила Аля и спросила:

— А насчет расширения усадьбы вы не думали? Я бы не прочь стать вашим партнером.

Последнее слово все испортило. Аля снова вспомнила о своем несостоявшемся партнере Женечке и его коварстве. Настроение стремительно менялось. Вновь некстати вспомнился Димка, за ним восставший из праха «АлДан». Аля поспешила перебить опасный синдром, переключив внимание на хозяйку.

— А вы знаете, я бы совсем не прочь поделиться своими заботами. Тут за рекой есть замечательное местечко. Несколько гектаров леса вперемежку с болотом, косогором, даже сад есть старый гектара на два. Для пашни и пастбищ место непригодное, а вот для агротуризма — в самый раз. Так что если есть желание — можем попробовать. Желающих отдохнуть в наших краях хватает.

Настроение снова поползло вверх, Женечка со своими каверзами уже казался нашкодившим карапузом, а крах любимого детища — «двойкой»

в дневнике. Лишь Димка продолжал витать в воздухе почти ощутимо, и ему назло Аля подхватила:

— Вот возьму, все брошу и переберусь в «Черемуховые зори». Хотя… свою усадьбу нужно назвать как-то иначе, чтобы не путали. Может быть, «Алесина заводь»? Или…

Уже перед сном, радуясь удачно прошедшему дню, Аля распределяла «вакансии» своего будущего предприятия: лучшие люди почившего в бозе «АлДана» и самые закадычные подруги назначались на наиболее подходящие их способностям места — уже присмотрены были хорошие экономисты, повара, маркетологи, экскурсоводы, массовики-затейники…

«А на бухгалтерию возьму предателя Матвеича, — с легкостью решила она. — Нечего ему на пенсии прохлаждаться. И платить ему буду по минимуму — теперь он мне будет должен. «Фактор риска» — любимая и единственная внучка — благополучно убыл за пределы государства. К тому же, можно быть абсолютно уверенной — он больше ни на какие коврижки не поддастся. Нельзя же забывать о его десятилетней преданности, преклонном возрасте и полученном уроке. И с чего это я стала такая добрая? — удивлялась она сама себе. — Должно быть, в этих местах воздух особый. То ли еще будет!»

Довольная предстоящей реабилитацией дорогого ей человека и своей непосредственной ролью в этом деле, Аля раскинулась на постели, уставилась в потолок и ощутила себя почти счастливым человеком. Лишь глубоко засевшая боль робко поскребывалась, напоминая о себе, но Аля уже научилась не обращать на нее внимания. Как ни крути, а с этим довеском ей придется жить еще долго.

— Могу себе представить, какая красотища тут в мае творится!

— Уверяю вас, и в десятой степени не можете.

— Мы три дня как перешли на «ты».

— Да бог с ними, с этими обращениями. В мои семьдесят три можно себе позволить капельку склероза.

— Я бы и шестидесяти вам не дала.

— Мы три дня как…

— Ну, Ионыч! Подловил-таки!

Аля снова замолчала и продолжила впитывать в себя невообразимую прелесть пейзажа. Ветки черемух склонялись к самой воде, в заводях царствовали кувшинки и роскошный тростник, сочная зелень разнотравья радовала глаз на прибрежных полянах. В реке отражались белые облака, стволы берез, макушки елей, краснеющие шапки кустарников. Мелькали тучные стрекозы, птицы, даже редкие в конце лета бабочки.

Все обитатели мирного речного государства сливались в гармоничную картину, полную красок, звуков и покоя.

«Какие Канары смогут сравниться с этими заповедными местами? — вдруг сформировалась в Алином сознании четкая мысль. — Разве нарочито пышная зелень и бьющие в глаза краски способны дать отдых израненным предательством и разочарованием нервам? А воздух? Если и существует на этой планете по-настоящему чистый воздух, то только здесь. И звуки… И чувства… И что еще думать? Пора завязывать с суетой города, с грязными экономическими играми, с квартирами-клетками, выходящими в клетки-коридоры, клетки-лифты… Свернуть свои дела — черт с ними, с деньгами, — того, что осталось, вполне хватит на первое время. Возьму только самое необходимое, подружек захвачу и, конечно, Дениску. И поселюсь здесь надолго. А может, и навсегда».

— Просыпайся, голубушка! — разбудил ее ласковый голос Ионыча. — Прибыли. Будем лагерь разбивать.

Аля потянулась, прогоняя остатки сна, и огляделась. Из-за берез проглядывала зеркальная гладь большого озера, слева радовали глаз заросли высокой, в рост человека, травы с белыми верхушками-«зонтиками», за ними темнела хвоя многолетних елей. Справа раскинулась зеленая лужайка с большим кострищем в центре и покрытым лапником шалашом неподалеку.

— Здесь и устроимся, — суетился на берегу Ионыч. — Место проверенное. Здесь и ключик с вкуснейшей водицей имеется, и лес грибной, и пляжик. А главное, клюет здесь хорошо.

Старик ловко развернул палатку, вбил колышки в землю, взглядом пригласил Алю включиться в работу.

— Я думала, мы расположимся в шалаше, — она опасливо посмотрела на темнеющее вдали сооружение.

— Это для случайных прохожих рыбаки построили.

— А что, здесь и такие встречаются?

— Такие везде встречаются, — пожал плечами Ионыч и занялся установкой палатки. Рядом бестолково суетился Дружок, при ближайшем знакомстве оказавшийся симпатичным волкодавом с манерами маленького щенка. Аля старалась сохранять с собакой дистанцию, чтобы не быть в порыве щенячьей нежности вывалянной в грязи и измазанной слюной. Дружок время от времени порывался войти в близкий контакт, но зоркий Ионыч пресекал благие попытки припасенным в неограниченных количествах угощением. За смакованием сахарной косточки или леденца Дружок надолго забывал о своих опасных намерениях, и Аля получала передышку.

Ночная рыбалка оказалась вполне дневной. До заката они успели наловить достаточно рыбы, чтобы приготовить уху. Особого удовольствия от томительного ожидания клева, подсекания, снятия с крючка, очистки и потрошения добычи Аля, мягко говоря, не испытывала.

— Еще ловить сегодня будем? — предупредил ее недовольство Ионыч. — Нет? Ну, тогда займемся ночлегом.

В огромном рюкзаке нашлись два спальных мешка и одеяла. На дно палатки постелили пушистый лапник, а в костер подбросили мокрых поленьев.

— Теперь комары будут от нас нос воротить, — старик потер ладони. — Ну что, милочка, пора на боковую. Завтра на зорьке подъем — самый клев будет.

— А как же Алеся?

Ионыч рассмеялся:

— Так и знал, что не в рыбалке тут весь интерес. Да ты не волнуйся, Алеся сама тебя найдет. Если захочет, конечно.

Похрапывал в темноте Ионыч, тихонько вздыхал во сне развалившийся у входа в палатку Дружок. Только Але никак не удавалось уснуть. Сначала мешали комары, не слишком озабоченные дымом костра, затем вновь разбередил душу проклятый Димка — никак не хотел он отпускать Алю из плена своих недавно еще таких нежных чувств. Пришлось перебить горькие мысли воспоминанием об Алесе. Аля немного помечтала в этом направлении, посчитала слонов и прочую снотворную живность, послушала ночные трели неизвестной птицы, попыталась поворочаться в тесном спальнике.

Осознав абсолютную тщетность традиционных способов борьбы с бессонницей, женщина тихонько выбралась из палатки. Дружок лишь пробурчал ей вдогонку.

Над озером стоял густой туман, скрывающий все с расстояния пяти шагов. Аля подбросила в костер еще несколько поленьев, уселась на лежащее рядом бревно и оглядела поляну. Ночью ее очертания приобрели таинственный и даже тревожный характер. Остроту ощущениям придавали и непонятные звуки, доносящиеся из глубины леса — шорохи, стоны, скрип, странное уханье, похожие на плач завывания лесных обитателей — то ли птиц, то ли животных, то ли деревьев.

— Здесь ночью всегда тревожно, — послышался тихий голос за спиной.

Аля вздрогнула и оглянулась. На дальнем конце бревна, полускрытая туманной дымкой, сидела…

Аля принялась трясти головой, пытаясь уйти от наваждения. Но ничего не получалось: рядом сидела Юлиана. Поникшая и еще более бледная, чем обычно.

— Ты как сюда попала? — Их путь к поляне составил почти три часа, на чем же добиралась сюда Юлиана?

— Я, собственно говоря, живу здесь.

— То есть…

Девушка грустно улыбнулась:

— Ты догадалась. Я действительно Алеся.

— Но как же…

— Не пытайся понять. Это сложно.

Аля вздохнула и отвела взгляд. Как-то не по себе становилось при мысли, что рядом сидит настоящее привидение. Чтобы хоть немного прийти в себя, она решила ограничиться слухом и голосом, а взгляд сосредоточить на чем-то более реальном и безопасном. Для такой цели вполне подходил костер. Аля взяла палку и принялась ворочать дымящиеся головешки.

— Я хочу попросить тебя… — разговор с отвлечением на огонь давался ей немного легче.

— Я знаю. Все за этим приходят. У тебя все получится.

— Вот только с отцом на данный момент есть проблемы. Муж меня «кинул», а поблизости, кроме пузатого немца и бывшего дьяка-алкоголика в почтенном возрасте, нет никого, способного стать отцом моему ребенку…

Алеся (или все-таки Юлиана?) засмеялась. Ее смех походил на звон хрустального колокольчика, звучащий в пустоте. Аля невольно скосила глаза на девушку: та смеялась, прикрыв лицо руками. Вероятно, представила процесс детотворения с участием перечисленных кандидатов на главную роль. Попробовав сделать то же самое, Аля ужаснулась на первых же секундах — лучше уж никак, чем…

— Может, я подберу за пару дней что-нибудь более подходящее? — робко спросила Аля, кляня себя за неразумно быстро организованную встречу.

Алеся продолжала смеяться.

— Так ты мне поможешь? — Аля была близка к величайшему в жизни разочарованию (в кои-то веки поверила в сказку — и на тебе!).

— Помогу, только не сейчас. Твое время еще не пришло.

— И когда же оно придет, мое время?

И снова ответом была тишина. Аля оторвала взгляд от огня и повернула голову в сторону Алеси (или все-таки Юлианы?). Вот только рядом никого не было. И вокруг тоже. Аля сидела на поляне в полном одиночестве. Где-то в глубине леса что-то снова застонало, зачавкало, захихикало, заухало. Остро запахло тиной и сырым мхом. Над озером стоял непроглядный туман. Исчезновение Алеси вернуло запахи и звуки, которые при ее присутствии терялись, — Аля лишь сейчас это заметила.

Побродив по поляне несколько минут, она поняла, что больше не увидит Алесю, и возвратилась в палатку, где беспокойно проспала почти всю ночь. Проснувшись на рассвете, она попыталась припомнить события ночи.

«Было или не было? — вот в чем вопрос. Ионыч с Дружком спят в тех же позициях, что и вечером. Палатка застегнута. Моя обувь сухая и чистая. Что-то не похоже, чтобы я бродила полночи по мокрой траве. Значит, все это безобразие попросту мне приснилось. Но скоро рассвет, а это значит, что я так и не увижусь с Алесей и все мои приготовления и волнения — коту под хвост? — С этими мыслями Аля резво выбралась из спального мешка, затем из палатки (верный страж у выхода только заворчал напоследок) и помчалась к озеру. — Осталось совсем мало времени. Только бы успеть!»

У воды было холодно, туман успел выползти на берег, укрыть тростник и лодку. Аля, поплутав в его лабиринтах, умудрилась оступиться и вымочить ноги до колен. Выбравшись на берег, она углубилась в ельник, пытаясь запомнить дорогу назад по особым приметам: елка с обломанной верхушкой, раздвоенный ствол старой ольхи, семейство мухоморов, огромный пень. Совмещение прогулки с запоминанием примет оказалось делом сложным.

Аля дважды приходила к примеченной по пути старой ольхе, обнаружила с десяток мухоморовых семейств и совсем было отчаялась, как тут между стволами елей замелькало пестрое платье.

— Алеся! — Аля помчалась вперед, не разбирая дороги. — Алеся, подожди!

Внезапно лес оборвался, все пространство вокруг заняло свалившееся с небес (чепуха какая-то, в самом деле, и тем не менее это было именно так!) небо. Аля перестала чувствовать под ногами землю и полетела в небесную синь. Только синь эта оказалась весьма твердой и колючей, и полет проходил не вверх, а вниз. Аля закричала от боли, стараясь ухватиться руками хоть за что-нибудь в этом проклятущем небе.

Небо закружилось, подхватило Алю, а затем настала тьма.

— Алеся! Алеся…

— И далась тебе эта Алеся! Теперь с меня Елена три шкуры спустит. А если уволит. Что я тогда делать стану? Кому я еще нужен?

Аля открыла глаза: рядом на пушистой моховой кочке сидел Ионыч. Кто-то невидимый горячо дышал ей в ухо затем торопливо лизнул Алю в щеку.

— И ты, Дружок, хорош! Тоже мне сторож! Только поесть на дармовщинку мастак!

Пес виновато опустил уши, стараясь стать незаметней и избегнуть праведного гнева своего работодателя.

— Как я тут оказалась? Что со мной? — спросила Аля.

— Как попала — точно не знаю, — переключился с Дружка на потерпевшую Ионыч. — Должно быть, пошла на зорьке Алеську ловить. Я ж тебе говорил, она сама, кого хочет, находит. А потом, видать, зазевалась и полетела с обрыва. Будем надеяться, что дело ограничится легким испугом и ушибами.

— А как ты меня нашел?

— Дружок подсобил…

В лагере все оставалось на своих местах: дымились угольки в кострище, на солнышке блестела от росы поверхность палатки, качалась на волнах привязанная за ствол ольхи лодка, а рядом с костром все так же лежало бревно. И ничто не указывало на ночной разговор, а может, и не было никакого разговора… Аля присела на краешек бревна и задумалась.

Ионыч вручил ей кружку кофе и кусок творожного пирога. Аля рассеяно откусила кусочек ароматного угощения, отхлебнула кофе. Вдруг внимание ее привлек солнечный зайчик, весело заплескавшийся в кружке. Она перевела взгляд на дальний конец бревна, откуда появился этот неожиданный гость. На том самом месте, где в ее сне сидела Алеся, что-то отчаянно переливалось в лучах утреннего солнышка.

Этим «что-то» оказалась маленькая серебряная сережка с белым камешком и причудливым завитком, за который зацепилась шелковая красная кисточка.

«Алеся! — радостно забилось в Алином сердце. — Значит, эта встреча состоялась на самом деле. Значит…»

— Ионыч! Собирай вещи! Пора домой! — Оставалось припомнить, плакала Алеся или только смеялась.

Остальные пять дней своего пребывания в «Черемуховых зорях» Аля летала, словно на крыльях. Собирая ли яблоки в саду, любуясь ли очередным закатом с полюбившегося кургана, работая ли с Ионычем на пасеке, перебирая грибы, парясь в баньке, купаясь в озере, Аля не расставалась с приподнятым настроением, радовалась каждой малости и ощущала в сердце разрастающееся неуемное счастье. Даже мелькающие в памяти мысли о недавних терзаниях и потерях почти потеряли власть над ней. Их горечью Аля теперь управляла успешнее, чем неделю назад. Она чувствовала, что в конце концов научится с этим жить, ведь забыть совсем у нее не получится. Но все чаще хотелось петь, кружиться в вихре танца, тормошить собак и кошек, скользить по гладким перилам своей чудесной лестницы, вызывать на разговор затворницу Юлиану (или все-таки Алесю?)…

Аля разрывалась между желанием остаться в «Зорях» подольше или поспешить в город, уладить поскорее остатки своих дел, забрать подруг и Дениску. Тридцать первый способ исцеления оказался самым эффективным. Хотелось поскорей научиться жалеть, понимать, а быть может, даже простить бестолкового Димку. Хотелось порадовать своим предложением страдальца Матвеича… Хотелось найти хорошего архитектора, заказать проект усадьбы… Хотелось подыскать подходящих работников для нового бизнеса… Хотелось поскорее вернуться в свою уютную светелку… Хотелось…

Але просто очень хотелось жить.





АНАТОЛИЙ АВРУТИН

Приближенье к заветному слову

* * *

Мне эта громада совсем не громадой казалась,
Казались столетьем ничтожные четверть часа.
Но что-то страшащее робко ладони касалось,
И что-что слепящее метило прямо в глаза.

Огромною станцией чудился мне полустанок,
В сиянье вокзала — какой-то случайный разъезд…
И вместе с зарею закат наступал спозаранок,
Даря мириады не *з в ё з д* осторожных, а *з в е з д.*

Все чистила перья какая-то странная птица
И била о стекла своим перебитым крылом.
Как будто кричала, что может еще пригодиться
В то жуткое время, что тоже пошло на излом.

И не было больно хватать за шипы ножевые,
И не было страшно, толкнувшись, лететь и лететь.
И всё выбивали колеса, дразня мостовые:
«Две трети ты прожил… И третья кончается треть…»

А дальше — не помню…
Все кончилось, все отболело,
Когда до рассвета осталось четыре часа.
Осталось незрячее, но не умершее тело,
Остались живые — на умершем теле — глаза.

* * *

Памяти друзей-писателей

Как летят времена! —
Был недавно еще густобровым.
Жизнь — недолгая штука,
Где третья кончается треть…
Заскочу к Маруку,
Перекинусь словцом с Письменковым,

После с Мишей Стрельцовым
Пойдем на «чугунку» смотреть.

Нынче осень уже,
И в садах — одиноко и голо.
Больше веришь приметам
И меньше — всесильной молве.
Вот и Грушевский сквер…
Подойдет Федюкович Микола,
Вспомнит — с Колей Рубцовым
Когда-то учились в Москве.

Мы начнем с ним листать
О судьбе бесконечную книгу,
Где обиды обидами,
Ну а судьбою — судьба.
Так что, хочешь не хочешь,
И Т*а*раса вспомнишь, и Крыгу…
Там и Сыс не буянит,
Печаль вытирая со лба.

Там — звенящее слово
И дерзкие-дерзкие мысли.
Скоро — первая книга,
Наверно — пойдет нарасхват…
Там опять по проспекту
Бредет очарованный Кислик
И звонит Кулешову,
Торопко зайдя в автомат.

А с проспекта свернешь —
Вот обшарпанный дом серостенный,
Где Есенин с портрета
Запретные шепчет слова,
Где читает стихи только тем, кому верит,
Блаженный…
Только тем, кому верит…
И кругом идет голова.

Что Блаженный? — И он
Перед силой природы бессилен.
Посижу — и домой,
Вдруг под вечер, без всяких причин,
Позвонит из Москвы мне, как водится,
Игорь Блудилин,
А к полуночи ближе, из Питера,
Лёва Куклин…

Неужели ушло
Это время слепцов и поэтов? —
Было время такое,
Когда понимали без слов.

Вам Володя Жиженко
Под вермут расскажет об этом…
И Гречаников Толя…
И хмурый Степан Гаврусёв…

Не толкались друзья мои —
Истово, злобно, без толку.
И ушли, не простившись, —
Негромкие слуги пера.
Вот их книги в рядок,
Все трудней умещаясь на полку.
Там и мест не осталось,
И новую вешать пора…

* * *

Пусть скачет жених — не доскачет!
Чеченская пуля верна.

Александр Блок, 1910 г.

Четвертый час… Едва чадит жасмин.
Бессонница… Рассвета поволока.
И чудится, что в мире ты один,
Кто этакой порой читает Блока.

При чем тут Блок? Талантливый пиит,
Скончался молодым… В своей постели.
Тем лучше — как Есенин, не убит,
Как Мандельштам, в ГУЛАГе не расстрелян.

У нас проблемы новые, свои,
И с блоковскими сходятся едва ли —
Кто пробовал то «золото аи»,
Кто незнакомкам розы шлет в бокале?

Блок это Блок!.. Прозрение не лжет,
Какие бы ветра вокруг ни дули.
Прошло столетье… Вновь десятый год…
Не доскакал жених… Чечня… И пуля…

* * *

Спозаранку выскочишь, нечёсан,
На крыльцо и дальше — напрямки.
Захлебнешься болью над откосом,
Влага потечет из-под руки.
Воротишься в дом. Слезу остудишь.
Вспомнишь, что не кончены дела.
Только тише — Родину разбудишь.
Поздно, позже мамы, прилегла…

* * *

И опять на песке блики белого-белого света,
И опять золотая небесно-невинная даль.
И светает в груди… И душа по-над бренным воздета,
И парит над тобой то ли Родина, то ли печаль…

В мир открыты глаза, как у предка — распахнуты вежды,
И под горлом клокочет: «Высокому не прекословь!»,
Сможешь — спрячь в кулачок
Тот живительный лучик надежды,
Чтоб мерцала внутри то ли Родина, то ли любовь.

И придут времена, когда слово в окно застучится,
И перо заскрипит, за собою строку торопя.
Что-то ухнет вдали… Но с тобой ничего не случится,
Хоть и целился враг то ли в Родину, то ли в тебя.

И приблизишься ты, хоть на шаг, но к заветному слову,
Что в дряхлеющем мире одно только и не старо.
Испугается ворог… Уйдет подобру-поздорову…
Если будет здоровье… И все-таки будет добро…

И тогда осенит, что последняя песня — не спета,
Что перо — это тоже звенящая, острая сталь,
Что опять на песке — блики белого-белого света,
И парит над тобой то ли Родина, то ли печаль.

* * *

Небо меркнет, кораблик качается,
Золотится тугое зерно —
Нет, случайно ничто не случается,
Что случилось — случиться должно!

Не случайно я встретил товарища
И мы с ним порешили вот так:
Не случайны война и пожарища,
И Бетховен… И Ванька-дурак.

Не случайны княжна бледнолицая,
Пьяный Стенька и бомба в царя.
Не случайны ГУЛАГ, инквизиция,
«Вальс цветов», Леонардо, заря…

Не случайно убили Есенина,
Не случайно, часы напролет,
Не случайная Анна Каренина
Не случайного поезда ждет…

Не случайно…
Надеждою тайною
Вековая полна благодать —
Вдруг случайно случится случайное,
Чтоб его неслучайным назвать.

* * *

В наисложнейшей из механик
Ты — последний шут,
Повторяя: «Кнут и пряник…
Кнут и пряник…
Кнут…»

А шуту чего стыдиться?
Проще говоря,
Те же лики, те же лица:
«Кнут и пряник…
Пря…»

Кто-то выклянчит… Воспрянет
Духом… Но потом,
Получивший этот пряник
Будет бит кнутом.

А чтоб шкура не дымилась,
За подкнутный труд,
Может быть, как божью милость,
Пряника дадут.

И метаться будешь, гордый —
(Пусть прознают все!) —
Между пряником и поркой,
Белкой в колесе…

* * *

Съёжился день… Журавли улетели.
В свете померкшего дня
Тихо сопит на несмятой постели
Мальчик, забывший меня.

Мечется время… То камни, то комья…
Там, в параллельном краю,
Кроткая женщина бродит, не помня
Про позабытость мою.

То ли от ревности, то ли из мести,
То ли устав от потерь,

Если и встретимся, не перекрестит,
Вновь провожая за дверь.

Я б ей шепнул: «Как опять молода ты,
Как я мгновению рад!..»
Только утраты, утраты, утраты —
Целая вечность утрат.

Каждая — прежней утраты огромней —
Страсти… Записочки… Пыл…
Только одно мне останется — помнить,
Что я их всех позабыл.

И не сдаваясь житейским громадам
Даже в свой жертвенный час,
Так и брести мне с невидящим взглядом
Мимо невидящих глаз.

* * *

Заслушавшись молчанием твоим,
В неслышном крике будто цепенею.
И черный шарф удавкой давит шею,
Как знак любви, в которой нелюбим.

Как знак любви… Как тяжко отличить,
Где золото, где только позолота,
Где истина, где истовое что-то,
Где нитка, где не рвущаяся нить.

Пусть душит крик, судьбе равновелик,
В напрасной тишине не слышно крика —
Она сама судьбе равновелика,
Которая, по сути, тоже крик…

Что мне теперь? В знобящий час ночной
Лишь на портретах всматриваться в лица.
И цепенеть… И криком становиться…
А если так, то, значит, и судьбой…





ИРИНА ГУРСКАЯ

Ирреальная реальность

Рассказы

Бердянский дворик

Обшарпанная стена. Вылинявшая. В разводах. И рама балконной двери облупленная, — краска, исчезая, рисовала свои смыслы. За стеклами темно, дверь закрыта. Но почему-то кажется, что ее только что закрыли. Закрыли, чтобы потом открыть. Балкон второго этажа старого дома. Нет, не у всех у них одинаковый вид.

Почему я люблю старые, очень старые, черно-белые прабабушкины фотографии? Мне кажется, их должны любить все! Чужие родственники чужих людей в давно прошедшем времени… Но взгляд. Их взгляд лишен сиюминутности. То, что стало для нас навязчивым протоколированием, для них было общением с будущим. Характер, душа и судьба слились в их взгляде и словно изготовились для прыжка в вечность. Настороженная открытость, свидетельствующая неизведанное, оказывается эквивалентна абсолютному знанию. Событие, запечатлевающее взгляд, взгляд, запечатлевающий событие. Черно-белое пространство, черно-белое время — перекресток направлений, изнанка жизни. Взгляд в будущее, гарантирующий прошлое. Сейчас на фотографиях нет взгляда, есть забытье. Но неузнанная черно-белая ось координат меряет все по-своему. И чужая вечность вдруг оказывается твоей повседневностью.

Мера изжитости колеблется как стрелка компаса — тебе сюда. И чужая повседневность вдруг оказывается твоей вечностью. В городе моего балкона никогда не шумело море. Здесь оно нежное, замученное людьми. Плеск полуденного штиля приносит на берег темную грязь с верфи — цвета горького шоколада. А штормовой ветер почти всегда кружит над городом, не давая о себе забыть. Пирамидальные тополя со свистом рассекают воздух боками, как корабли. Ордой набегают плотные, крупные облака из степи. Море выплескивается на город, подпуская к себе лишь товарнячок, виновато виляющий по своей узкоколейке в самом парадном месте набережной.

Давным-давно в детской изостудии, приваленные к стенкам, стояли груды картонок с акварелью — большие и маленькие. Если заглянуть туда и наугад, из середины, вытащить лист, первое, что бросится в глаза, — серо-зеленый разлив учебной акварели, с легким налетом извести от стоящих повсюду гипсовых голов. И запах — солнца, пыли и затаенной тишины. Это фасадный цвет домов, выходящих на набережную в городе моря и балкона. Я не видела, чтобы люди поворачивали в эти красивые прямоугольные проемы между двумя башенными закруглениями стен — будто, заглядываясь на море, стены пошли легкой волной, и возникла арка, в которую можно войти, зеркальная поверхность вод, в которой можно увидеть себя. Жара дневного сознания не всегда отпускает в сумрачную чуждость самого себя.

Красота арочных проемов заключалась в удивительной соразмерности дому и представлению о времени его постройки. Пропорции арок, окон, лепных укра-

шений, перекликаясь, создавали точный тон звучания эпохи, настроенность на незыблемость своего могущества. Внутри арки стыдливо прятались приоткрытые решетчатые ворота, сделанные с любовью, взявшейся неизвестно откуда и по какому поводу, но оставшейся в линиях, формах и их слаженности. Стыдиться им приходилось, по-видимому, своего цвета, точнее, его нежного напоминания на ржавом отсутствии. Я долго не могла отвести взгляд от этого цвета и линий, вцепившихся друг в друга в неодолимом, более чем полувековом, распаде, из которого вдруг резанула жизнь, настоящая, не сиюминутная, выдержанная, как вино. Причастность к потаенной, подсознательной коллективной памяти, насущной как хлеб, стала вдруг реальностью. Реальностью без реальности.

Время продолжало жить своей независимой жизнью, и теперь, сделанные с абсолютной тщательностью, металлические прутья, шишечки, гроздья, наконечники свидетельствовали свою любовь создавшей их эпохе.

И вот я видела уже не обглоданные безразличием прутья, а кокетливую, хоть и монументальную, ажурную и игривую решетку ворот, бережно закрываемых по торжественным случаям. Тогда дома на набережной превращались в затейливую гирлянду, нашептывающую прохожим мысли и настроение. А дворики уединялись, отгороженные ширмой-гирляндой, еще больше погружались в свою брюзгливо-меланхоличную атмосферу. А может, уютно-радостную.

В городе моего балкона по торжественным случаям тоже перегораживали центральные улицы. И дворики замирали, как суслики в норках, пытаясь понять, как же теперь они соотносятся с городом. Потом постепенно наполнялись звуками: сначала редкими и осторожными, к середине дня — все более приподнятыми и оживленными, переходящими в праздничный галдеж. Рано утром, по одному, люди выходили из двориков, иногда с украшенными ветками и воздушными шариками в руках, и скапливались огромным количеством в нескольких местах города, чтобы через некоторое время бурлящими потоками тающего ледника пройти через центр города и рассеяться в его противоположной части, малыми горстками возвращаясь в свои дворики. Это называлось демонстрация. А дети в такие дни были охвачены лишь одним стремлением — обойти, перелезть, обхитрить, проникнуть — любой ценой узреть эту «демонстрацию» в непосредственной близости.

Но наш дворик был особый. Одной стороной он выходил на огромный косогор, который мы называли обрыв и с которого можно было видеть многое из происходящего в городе, поскольку располагался обрыв в самом его центре. Для наблюдателя, стоящего на обрыве, город превращался в море, шумящее у ног, переносящее в свою чуждость. И зарождающаяся змея демонстрации где-то на подступах к центральному проспекту, и пронзительно бодрящая музыка у трибун на главной площади, и рассеянные группки по-настоящему счастливых людей в другом конце шествия, и палатки-самобранки с булочками и кренделями, — все было доступно обзору, как море — до горизонта. В такие дни мы вылезали из дворика, оставляли его, как панцирь, расползались на разные расстояния, и он недоуменно зависал в непривычном бездействии.

А другая сторона дворика заканчивалась — она нигде не заканчивалась, она делала хитрый плоскостной изгиб и обратной перспективой уходила прямо в квартиры. Жизнь в квартирах и дворике проходила с единой интенсивностью, различаясь лишь по форме. И наш балкон второго этажа старого дома был точкой преломления этого пространства, двусторонним биноклем, то приближающим, то удаляющим по нашей прихоти доступные стороны бытия. Дворик был той же комнатой для игр, курения, выращивания цветов, выяснения отношений, совместных уборок. А выходя ночью на балкон, то есть почти оставаясь в комнате, можно было ощутить всю нерушимость первозданной космической красоты — прямо над головой сверкали огромные звезды со своими мелкими брызгами — был виден Млечный Путь, огромная липа переливалась янтарны-

ми листьями, переговариваясь с круглым, желтым светом фонарей, который иногда можно было перепутать с луной, и слышно было, как спит город-море и серебрятся, омытые поливальными машинами, лунные дорожки его снов. Если мама сняла с балкона белье, значит будет дождь, если что-то вывесила, значит пришла с работы на обед, если дверь на балкон открыта, значит мама дома.

Жизнь струилась шелками, цокала копытами, взрывалась снарядами, играла марши, а ворота открывались и закрывались. И только теперь они висят без движения. И солнечному сознанию, шествующему по набережной, хотелось это проигнорировать, не обращать внимания на то, что тополя во двориках вытянулись и разлапились, закрыв все небо, и вместо солнца там холод, что вместо скамеек там бревна, вместо качелей железяки, вместо сараев гнилые доски. Хотелось вкатиться на солнечной волне своей вездесущности, покоряя и поглощая, открывая и оставляя, оставляя себя и оставляя себе, как в далекие времена поездок с родителями праздником становились дворики других городов, словно ждущие тебя и делящиеся своим бытием, изнанкой города, теплой, нутряной стороной.

Разводы блеклой зелени проплыли над головой, решетка осталась за спиной, словно махнув на нас рукой, и строгий проем со своей тенью сделал вид, что нас не было.

Когда что-то видишь сразу, не помнишь, как же взгляд подбирается к этому что-то. По каким кочкам прыгает, через какие пропасти переносится. Я увидела обшарпанную стену. Вылинявшую. В разводах. И раму балконной двери облупленную, — краска, исчезая, рисовала свои смыслы. За стеклами темно, дверь закрыта. Но почему-то кажется, что ее только что закрыли. Пространство дрогнуло и стало расслаиваться. В детстве мы где-то находили кусочки слюды. Сдвигаешь тоненький, корявый, какой-то очень наивный слой с радужным рисунком, за ним другой такой же, за ним следующий отслаивается. Дворик, балкон, дверь. Дверь, балкон, дворик. Дворик, балкон, дверь. И все прозрачные. Если поднести близко к глазам, видны камушки, палочки, земля. Как старые фотографии, которые печатались дома в темной ванной. Бледная, не контрастная. Темнее, но неудачная. Слой за слоем, что-то очень наивное и единственно любимое. Детство и мама. Это она только что закрыла дверь. Это она машет мне с балкона. Это она зовет ужинать. Это ее силуэт то бледнее, то темнее, то неконтрастно. Это она больше не откроет дверь. Пространство исчезло, оно превратилось во время. Время стало пространством. Вся жизнь в одно мгновение прошла через этот балкон по вертикали взгляда, ушла вслед за мамой, ушла в землю или в небо. Когда что-то не увидишь никогда, не помнишь, почему.

Этот балкон и этот дворик совпали с моими, как ни один другой. Север и юг, восток и запад, море и суша, рождение и смерть, буйство цвета и света и отрешенность изжитости создали их для превращения времени в пространство и пространства во время. И что-то прокричало, пронеслось ветром, прошепелявило невеселым гомоном с набережной — город моря и балкона брошен, оставлен — не меньше, чем я. Когда дворик умирает, он уже не отпускает на набережную, к солнцу, потому что не существует ни солнца, ни набережной, ни веселых волн, покачивающих упитанные и ухоженные заморские торговые суда, ни стайки-десятки церквушек, созывающих Троицким звоном середины степного лета лекарей и булочников, сапожников и почтальонов. И тоненькие тополя не таращат свои младенческие глазки на норовистых лошадок, золоченые дверцы экипажа и точеные силуэты офицеров царской свиты, да и сам город позабыл о богатстве, скрывающемся в его названии. Лишь планировка центральной части хранит рассыпающийся абрис судьбы, импульс и благословение, план, чертеж, превращающийся в остов. Так и живет город, как человек, сверяющий себя со своим существованием по фотографиям. Бледная, не контрастная. Темнее, но неудачная. Город моря и балкона был покинут теми, кто вырастил его.

И он ощущал эту покинутость. Основали и оставили, как ребенка в каждом из нас. Посадили в бочку, запечатали и по морю пустили, а когда берег под ногами оказался, остался лишь чертеж, планировка центральной части.

Было горько и одиноко

Это был совсем маленький мальчик. Он не думал, что когда-нибудь придется идти в школу. Он казался хрупким и трепетным. Он рано научился говорить. Впрочем, произошло это не так давно.

Он уважал большой, ухающий, как филин, когда его закрывали, шкаф в спальной. Он никому не давал обижать свой длинный торшер, правда, исподтишка сам, бывало, его наказывал. Он в сладком замирании останавливался перед куклами своей сестры и молча рассказывал им, как жутко и здорово было гулять ночью по еврейскому кладбищу. Это было далеко-далеко, в Голландии, и совсем недавно. Он шел, прислушиваясь к тишине. Ни один живой звук не нарушал ее. Только шумели деревья, сильно, будто о чем-то предупреждая. Потаенно лежали могильные плиты, скрытые литыми узорными оградами. Иногда плиты прятались в зарослях кустарника и диких цветов, и тогда он, отпугивая свой страх, подходил ближе, разнимал ветви. За его спиной слышался сухой стук; скрученный лист, потрескивая, продирался к земле. Он опускался на коленки и, вдыхая терпкость неизвестных трав, вдруг раскрывших дурманящие объятия, и вечную, чуть холодную сырость земли, завороженно смотрел на могильную вязь, бегущую справа налево, древнюю, как сам мир.

Вдруг по окраинам неба раздались гулкие раскаты. Гром прогонял свои стада… Воздух стал влажным, беспокойным от множества вспугнутых запахов. Ветер рвался в гущу листвы.

Неожиданный всплеск молнии уничтожил в испуге приникшее к земле спокойствие. С неба хлынули теплые потоки. Плиты то темнели, то вспыхивали под ударом молнии белым светом, — казалось, они раскалываются на части, воздевают руки к небу, ища непонятного спасения. От вечности ли, погребенной под ними?

А потом он вспоминал, как притаился за грустной парусиновой портьерой. Он слушал и не мог оторваться, хотя знал, что надо бежать, удирать как можно быстрее. Но тяжелый, глубокий голос Петра придавил его к месту, не позволял сдвинуться. Петр сидел к нему спиной, и она закрывала полкомнаты.

Он почти не видел царевича Алексея, но чувствовал напряженность его склоненной головы. Потупленность глаз. Смятенный страх. Боль, разворачивающуюся в груди и по рукам сбегающую во вздрагивающие пальцы. И стебелек нарастающего упрямства…

Он понимал — вот-вот разразится скандал… Сердце обрывалось при каждом слове государя. О! Только бы он не заметил этих дрожащих пальцев.

Почему-то он не мог рассказывать этого знакомым мальчишкам. Да и как передать все? Они убегали от его лопотания и катали по полу машинки. Тогда ему хотелось говорить, что у него дома над кроватью висит портрет Гоголя. Что Гоголь отгоняет плохие сны, и ему часто снятся цветущие луга, озера, облака и леса, и замки с добрыми гномиками. Что Гоголь очень хороший и его почему-то жалко. А в кабинете у папы есть и Пушкин, и Чехов, и Достоевский, и Лермонтов, и Толстой. И со всеми он знаком, и они его хорошо помнят и каждый раз узнают. А Лермонтов как посмотрит своими глазами-сливинами, ему почему-то становится смешно и даже очень весело, а ведь взгляд у Лермонтова печальный.

Но ни Сашка, ни Василий, ни Коленька не знают этих портретов, и им не интересно. Зато всех взрослых он водит в кабинет и всегда представляет им по очереди: Достоевский, Пушкин, Чехов… И Гоголя показывает… Кажется,

взрослые сразу понимают все, что ему хочется рассказать. Они и сами иногда спрашивают: а это кто? А это? Тогда он в восторге выкрикивает имена, и портреты подмигивают ему и рассказывают что-то новое.

Папа с мамой часто водят его в просторную квартиру, где в главной комнате стоят небольшие, но будто налитые свинцом ящики с разноцветными клавишами и кнопками. Вдоль стены тянутся застекленные дорожки с полчищами хрустальных рюмок, горками тарелок, хороводами кокетливых чашек. Неподъемные маленькие ящики иногда оживают: он знал, что для этого шнур втыкают в розетку, куда больше ничего втыкать нельзя. Ящики начинают выть и ухать, и тогда не нужен свет — по комнате перебегают желтые, лиловые, синие и зеленые лучи, выхватывая радужную грань вазы, возвышающейся надо всем, золотой извив тарелочной каемки или светлый лепесток чашки. Всем тогда очень весело, а Сашка начинает вертеться и выделывать фигуры.

Но особенно ему нравится, когда шаловливый свет прыгает на стенные фотографии, с которых сверкают ряды ослепительных зубов, струятся или пышут лохматой громадой длинные волосы, где из черных бездн рвутся руки и блестят, как рыбины, живые гитары. И лишь ящики замолкают, Сашка включает дежурный свет, а все, взмокшие и улыбающиеся, еще толпятся посреди комнаты, он отыскивает папу или маму и тащит их к фотографиям, на которых еще бушуют непонятные силы, и рассказывает про каждого: Пол Маккартни, Дин Рид, Джо Дассен. Он их тоже любит, хотя больше почтения ему внушает одинокий портрет Эйнштейна, что висит в другой комнате. Но там слишком много звезд, холодных и далеких, и его пугают черные провалы бесконечности, из которых во сне невозможно выбраться, да и смотрит Эйнштейн куда-то вбок и мимо него, где ни стань. Но взрослые чаще всего «кто это?» спрашивают именно про Эйнштейна, и он каждый раз добросовестно называет, все надеясь, что портрет станет чуть понятней.

А однажды родители собрались в гости к своей дальней родственнице. И его взяли с собой. Но он не хотел идти, потому что у тети всегда было скучно, все тихо сидели за столом и разговаривали. Там не было ни портретов, ни фотографий, и никто его не ждал.

Было холодно. Ветер свистел и гнул незащищенные деревья. Река молчала всей своей ширью. Нервная дрожь изредка пробегала по ней.

Они снимали обувь в полутемной прихожей. Тетя, бледный, полуосвещенный изгиб, что-то говорила родителям. Вдруг она обернулась к нему, мерцая темным локоном и улыбаясь напомаженными губами:

— Пойдем, я тебе что-то покажу.

Они прошли через аккуратную, почти пустую комнату к другой двери, на которую он никогда не обращал внимания.

Тетя вошла в темноту, включила слабый голубоватый свет. Над убранной синим покрывалом кроватью он увидел широкий крест темного дерева, а на нем — висящего в неудобной позе, за руки и за ноги прикованного, осунувшегося человека.

— Знаешь, кто это такой? — мягко спросила тетя.

— Нет, — он еле смог открыть рот.

— А хочешь знать? — тетя не отступала. Она сняла крест и поднесла к нему. Повеяло вековым чужим несчастьем. По лицу человека сползала слеза.

— Не-ет! — крикнул он сдавленным шепотом, порывисто спрятавшись в своих ладошках.

Он слышал, как переговариваются на кухне мама с папой, как папа ставит на плиту чайник, мама скрипит табуретом…

Было горько и одиноко.





Русалочья заводь

Сегодня мы открываем новую рубрику для переводчиков с белорусского: «Три моих поэта». Она преследует сразу несколько целей. Во-первых, даст возможность публиковать больше белорусских поэтов, чем до сих пор, по принципу: лучше меньше, да лучше. Во-вторых, покажет, кто из мастеров пера находится в особой чести у переводчиков — таким образом, напечататься под этой рубрикой станет привилегией. В-третьих, расширится (хочется надеяться) круг переводчиков и возрастет их профессиональное мастерство: привыкание к стилю и особенностям одного автора несколько обедняет творческую палитру. Поэтому в клубе переводчиков, о создании которого на базе «Нёмана» мы недавно объявили в журнале, будет о чем поговорить. Наконец, думается, будет правильно, если читатель узнает немного больше об авторах перевода, обычно скромнейших людях, всегда довольствующихся лишь одной подписью под произведениями, которым они дали вторую жизнь. Вот почему мы предполагаем русским версиям белорусских поэтов предпосылать небольшие интервью с их творцами. Первый гость новой рубрики — *Геннадий АВЛАСЕНКО.*

— Геннадий Петрович, расскажите о себе.

— Мне 55 лет. Родился в деревне Липовец Ушачского района Витебской области. Закончил биофак БГУ. Сейчас работаю учителем в Войниловской базовой школе Червенского района Минской области. Член Союза писателей Беларуси.

— Помогает ли биология занятиям литературой? Ваша фамилия довольно часто встречается в белорусских и русских изданиях.

— Биология — наука о жизни. В этом ее родство с поэзией, предмет которой жизнь во всех ее проявлениях. И обязательно духовная, чего в биологии нет. Писать стал поздно. В 2003 году в «Мастацкай літаратуры» вышла поэтическая книга «Час збіраць камяні». В последние два года издал три сказки для детей.

— Печататься Вы стали тоже сравнительно поздно...

— Наверное, потому, что распылялся. Увлекся драматургией, написал около двух десятков пьес. Трижды они были первыми на республиканских конкурсах. Но с постановками в театрах не повезло. Потом потянуло на фантастику. В прошлом году «Харвест» издал роман «Дзікія кошкі Барсума» — в серии «Библиотека современной белорусской фантастической и приключенческой прозы».

— Выходит, переводы — Ваше очередное увлечение?

— Может быть, и последнее. Оно возвращает меня к поэзии. Особенно когда не пишется самому.

— А по какому принципу Вы выбрали поэтов, в общем-то, непохожих: Виктора Шнипа, Миколу Метлицкого и Михася Чарота?

— Хорошие поэты всегда непохожи. Выбирал то, что особенно нравится, что созвучно моим взглядам на жизнь, моему настроению в тот момент, когда прочел стихотворение.

Вступление и интервью Юрия Сапожкова.

Михась ЧАРОТ

* * *

Я вновь — где поле утомленно
Поэту низкий бьет поклон.
Где между поясов зеленых
Зажат и узкий мой загон.

Я вновь — где кленам и березам
Купает солнце их листву
И горстью свернутые слезы
Росою сыплет на траву.

Я вновь — где птичьи переливы
Звенят, как струнный перебор,
Где черной тучею дождливой
Стоит на горке шумный бор.

Я вновь — где речки с родниками
Блестят зеркально меж болот,
И поит почву ручейками
С веселым громом небосвод.

Смотрю в заплаканные очи
Родных, замшелых, старых хат,
Где по-над крышами хохочет,
Меня встречая, ветер-хват.

Я с ним хочу над краем взвиться
Чтобы увидеть вольну ширь,
И песней лиры помолиться
На незасеянный пустырь.

На сенокосе вновь ночуя:
Коней там будут сторожить…
И у костра вновь захочу я
Ночлеги детства пережить.

Чтоб поменять года местами,
Я прыгать буду сквозь огонь,
Пока играть со мной устанет
На небе месяц — белый конь.

Неспелой рожью синеглазой,
Как сын родной, а не чужой,
С косою острою я разом
На море трав пойду межой.

Там лиры звук, там свищут косы,
Сливаясь в общий дружный хор.

И на болоте след мой босый
Красивый вытопчет узор.

От утомленья сладко-сладко
На сене буду я дремать,
Как только черною палаткой
Ночь станет землю укрывать.

Когда ж в мечтаниях поэта
Я вдохновенье обрету, —
Как из ромашек белых летом,
Венок из образов сплету.

Виктор ШНИП

* * *

Вечность в белой церковке живет,
Словно в белом ковчеге плывет,
Так течет в неизвестность вода
В бесконечные дни и года.
В те, где нам потеряться с тобой,
Словно теням над вешней водой,
Что не может найти берегов.
Берега, словно наша любовь
К той земле, что теперь под водой,
К небесам над церковкой седой,
Что плывут, словно белый ковчег,
Облака разрезая, как снег,
Что не смог долететь до земли,
Той, где мы свое счастье нашли...

Баллада потопа

Неслась в неизвестность стихия потопа.
Под небом, как будто под Божьей рукой,
Над водною гладью явилась Европа,
Богиней, рожденной из пены морской.
И ты отыскала меня и сказала:
«Как хочешь ты сам, так теперь и живи…»
И, словно в ревущем потопе, пропала.
И, будто огонь, затаилась в крови.
Мне крикнуть хотелось: «Вернись, ради бога!
Мне так твоего не хватает тепла!»
Как крест, предо мною лежала дорога,
И даль-неизвестность потопом влекла…

* * *

К одиночеству душу свою приучаю,
Себя утешаю: «Ну что ж, не беда!
Не пропаду…» Но, как дым, пропадаю,
Себя забываю. Тебя — никогда.

Тебя я встречаю, себе повторяю,
Что, если любить — как любимым не стать!
И в это поверить себя заставляю,
А сердце — мечтать.

Микола МЕТЛИЦКИЙ

* * *

Я сделал шаг — и все ступило вслед:
Асфальтом черным грохотали-шли
Дома, что разменяли сотню лет,
Скрипучие, как старость, журавли,
И, вырвав корневища из земли,
За ними, шаркая, шел тополь-дед.

Я слышал их движенье за спиной,
Они пошли уверенно за мной.
Я чуть дышал, боялся обернуться,
Я знал одно: остановлюсь — беда!
Остановлюсь, промедлю… и тогда
Застыть им всем и вновь не шевельнуться —
И в зоне той остаться навсегда.

Памяти Евгении Янищиц

Трагедий земных постиженье
На волнах сквозной глухоты.
Как горько и пусто мне, Женя.
Душа разрывается —
Ты!..

Пробудятся сны снеговые
В вечерней дали огневой.
Я нес тебе розы
Живые.
Последние розы…
Живой.

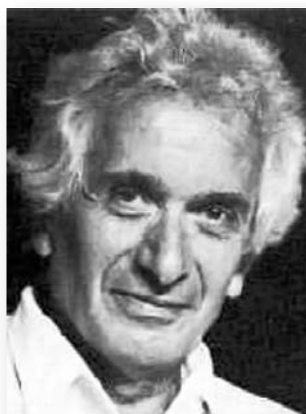
Ничто и теперь не подскажет
Что, Женя, творилось с тобой.
Но платье — пречерная сажа!
Но взгляд —
затаенный такой.

Как после душа холодела:
Во взгляде стояла беда!
С каких же ты далей глядела,
Куда уходила тогда?

На грустной последней дороге
Навеки расстанемся мы.
Всех ярче горит на морозе,
Кровавей калина зимы.

Перевод с белорусского Геннадия Авласенко.





РЕНЕ БАРЖАВЕЛЬ

Дороги Катманду

Роман

За стеной тумана полыхал пожар. Джейн видела его багровые отблески на ветровом стекле справа сверху. Расплывчатое пятно в рамке ветрового стекла походило на кадр пленки, засвеченной солнцем. Но слева и справа от машины по-прежнему медленно струился грязно-серый туман, как будто машина плыла по реке, в которую целую вечность сбрасывали отходы.

Джейн не знала, где находится, и не представляла, что могло пылать там, за туманом. Она почти забыла, кто она такая. Она больше не хотела знать ничего, совсем ничего, и пусть горит весь мир, пусть он рухнет на нее и раздавит вместе с ее головой все, что она видела, все, что слышала. Внезапно помертвевшее лицо отца, незаконченный жест изумления, слова чужой женщины, ее рука, ее смех, растерянный взгляд отца, неподвижная сцена, навсегда запечатлевшаяся, словно черно-белая фотография, в ее окоченевшей памяти.

Почему она открыла дверь его кабинета? Почему? Опрометью бросилась на улицу, кусая губы, чтобы не кричать, кинулась в свою машину, толкнулась в бампер передней машины, потом в бампер задней, проскрежетала по дверце автобуса цвета запекшейся крови и нырнула в поток серого тумана. Когда это было? Несколько часов, несколько дней тому назад? Для нее не было ни часов, ни дней, вообще не было времени. Она мчалась по улицам, останавливалась, снова трогалась с места, не сводя глаз с задних огней машины перед ней, которая тоже то двигалась, то останавливалась на дне мертвой реки, затопившей город.

Но вот сигнальные огни передней машины остановились в очередной раз и погасли. Она куда-то приехала. Красное зарево на ветровом стекле справа сверху продолжало пульсировать. Из серого потока снаружи доносились приглушенные, словно завернутые в вату, звуки: колокола, сирены, чьи-то крики, чьи-то слова. Джейн выбралась из машины, не заглушив двигателя. Это была спортивная модель с конвейера какого-то завода на континенте, красивый автомобиль лимонного цвета. Туман обволакивал его, словно чехол из грязного брезента. Джейн пошла

René Barjavel. Les chemins de Katmandou.

Cet ouvrage, publié dans le cadre du Programme d'Aide à la publication «Maxime Bogdanovitch», bénéficie du soutien de Culturesfrance, opérateur du ministère français des Affaires étrangères et européennes et du ministère français de la Culture et de la Communication, et du Service de Coopération et d'Action culturelle de l'Ambassade de France en Biélorussie.

Данное произведение, изданное в рамках Программы помощи публикациям «Максим Богданович», пользуется поддержкой Кюльтюрфранс, оператора Министерства иностранных и европейских дел Франции и Министерства культуры Франции, а также Отдела по Сотрудничеству и Культуре Посольства Франции в Республике Беларусь.

куда глаза глядят, даже не захлопнув дверцу. Через несколько шагов оказалась на тротуаре и остановилась, наткнувшись на садовую решетку. Двинулась вдоль нее.

Джейн не ощущала ни холода, ни запаха тумана. Она шла вдоль забора, за которым был какой-то дом, потом еще и еще один. И так повторялось снова и снова, ограда, совершенно одинаковая, продолжалась бесконечно. Она не видела ни ее начала, ни ее конца, только три металлических звена одновременно в уголке левого глаза; все остальное тонуло в волнах серой реки.

Ее короткое платье из зеленого шелка, под которым у нее были только оранжевые трусики, совершенно промокло и стало почти прозрачным. Оно плотно облегало ее едва наметившиеся бедра, ее небольшие нежные груди, которые безжалостно стискивал холод. Она шла и шла вдоль ажурной железной стены. Пока не натолкнулась на темную массу, гораздо выше и шире, чем она сама. На ней остановился взгляд стоявшего вплотную мужчины. Ему показалось, что на девушке не было ничего из одежды, кроме тумана. Она хотела обогнуть его, чтобы идти дальше. Он вытянул перед ней руку. Она остановилась. Он молча взял ее за руку, довел до конца ограды, прошел вместе с ней узкой аллеей, затем спустился по нескольким ступенькам куда-то вниз, открыл дверь, легонько толкнул девушку внутрь и закрыл за собой дверь.

В темной комнате сильно пахло соленой селедкой. Мужчина повернул выключатель. На потолке под розовым абажуром вспыхнула тусклая лампочка. Слева вдоль стены стояла узкая тщательно застеленная кровать. Рисунок на белом вязаном покрывале изображал ангелов с трубами. Свисавшая с постели часть покрывала заканчивалась ромбиками с кисточками. Мужчина аккуратно сложил покрывало и повесил его на спинку стула, стоявшего в изголовье. На стуле стоял транзисторный приемник и лежала закрытая книга. Он нажал на черную кнопку приемника, и голоса поющих битлов заполнили комнату. Слушая их, Джейн ощутила что-то вроде внутреннего тепла; это была дружеская поддержка. Она неподвижно стояла у двери. Мужчина подошел, взял ее за руку, подвел к кровати и усадил. Сняв с нее трусики, уложил ее на постель, раздвинул ей ноги. Когда он лег на нее, она закричала. Он спросил, почему она кричит. Не зная, что ответить, она замолчала.

Битлы перестали петь. Вместо песни по радио теперь звучал печальный размеренный голос. Это выступал премьер-министр. Джейн молчала. Мужчина на ней негромко пыхтел, старательно отдаваясь наслаждению. Прежде чем премьер-министр приступил к плохим новостям, мужчина затих. Через несколько секунд он вздохнул, слез с нее, вытерся оранжевыми трусиками, валявшимися возле постели, подошел к столику, стоявшему возле газовой плиты, вылил в стакан остатки пива из бутылки и выпил.

Потом он вернулся к постели, осторожно прикасаясь к Джейн и бормоча что-то ласковое, заставил ее встать, поднялся с ней по нескольким ступенькам, довел до конца узкой аллеи, проделал еще несколько шагов вдоль ограды и осторожно подтолкнул в туман. Еще несколько мгновений она виднелась в белесой массе, словно зеленоватый призрак, потом пропала.

Свен находился в Лондоне уже две недели. Здесь закончился первый этап его путешествия. Он не знал города, но ему удалось найти убежище у друзей, супружеской пары немецких хиппи, которые познакомили его со злачными местами Лондона. Они сами поселились в Лондоне только потому, что это был город их юности; Свен же покинул свой дом для того, чтобы добраться до гораздо более далеких мест.

Каждый день после обеда он отправлялся в Гайд-парк, садился где-нибудь под деревом и раскладывал на газоне вокруг себя множество разных предметов: картинки с цветами и птицами, изображения Будды, Иисуса, Кришны, мусульманского полумесяца, печати Соломона, свастики

и египетского креста, там были и другие портреты и религиозные символы, нарисованные им самим на листках разноцветной бумаги, а также фотографии Кришнамурти, молодого и красивого, словно Рудольф Валентино, и Гурджиева, выделявшегося гладко выбритым черепом и казацкими усами. Эти пестрые бумажки казались цветами на зеленом газоне и соответствовали, по его представлениям, радостно цветущему многообразию Единой Истины. Истины, в существовании которой он был уверен и которую мечтал познать. В этом заключались смысл его существования и цель его путешествия. Он оставил родную Норвегию, чтобы отправиться искать Единую Истину в Катманду. Лондон был первой остановкой на его пути. Катманду находился на другом краю Земли. Чтобы продолжать путешествие, ему нужно было иметь хотя бы немного денег. Среди его разукрашенных бумажек лежала дощечка с надписью: «Возьмите картинку и оставьте монетку для Катманду». Он ставил на дощечку пустую консервную банку и садился на траву, опираясь спиной на ствол дерева. Затем начинал петь написанные им самим песни, лаская струны гитары. Это были песни почти без слов, и в них постоянно повторялось: Бог, любовь, свет, птицы, цветы. Для него все эти слова означали одно и то же. И их общий смысл он надеялся обнаружить в Катманду, самом святом городе мира, где встречались все религии Азии.

Проходившие мимо англичане не представляли, где находится Катманду. Некоторые были убеждены, что слово, написанное на дощечке, было именем парня со светлой бородкой и длинными волосами, красивого, каким должен был быть Иисус-подросток в самые загадочные годы своей жизни, когда никто еще не знал, кем он был. Может быть, он просто таился в те годы, спасая свою жизнь, слишком нежный и слишком прекрасный, пока не стал человеком достаточно жестким, за что его прибили к кресту. Несколько секунд прохожие вслушивались в ностальгическую песню, из которой понимали только несколько слов, хотя там других и не было. Они разглядывали парня, светлого и красивого, с короткой золотистой бородкой, с длинными волосами. У его гитары был стерт лак в том месте, по которому он отстукивал ритм пальцами правой руки, а вокруг себя он аккуратно разложил картинки, раскрашенные в десятки цветов. Прохожие чувствовали, что нечто непонятное ускользало от их понимания. Покачав головой и испытывая нечто вроде угрызений совести, они бросали в консервную банку несколько монеток прежде чем уйти и быстро забыть как облик этого парня, так и мелодию его песни, чтобы ничем не нарушить привычное течение своей жизни. Некоторые поднимали с земли раскрашенный клочок бумаги и уходили, не представляя, зачем они это сделали. Теперь, лишившись соседства других листков, он казался не таким уж жизнерадостным. Он был как цветок, бесцельно сорванный с клумбы, который, оказавшись в руках, становится какой-то бесполезной мелочью, к тому же, умирающей. Они уже жалели, что взяли эту бумажку, но не знали, как от нее избавиться. Одни складывали ее и совали в карман или в сумочку. Другие торопливо бросали ее в мусорную урну.

Иногда женщины, в большинстве не очень молодые и усталые, пристально смотрели на Свена и завидовали его матери. Потом они наклонялись и опускали в консервную банку серебряную монету.

Мать Свена не знала, где сейчас находится ее сын. И не очень старалась узнать. Он был достаточно взрослым, чтобы делать то, что ему хочется.

Сегодня после полудня он устроился на своем обычном месте. Он разложил вокруг себя пестрые картинки, фанерку с надписью и пустую банку и начал петь. Внезапно на него опустился туман. Он сложил свое имущество, натянул на голову капюшон куртки и продолжал петь, но не потому,

что надеялся заработать какую-нибудь мелочь, а потому, что петь нужно даже в тумане. Струны его гитары ослабли от влажности, и мелодия стала минорной и меланхолической. Течение медленной реки поднесло к нему тело Джейн. На уровне глаз перед ним проплыли оборки платья утопленницы, ее мокрые стройные ноги и бессильно повисшая рука. Он поднял взгляд, но верхняя часть туловища и лицо растворились в серой воде. Он схватил ледяную руку в тот момент, когда она уже почти исчезла. Вскочив, он открыл для себя лицо Джейн. Оно походило на цветок, раскрывшийся в сумерках и убежденный, что вокруг него существует только ночь. В одно мгновение Свен понял, что он должен подарить этому цветку солнце. Он снял куртку, набросил ее девушке на плечи и старательно застегнул, передав девушке сохраненное курткой тепло своего тела.

Г-н Сеньер приподнялся, опираясь на локоть, и попытался сесть на краю кровати. Ему это не удалось. Вся масса Земли навалилась ему на живот, вдавливая в матрас. Но что с ним? Что у него там, в животе? Нет, это, конечно, не… Это не то, что… Стоп, нельзя даже в мыслях произносить это слово… Врач сказал, что это энтеро… Что-то вроде этого. Уплотнение, воспаление… В общем, болезни, которые излечивают. Но не… Не думать об этом… Нужно лечиться, нужно потерпеть, быстро не получится… Но сегодня все излечивают, медицина способна на все… Прогресс, как-никак… Сейчас не те времена, когда врачи не умели… Они проверяли пульс. «Покажите язык»… Представить только, язык! Можно только пожалеть тех, кто жил раньше… Сейчас лечат по-настоящему… Врачи получают образование… Они знают, что надо делать… Мне ведь делали анализы… Они прекрасно разобрались, что это не… Доктор Вире — это замечательный доктор. Молодой, энергичный…

Г-н Сеньер взглянул на ночной столик, на котором стопками возвышались коробки с лекарствами, образуя уменьшенную копию небоскребов Нью-Йорка. Г-н Сеньер прочитал все проспекты, находившиеся в коробках. Там было много слов, которые он не только не понял, но даже прочитал с трудом. Но врачи, они понимают. Они ведь учились, так что все знают, все понимают. Они лечат вас. Проспекты пишут ученые, это дело серьезное. Врачи, ученые — это прогресс. Современность. С ними ты ничем не рискуешь.

Г-н Сеньер опустился на постель. Лицо у него покрылось капельками пота. Его огромный живот отказывался подчиняться. И он уже не был уверен, есть ли у него ноги там, на другом конце живота. Он позвал мадам Мюре, домработницу. Но кухня, где мадам Мюре занималась завтраком, была заполнена Мирей Матье, изливавшей жалобы своим медным голосом, потому что мужчина, которого она любила, уезжал на поезде. Она кричала ему вслед, что никогда его не забудет, что будет ждать его всегда, все дни и все ночи… Но мадам Мюре хорошо знала, что он не вернется. Если мужчина уезжает на поезде, не оборачиваясь, значит, этот мужчина не вернется… Она покачала головой, попробовала белый соус и добавила в него немного перца. В это время Мирей закончила свои рыдания. На доли секунды образовалась пауза, и мадам Мюре услышала призыв г-на Сеньера.

Она взяла с полки свой транзистор и распахнула двери в комнату. Это был замечательный транзистор, японского производства, в кожаном футляре с дырочками с одной стороны, что делало его немного похожим на дуршлаг. Транзистор подарила ей Мартин. Сама она никогда бы не решилась купить такую вещь. Ей всегда приходилось считать каждый франк. Мать Оливье частенько запаздывала с очередным переводом. К счастью, с тех пор, как г-н Сеньер заболел, и так как мадам Сеньер была занята в лавке, ее наняли на целый день по четыреста франков за час, и последнее

время она неплохо зарабатывала. Кроме того, ей полагался обед. Вечером она могла забрать с собой все, что оставалось в кастрюле, чтобы накормить Оливье. Вернувшись домой, она ставила кастрюлю на газ и добавляла туда соуса или несколько картофелин, как будто только что приготовила это блюдо для них двоих. И это всегда было очень вкусно. Она была хорошей кулинаркой. Оливье не обращал внимания на это ее достоинство, он привык к хорошей кухне и считал ее чем-то обычным. Сейчас он почти стал мужчиной, таким красивым, таким милым… Ей так повезло с внуком, это большое счастье …

Она никогда не расставалась со своим транзистором. С того момента, как он появился, она не чувствовала себя одинокой. Теперь она больше не встречалась с жуткой тишиной, когда нужно было думать. Теперь вокруг нее постоянно кипела жизнь. Разумеется, новости не всегда были хорошими, но известно, что мир таков, каков он есть, его не объясняют, в нем ничего не изменишь, главное — хорошо делать то, что ты обязан делать, и не причинять никому зла, и если бы все так вели себя, дела никогда не шли бы наперекосяк. Кроме того, в транзисторе были песни, юноши и девушки, такие юные, поющие круглые сутки. Они согревали ей сердце. Сама она не умела петь. Поэтому она слушала. Время от времени, когда очередной певец в очередной раз исполнял песню, которую она уже много раз слышала, она позволяла себе увлечься и начинала мурлыкать слова песни вместе с ним. Но быстро останавливалась. Она знала, что у нее не слишком красивый голос.

Хор дикторов ворвался вместе с ней в комнату г-на Сеньера.

«Только в паштетах Птижан есть питательная добавка!»

Г-н Сеньер застонал.

— Вы не могли бы заставить эту штуку замолчать хотя бы на минуту?

— Конечно, конечно, — согласилась мадам Мюре. — Сейчас я его выключу. У нас что-нибудь не в порядке?

«Благодаря нашей добавке паштеты Птижан невероятно питательны, но не приводят к полноте!»

— Сходите за моей женой, мне нужно судно…

— Разве вы не знаете, что сейчас час пик. К тому же, она едва справляется в лавке с двумя девчонками. Я сама подам вам судно.

Она поставила транзистор на ночной столик рядом с небоскребами из коробочек с лекарствами.

— Когда человек болен, какой может быть стыд? Повернитесь на бок. Еще, еще немножко… Все, можете лечь на спину. Вот и все!

«Благодаря питательной добавке, которая разрушает крахмал, паштеты Птижан насыщают вас, не перегружая клетки вашего тела!»

— Хотелось бы попробовать этот паштет, — сказала мадам Мюре. — Я попрошу мадам Сеньер принести пакетик из лавки. Это как раз то, что нужно вам с вашим животом.

Теперь песню трагическим голосом исполняла Далида. Ее тоже бросили. Можно подумать, что бедные женщины существуют только для того, чтобы их бросали.

«Может быть, стоит взять баночку паштета Птижан для Оливье, — подумала мадам Мюре. — Если добавить тертого сыра и приличный кусочек масла…» Оливье нужно пополнеть. Он быстро вырос и много работает. Ей так хотелось, чтобы он прибавил в весе.

Оливье остановился. На газоне справа от него что-то шевелилось. Бледное трепещущее пятно на темном фоне тронутой морозом травы словно цеплялось за последние проблески света перед окончательным наступлением сумерек. Это был раненый голубь, попытавшийся спастись,

когда он приблизился. Оливье осторожно подобрал его. Его пальцы погрузились в теплые перья, и он уловил тревожное биение сердечка. Он приоткрыл свою канадку из коричневой ткани и спрятал перепуганную птицу в сохраняемое шерстью тепло.

Небо было светлым; ночь ожидалась холодной. Оливье просунул правую руку под куртку, чтобы удержать голубя, который едва не выпал, и направился к дому Патрика. Он уже был однажды поблизости, сопровождая приятеля, когда они шли пешком с юридического факультета. Патрик сдержанно улыбался, когда Оливье с пылом излагал свои мысли о том, что нужно все вокруг разрушить и создать заново. Сначала разрушить абсурдный мир несправедливости, а затем вместе со всеми построить новый мир. Родители Патрика жили на краю Марсова поля. Оливье еще ни разу не заходил к ним. Он нажал на кнопку звонка левой рукой.

Ему открыл Андре, личный секретарь мадам Вибье.

Господина Патрика еще не было дома, но он должен был скоро прийти.

Андре пошел предупредить мадам Вибье, что друг ее сына ждет его в салоне. Она положила шариковую ручку на стол и сложила очки. Мадам занималась тем, что редактировала свою речь, которую должна была произнести послезавтра в Стокгольме. Она попросила Андре позвонить мистеру Кобану в ЮНЕСКО, чтобы уточнить цифры сбора риса в Индонезии в 64-м и 65-м годах и попытаться раздобыть цифры урожая в 66-м году. Мадам Вибье знала, что была слишком лирической натурой, ее фразы не всегда были достаточно строгими. А участникам конгресса нужны прежде всего факты. Вернуться в Париж она собиралась во вторник самолетом, который прилетал в 9 часов утра. Андре должен был подготовить ответы на пришедшие за это время письма, ну, хотя бы на те, на которые сможет. У нее будет мало времени, потому что в 5 часов вечера должна лететь в Женеву. А у нее еще назначена встреча на 2 часа у Кариты.

— Получается, что Вы не сможете повидать месье? — спросил Андре. — Он вернется не раньше среды…

— Мы встретимся с ним в воскресенье в Лондоне, — сказала она. — Может быть, Патрик пригласит гостя пообедать. Предупредите Мариэтт. Да, вино, которое мы пили в обед, было неважным. Его поставил нам Фурке?

— Да, мадам.

— Позвоните, пусть заберет его назад, я такого не хочу. Если у него нет хорошего божоле, пусть пришлет легкое бордо без резкого вкуса винограда, вино на каждый день. Но когда я говорю про вино на каждый день, это не означает, что это бог весть какое вино!

Она встала, чтобы посмотреть на приятеля сына. Ей нравилось общаться с молодежью. Но с Патриком никакие контакты были невозможны. Когда она пыталась побеседовать с ним, он смотрел на нее с легкой улыбкой, словно все, что она говорила, не имело никакого значения. На все ее слова он мягко отвечал: «Да, мама», так что в конце концов она замолкала, обескураженная.

Почти точно посреди салона, прямо на полу, на краю китайского ковра, стояла большая старинная ваза бледно-зеленого фарфора с розами. Рядом располагался клавесин бледно-зеленого цвета, расписанный гирляндами роз. Войдя в салон, Оливье направился к цветам и наклонился над ними, но большие цветы на длинных стеблях ничем не пахли. Между двумя окнами с видом на Эйфелеву башню и дворец Шайо, на низком столике стоял еще один букет. Он был составлен из сухих цветов, пальмовых листьев и перьев; на вершине букета сидела птица с переливающимся оперением, раскрывшая крылья, словно бабочка.

Над букетом сухих цветов висел Гоген с фиолетовыми и пурпурными женщинами и желтой лошадью, над клавесином — купальщица Ренуара,

вся залитая солнцем, посреди стены напротив окон — большой портрет строгого кардинала в красном; краски на нем немного потрескались.

Глядя на портрет, Оливье нашел у кардинала глаза и нос Патрика, и когда появилась мадам Вибье, ему показалось, что в салон вошел сам кардинал, только коротко подстриженный, без бороды и без мантии.

Он встал. Мадам Вибье направилась к нему, улыбаясь и протягивая руку. Патрик быстро вытащил из-под полы куртки правую руку, в которой держал голубя, переложил его в левую руку и протянул правую мадам Вибье.

Его правая рука была в крови, а голубь в левой был мертв.

— Боже мой, — воскликнула мадам Вибье, — вы охотитесь на голубей?

— Как охочусь? — ошеломленно пробормотал Оливье.

— Бедная птичка! Какой ужас!

Мадам Вибье прижала руку к груди, не отводя взгляда от голубя, головка которого, с раскрытым клювом и помутневшим глазом, свисала между большим и указательным пальцами Оливье.

Оливье почувствовал, что его лицо стало багровым от смущения и гнева. Как можно было подумать, что он… Его уши пылали. Он швырнул голубя к ногам кардинала и в несколько шагов пересек салон. У выхода он ошибся дверью, сунулся в гардероб, потом в кабинет, наконец обнаружил нужную дверь, скрытую портьерой сливового цвета, хлопнул дверью, добежал до середины Марсова поля, потом до Военного училища. Здесь он почувствовал, что ледяной воздух обжигает ему легкие. Он закашлялся и остановился.

— А что, по-твоему, она могла подумать? — спросил Патрик. — Поставь себя на ее место…

Он смотрел на Оливье дружелюбно, слегка иронично. Они сидели на террасе кафе. Оливье пил апельсиновый сок, тогда как Патрик заказал минеральной воды.

Патрик был очень похож на свою мать; можно сказать, он был ее уменьшенной копией. Такой же высокий, как мать, он был слишком тощ. Казалось, что жизненные силы рода исчерпались после того, как построили его скелет, вытянутый кверху. И у них ничего не осталось, чтобы нарастить плоть на этот костяк. Его светлые волосы были подстрижены почти «под ноль» с короткой прядкой спереди. Очки без оправы сидели на большом тонком носу со следами перелома, слегка свернутом набок, точно так, как у матери и у кардинала. На месте зажившего перелома сквозь тонкую кожу слегка просвечивала кость. Большой рот, бледные губы, любящие жизнь. Они могли бы принадлежать гурману, если бы под кожей было больше крови. Небольшие уши идеальной формы. Девичьи уши, как в шутку говорила мать. Одно ухо, каждый раз другое, было более розовым, в зависимости от солнца или от направления ветра. Улыбка открывала идеально белые зубы, слегка прозрачные на концах. Они казались новыми и хрупкими.

При всей бледности, худощавости и хрупкости в нем неожиданно проявлялось нечто твердое: взгляд карих глаз, необычно внимательный и живой.

— Что ты делал сегодня дома? — спросил он.

— Карло только что сказал мне, что ты уезжаешь, я подумал, что ты еще можешь изменить планы…

— Ты же знаешь, что я давно все решил…

— Я всегда думал, что это просто слова, но когда узнал, что ты на самом деле уезжаешь…

— Да, я еду завтра.

— Ты свихнулся! Их же восемьсот миллионов!

— Пятьсот!

— Пусть пятьсот. И ты считаешь, что этого недостаточно? Что им нужен еще ты, чтобы копать колодцы?

— Там, куда я еду, все именно так…

— Глупости! Ты едешь не для них, а для себя… Ты просто хочешь сбежать, ты дезертируешь…

Совершенно спокойный Патрик, слегка улыбаясь, смотрел на Оливье.

— Все что мы делаем, мы делаем прежде всего для себя. Даже Иисус на кресте. Он был не очень доволен тем, какими стали люди. Это постоянно терзало его. И он сделал так, чтобы его распяли, чтобы избавиться от душевных мук. Конечно, физически он страдал, но зато потом смог обрести покой.

— И ты думаешь, что Бог все еще спокоен, наблюдая за нами со своего облака? Он спокоен, твой бородач?

Улыбка исчезла с лица Патрика.

— Не знаю… Не думаю, что… — Он повторил едва слышно: — Не думаю, что… — Он стал крайне серьезным и пробормотал: — Наверное, он снова страдает. Наверное, нужна новая жертва…

— Не смеши меня, — бросил Оливье. — Ты просто хочешь сбежать от нас в Индию, ты всегда исчезаешь в нужный момент, бросаешь всех…

— Я совсем не нужен вам… Здесь хватает крепких парней…

— Согласен! Чтобы наломать дров, когда мы возьмемся за дело, ты нам не нужен. Но таких типов, как ты, всегда будет не хватать, когда придется строить все заново. Нужно будет придумывать что-то совершенно новое! Ты слышал, Коэн говорил вчера вечером, что нужно будет создать новые основы! Самое главное, это определить отношения человека с…

Патрик зажал уши руками. Он сморщился так, словно слышал скрежет железа по стеклу.

— Прошу тебя, — сказал он. — Все это слова и слова, разговоры и снова разговоры! Они меня переполнили, я не могу ничего больше слышать, у меня ваши слова уже выливаются из ушей!

Он вздохнул и отпил глоток минералки.

— Разговоры? Это совсем не разговоры, — сказал несколько озадаченный Оливье. — Просто нужно…

— Ладно, хватит, — спокойно произнес Патрик. — Каждый раз, когда отец с матерью дома, я слышу, как они говорят о мерах, которые нужно предпринять, чтобы бороться с голодом в нашем мире, о планах, которые нужно разработать, чтобы помочь несчастным… А если их нет дома, значит, они где-то выступают с докладом о том же самом перед своими комитетами или подкомиссиями в Женеве, в Брюсселе, в Вашингтоне, в Сингапуре или в Токио, везде, где можно найти достаточно большой зал для делегатов со всего света, которые тоже рвутся выступить с речью о том, как победить голод! И ты, и твои приятели точно такие же! Вы только говорите, все время говорите, но ваши слова остаются пустой болтовней. Что такое общество потребления? Бессмысленное сочетание звуков! Два слова, произнося которые, вы всего лишь щекочете себе глотку, а заодно и мозги! Маленькое удовольствие… Ваши слова — просто словесная мастурбация. Ты что, знаешь общества, которые не потребляют? Но я действительно знаю. Взять хотя бы то общество, куда я еду. Люди там спят на земле и ничего не потребляют, потому что им нечего потреблять. А в это время повсюду произносятся речи. Вы болтаете, а превратившиеся в скелеты люди в это время умирают. У них нет даже такого утешения, как знание того, что о них заботятся, что рано или поздно для них будут придуманы новые основы общества. Даже если ваша революция произойдет на следующей неделе, им будет все равно, потому что к этому времени они уже загнутся…

— Ничего себе! — сказал Оливье. — И это говорит человек, который не любит речей!

— Я закончил, — бросил Патрик. — Я уезжаю. Я уезжаю, потому что мне стыдно. Стыдно за нас всех. Я буду копать, как ты говоришь, небольшие ямки в песке. И даже если мне удастся извлечь из песка всего несколько капель воды, чтобы вырастить редиску, которую человек съедает за несколько секунд, все равно это будет дело, а не слова.

Потом наступил май. Пока тянулась зима, Джейн постепенно забыла страшный шок, испытанный ею ноябрьским днем, когда туман затопил город, словно мертвая река. Но слово «забыла» будет не совсем точным. Черно-белая картинка, застывший кадр остались запечатленными в памяти, но она уже не придавала им значения. В ее мире не было больше ничего трагического, все вокруг нее переменилось.

Она не вернулась в дом к отцу. Ее мать жила в Ливерпуле, где снова вышла замуж. Ее мужем стал человек, имевший суда на всех морях. Теперь Джейн понимала, почему мать решилась на развод. Может быть, только потому, что ее отец остался один, он… В общем, неважно. Ее отец — человек свободный. Свен говорил ей: свобода, любовь. Love. Любовь ко всему живому. Бог — это любовь. Человек должен вновь найти дорогу к любви. Пройдя ее, он найдет Бога. Иногда Свен давал ей затянуться марихуаной. И тогда она снова погружалась в туманную реку, но теперь туман был розовым и теплым, ей было хорошо в тумане, ее охватывала дремота и все мерзости жизни куда-то исчезали.

Она жила вместе со Свеном, Карлом и Брижит в комнате, которую снимал Карл. Там стояли две кровати, газовая плитка и керосиновый обогреватель. Свен украсил стены рисунками цветов.

Карл и Брижит приехали из Гамбурга. После того как Свен рассказал им о Катманду, они решили отправиться туда вместе с ним. Вечерами они зажигали керосинку и несколько свечей. Они не любили электричество. От пламени свечи Свен зажигал сигарету, и они передавали ее друг другу. Такие сигареты найти было нелегко, и они стоили очень дорого. В Катманду гашиш продается на базаре, естественно, совершенно свободно, как перец в Европе. И никто ничего вам не запрещает. Это страна, где рядом со всеми присутствует Бог. Свобода. Love. И гашиш там ничуть не дороже, чем перец. Может быть, даже дешевле.

День за днем Джейн чувствовала, как скорлупа страха, эгоизма, запретов, обязанностей и упреков, которую создали вокруг нее воспитание и отношения с другими людьми, постепенно раскалывается, рассыпается и опадает. Она сознавала себя освобожденной, ей казалось, что она родилась во второй раз в мире, где люди не сражаются между собой, а протягивают друг другу руку с дружеской улыбкой.

Свен объяснил ей, что общество, которое заставляет и запрещает, очень плохое. Оно делает человека несчастным, потому что человек создан для свободы, как птица в лесу. Ничто никому не принадлежит, и все принадлежит всем. Деньги, которые позволяют накапливать личное богатство, — это зло. Работа, если она является обязанностью, — тоже зло. Нужно расстаться с этим обществом, жить за его рамками. Бороться с ним тоже плохо. Насилие — это зло, потому что оно создает победителей и побежденных, заменяя прежнее принуждение новыми обязанностями. Все отношения между людьми, не имеющие ничего общего с любовью, — тоже зло. Нужно бросить это общество, уйти из него. Когда тех, кто покинет его, будет много, оно рухнет само собой.

Потом, когда Свен брал гитару и начинал петь, Джейн чувствовала себя свободной, окрыленной. Она знала, что общество, в котором она жила раньше, абсурдно и отвратительно. Теперь она оказалась вне его. Она могла теперь смотреть на него как на тюрьму, из которой только что

вышла. Там, за железными воротами и стенами, щетинящимися осколками стекла, заключенные продолжают сражаться, уничтожая друг друга. Она жалела их, любила их, но ничем не могла помочь им. Они должны сами постараться найти выход. Конечно, она могла звать их, протягивать им руку, но она не в состоянии разбить ворота. Теперь она находилась снаружи тюрьмы, ее окружали солнце и покой, она была с друзьями, с любовью. Побросав свои доспехи и оружие, они остались нагими и свободными.

Сигарета переходила из рук в руки, Свен пел, повторяя имя Бога. God. Love. Есть туман за стенами их комнаты или нет, им все равно. Свечи заливали их комнату золотым светом. Запах марихуаны смешивался с запахами воска и керосина. Они свободны. Они занимались любовью, немного, как во сне. Love.

Чтобы пересечь границу, Джейн нужны паспорт и разрешение отца. Она пришла к нему и сообщила, что уезжает. Полиция пригнала ее машину после туманного дня. Отец никому не сказал об исчезновении дочери, опасаясь скандала. Он обратился в частное агентство, контору весьма серьезную, и очень быстро получил сведения о дочери.

Он врач. И он сразу обнаружил марихуану, посмотрев в глаза Джейн. Встревоженный, он протянул руку и прикоснулся к ней. Джейн улыбнулась. Ему показалось, что эта улыбка пришла к нему из бесконечной дали, преодолев годы и пустоту. И он отдернул руку.

Она решилась на долгое и опасное путешествие. Он знает это. Но он не может ничего поделать, ничего сказать, он утратил право запрещать и советовать. Он предложил ей денег, но она отказалась. Несколько мгновений они смотрят друг на друга, потом он вздохнул: «Да поможет тебе Бог…» Она смотрит на отца и раскрывает рот, чтобы поговорить с ним, но продолжает молчать. Потом она уходит.

Они уехали, плотно заполнив небольшой автомобильчик лимонно-желтого цвета. В Милане у них закончились деньги. Джейн продала машину и кольцо, Брижит рассталась с золотым ожерельем. Вырученных денег хватило на четыре билета на самолет до Бомбея. Свен мечтал пересечь Индию, прежде чем попасть в Непал, но в консульстве им отказались выдать визу, пока они не предъявят обратные билеты. Индия не может принимать и содержать бесполезные рты. Тогда они обменяли два прямых билета на два обратных, а на оставшиеся лиры купили подержанный мотоцикл и немного долларов, которые разделили пополам.

Карл и Брижит проводили Свена и Джейн в аэропорт. Они видели, как самолет оторвался от земли и устремился в небо, опираясь на четыре столба серого дыма. Потом он развернулся, словно странствующий голубь, старающийся уловить призыв Востока, и исчез за горизонтом, над которым каждое утро встает солнце.

Карл сел за руль мотоцикла, Брижит устроилась позади него. Ловким движением ноги он запустил двигатель, заставив его выплевывать шум и дым в ознаменование радостного отправления. Потом они медленно тронулись на восток, в Югославию, Грецию, Турцию, Иран, Афганистан, Пакистан, Индию, Непал… В Катманду.

Это было замечательное путешествие. Они были свободны, время не имело для них значения, у них было достаточно долларов на бензин. С пропитанием, решили они, будет видно потом. А для ночлега у них всегда было место под небом.

Мотоцикл был красным, Карл был рыжим. Его волосы падали густыми прядями на плечи, словно у вельможи XVII века. Борода и усы рыжим пламенем обрамляли лицо. Голова с рыжей шевелюрой походила на солнце.

У него были полные, розовые губы и большие глаза, сиявшие весельем. Для защиты глаз он купил темные очки, огромные, словно иллюминаторы, а чтобы волосы не падали на лицо, он использовал ленту из зеленого шелка, завязав ее узлом на затылке. На нем были штаны с разноцветными вертикальными полосами и рубашка цвета ржавчины с изображениями подсолнечников. Тоненькая Брижит сидела позади, прижимаясь к широкой спине, обхватив Карла руками за талию. Ее клонило в сон, потому что она с утра курила марихуану. На ней были джинсы и бледно-голубая рубашка из хлопка, а также ожерелье из древесины оливы. Ее черные волосы были коротко подстрижены без намека на фасон. Она расправлялась с ними самостоятельно, вооружившись ножницами.

Их путешествие закончилось, когда они проделали около половины пути. К этому времени они давно расстались с мотоциклом, много раз выходившим из строя, с покрышками, превращенными в лохмотья каменистыми дорогами. Кроме того, все труднее и труднее было добывать бензин. Дальше они продвигались пешком по бесконечной пустынной дороге от одной жалкой деревушки до другой; изредка их подвозили грузовик или допотопная легковушка. Они были изнурены отсутствием наркотика и голодом, раздавлены жаждой и пылью, обожжены солнцем.

В этот день они долго шагали по безлюдной местности, не встречая ни человека, ни животного, преследуемые и терзаемые тучей мух. Оводы, привлеченные запахом пота, кружились вокруг них в надежде улучить мгновение, чтобы сесть на обнаженную часть тела и вонзить в него свое жало. По обеим сторонам дороги до горизонта и за него тянулась обожженная солнцем местность с красными холмами, изрезанными водой и ветром, без единого деревца, без единой травинки. Садившееся за их спинами солнце бросало на дорогу перед ними все более и более длинные тени, на фоне которых выделялись белые пятна камней. Они продолжали идти, несмотря на усталость, в надежде добраться к наступлению ночи до какой-нибудь деревни, где, возможно, найдется не только вода, но и немного еды. У каждого из путников за спиной висел небольшой завязанный веревкой мешок со скудным имуществом. У Брижит когда-то он был белый, у Карла желтый, но теперь оба они стали одинакового цвета от рыжей пыли, превращенной потом в замазку.

Карл первым услышал шум двигателя. Он остановился и обернулся. К ним приближалось облако пыли, окрашенной огромным шаром солнца в багровый цвет. Потом они увидели грузовик. Когда он приблизился, Карл замахал руками, и грузовик остановился. Это был старый немецкий грузовик, прошедший, по крайней мере, три войны. Ветровое стекло было усеяно трещинами, дверцы отсутствовали. За рулем сидел почти черный великан с бритым черепом. Он смотрел на Карла, и под его пышными усами змеилась улыбка. Сидевшие рядом двое мужчин смеялись и выкрикивали что-то. В кузове на груде кирпича сидели мужчины; их было около десятка. Некоторые из них носили местные одеяния, на других была изношенная до лохмотьев европейская одежда. И тех, и других покрывал густой слой пыли. Смеясь, они махали путникам руками, предлагая забраться к ним. Кузов был очень высоким. Карл подтолкнул вверх Брижит, у которой совсем не было сил. Какой-то усач подхватил ее за руки и поднял, словно перышко. За ней в кузов забрался Карл. Грузовик зарычал и тронулся с места. Один из мужчин усадил Брижит перед собой на груду кирпича и со смехом схватил ее за грудь. Она ударила его по руке, стараясь высвободиться. Тогда он наклонился, ухватил рубашку за самый низ и резко рванул кверху, заставив ее этим движением поднять руки, несмотря на сопротивление. Сидевший позади нее другой мужчина уже рвал бретельки ее лифчика. Карл кинулся на них. Кто-то ударил его по голове кирпичом.

Кирпич раскололся. Карл упал. Они повалили Брижит на кирпичи. Некоторое время, пока они сдирали с нее джинсы, она еще сопротивлялась. При виде небольших бледно-голубых трусиков все дружно расхохотались. Теперь они держали ее за руки и за ноги так, что она не могла шевельнуться. Первый из мужчин быстро закончил с ней. Следующий тут же вдавил ее в кирпичи своим весом. После четвертого она потеряла сознание. Водитель остановил грузовик и вместе с напарниками забрался в кузов.

Солнце садилось. Небо на западе было багровым, словно раскаленное железо; с противоположной стороны горизонта на совершенно черном фоне ярко светилась большая звезда.

У водителя не хватило терпения дожидаться своей очереди. Он схватил Карла, валявшегося без сознания с залитой кровью головой, и сбросил его на землю. Потом он содрал с него одежду и принялся забавляться. Спустившиеся за ним напарники, среди которых был старик с белой бородой и грязным тюрбаном на голове, со смехом наблюдали за ним.

Боль заставили Карла очнуться, и он закричал. Старик заткнул ему рот босой ногой. Подошва ноги была похожа на потрескавшийся камень. Карл отвернул лицо и с криком забился, пытаясь высвободиться. Старик наклонился и перерезал ему горло ножом. Нож был самодельный, с длинным кривым лезвием и белой, инкрустированной медью костяной рукояткой. Это был красивый, искусно сделанный нож, мечта любого туриста.

Когда все, включая старика, удовлетворили свою похоть, кто с Брижит, кто с Карлом, а некоторые с обеими жертвами, они раздробили Брижит голову кирпичом и оттащили обнаженные тела за ближайший придорожный бугорок. Они не забыли содрать кольцо с пальца Карла, а также ожерелье и браслет с Брижит; забрали они и всю их одежду.

Зловещий горизонт тускло светился, словно угасающие угли. Огненная каемка бросала багровые отблески на тела, выпачканные в крови и сперме.

За холмами неподалеку завыл голодный дикий пес; к нему присоединились другие голоса из глубин надвигавшейся ночи.

Грузовик тронулся в путь, плюясь дымом и гремя рессорами. В кузове мужчины с оживлением потрошили рюкзаки; то и дело вспыхивал спор из-за какой-нибудь мелочи. Старик повесил себе на шею ожерелье из кусочков дерева. Он радостно смеялся. Его открытый рот походил на бездонную черную дыру. Водитель включил фары. Горела только левая. Правой не было совсем.

Это было в мае 1968 года, в понедельник, который на следующий день газеты назвали «красным понедельником» только потому, что еще не знали, что за ним последуют другие, еще более красные дни. Студенты, уже несколько недель разрушавшие факультет Нантерр, объявили в субботу, что во вторник они проведут демонстрацию возле Сорбонны. Это можно было сравнить с объявлением о том, что они собираются разжечь костер на сеновале. Естественно, при этом могла сгореть вся ферма. И они это знали. Можно было не сомневаться, что именно к этому они и стремились. Поджечь весь балаган. Известно, что зола — это хорошее удобрение для нового урожая.

Суета вокруг баррикады постепенно усиливалась. Студенты выдирали из проезжей части улицы куски асфальта и швыряли их в полицейских. Те возвращали эти подарки обратно. Некоторые студенты выскакивали из-за баррикады, чтобы выпустить свой снаряд с разбегу, сопровождая криками траекторию его полета. Все это напоминало танец, живой и легкий, его участники были молодыми и стройными, движение переполняло их, словно приподнимая над землей. На перекрестке с улицей Сены быстро росла толпа. Небольшие группы отделялись от нее и подходили к баррикаде, чтобы принять участие в метании в полицейских камней и кусков асфальта.

Полицейские начали отвечать им гранатами со слезоточивым газом; те взрывались с негромким хлопком, испуская белый дым, стелящийся над самой землей. Нападавшие тут же разбегались в стороны от пораженной зоны, затем снова переходили в наступление, вызывая этим очередную порцию гранат. Движение людской массы напоминало быстро чередующиеся приливы и отливы.

В действиях студентов некоторое время сохранялось нечто непринужденное, словно они развлекались забавной игрой. Но это продолжалось недолго, словно это было время перед бурей, когда еще под голубым небом возникают редкие порывы сильного ветра, срывающие листья с деревьев и позволяющие почувствовать приближение урагана. Если повернуться спиной к горизонту, над которым уже навис пронизанный зарницами мрак, то видны только деревья, которым ветер настойчиво предлагает освободиться от рабства корней. Они со стонами клонятся в разные стороны в безуспешных попытках взлететь.

Посреди зародыша баррикады, взгромоздившись на самый большой ящик, возвышался Оливье. Он что-то кричал, размахивая руками. Он был в своей куртке из коричневого бархата, за спиной у него развевался конец обмотанного вокруг шеи оранжевого шарфа, связанного бабушкой. Сегодня утром она заставила его надеть этот шарф, потому что он кашлял и у него начало побаливать горло.

Длинные шелковистые волосы обрамляли его лицо, скрывая еще детские ямочки на щеках. Матовая, словно покрытая загаром кожа сильно побледнела от усталости. Глаза под черными ресницами, такими густыми, словно он их накрасил, казались спелыми орехами, упавшими в траву и поблескивавшими от росы в лучах утреннего солнца.

Жестикулируя правой рукой, он призывал товарищей прекратить бесполезную суету и присоединиться к колонне на Данфер-Рошеро. Но окружающие не слышали ничего, кроме биения своих сердец и шума крови в ушах. Они наслаждались беготней и криками. Приливы и отливы все более плотной толпы возбуждали их. Атаки становились более быстротечными и в то же время более опасными; с каждым разом они все дальше продвигались вперед. Все чаще мелькали булыжники и обломки чугунной ограды.

Противостоящие им полицейские образовали плотную группу. Прижавшись плечом к плечу, в касках и черных плащах, блестевших, словно от дождя, они сплотились в массу, пугающую своим молчанием и неподвижностью. Сзади к ним медленно подъехали автобусы с решетчатыми окнами и выстроились в несколько рядов от тротуара до тротуара, на всю ширину проезжей части улицы. Когда перестроение закончилось, люди и машины пришли в движение, напоминая своей угрожающей медлительностью какое-то доисторическое чудовище, от шагов которого дрожала земля. Из черной массы неожиданно выдвинулись мощные водяные хоботы, опрокидывавшие и сметавшие с тротуаров урны, рекламные щиты и людей; они выбивали стекла из окон нижних этажей и врывались в помещения, заливая их. Повсюду падали и взрывались гранаты со слезоточивым газом. В наступавших сумерках струи дыма казались еще более белыми. Студенты быстро рассеялись по боковым улочкам. Полицейские гнались за ними по пятам. На улице Катр-Ван неожиданно проснулся спавший на куче песка клошар. Бывший легионер, еще довольно крепкий, хотя здоровье и было основательно подорвано вином и одиночеством. Увидев людей в мундирах, бездомный бродяга вскочил, вытянулся по стойке «смирно» и отдал им честь.

На перекрестке с улицей Сены полицейских остановил град булыжников. В ответ они засыпали нападавших гранатами. Туман едкого газа поднялся до окон самых верхних этажей. Большие белые облака неторопливо

ползли над крышами зданий. Откуда-то вылетел грохочущий мотоцикл с двумя журналистами в белых масках и больших желтых шлемах, на которых были видны названия их газеты. Сидевший за рулем тут же получил удар булыжника в грудь; под передним колесом мотоцикла взорвалась граната. Мотоцикл упал на бок перед витриной галантерейного магазина. Его хозяин уже опустил решетку на входную дверь. Потрясенный боевыми действиями на улице, он пытался разглядеть через стекло происходящее. Это было началом конца его мира. Потом он попытался спасти висевшие на витрине рубашки, стал торопливо снимать их и передавать жене.

В 5 часов утра мадам Мюре спустилась вниз из своей небольшой квартиры, захватив с собой транзистор. Она пересекла два мощенных булыжником дворика, остановилась на тротуаре и посмотрела сначала направо, потом налево, надеясь увидеть Оливье с обмотанным вокруг шеи шарфом. Но улица Шерш-Миди была пустынной. На исходе ночи мертвенно-бледный свет уличных фонарей казался уставшим. Воздух был насыщен кислым запахом, заставившим ее заморгать, словно она чистила лук. Транзистор мурлыкал какую-то песенку. Ноги отказывались держать ее, и она присела на торчавшую сбоку от ворот тумбу. Промчался дешевый ситроен, гудевший, как большое насекомое. Внутри него сидел только один человек. Она не успела разглядеть, был это мужчина или женщина.

Она знала о событиях в городе благодаря своему транзистору. Баррикады, сожженные машины, сражения между полицейскими и студентами. Из своей квартиры она слышала взрывы, то и дело доносившиеся со стороны улицы Ренн, завывания полицейских автомобилей и сирены машин «скорой помощи», на полной скорости проносившихся мимо. Каждый раз у нее останавливалось сердце. Оливье, мой малыш, мой взрослый внук, мой младенец… Ведь это невозможно, чтобы они увозили тебя? Как только его вынесли из роддома, она взяла его на руки и больше не отпускала. Тогда ему было несколько дней; сейчас юноше было 20 лет. Иногда, когда он был еще малышом, появлялась его мать. Она увозила его на одну-две недели на Лазурный Берег, в Сен-Мориц или Бог знает куда еще. Мать возвращала его уставшим и похудевшим, а иногда простуженным. Он был в восторге от этих поездок, и его голову заполняли истории, ни одну из которых он не мог рассказать до конца. Ночью он просыпался с криком, а днями ходил с мечтательным видом. Проходило много дней, пока он не успокаивался.

По мере того, как он рос, мать все чаще и чаще находила причины, не позволявшие брать его с собой. Оливье так надеялся, что когда-нибудь он вернется вместе с ней к своим прерванным мечтам, но она, появляясь у них, всегда страшно торопилась. Она успевала только поцеловать его, бросала «в следующий раз, пока» и исчезала, оставив ему шикарные шмотки, всегда или слишком большие, или слишком маленькие, которые потом бабушка пыталась поменять. Иногда она оставляла игрушки, не подходящие для его возраста.

После каждого такого молниеносного визита матери, оставлявшего в небольшой квартирке на улице Шерш-Миди долго сохранявшийся аромат дорогих духов, Оливье на много дней или даже недель становился мрачным, сердитым и вспыльчивым.

Иногда мать привозила журналы на разных языках, заполненные ее цветными фото. Встречались среди них даже журналы из Японии и Индии, со странными, похожими на картинки буквами. Оливье увешал стену над своей кроватью фотографиями из этих журналов. Некоторые из них были размером в целую журнальную страницу, другие меньше. Он старательно вырезал их старыми бабушкиными ножницами, а потом наклеивал на листы плотной цветной бумаги, розовые, голубые, зеленые или черные.

Все лица матери, такие разные, в шляпке или без нее, с длинными или короткими волосами, гладкими или волнистыми, черными, светлыми, рыжими или даже серебристыми, с розовыми или кроваво-красными губами, все они имели одну общую особенность: бледно-голубые глаза, большие и казавшиеся удивленными и даже немного испуганными, словно у девочки, впервые увидевшей море. Бесчисленные лица матери занимали всю стену, поднимаясь до потолка небольшой комнаты Оливье. Когда он смотрел на них, то представлял себе небо, на котором у всех звезд были глаза его матери. В большом конверте, лежавшем в ящике его старого письменного стола под тетрадями и разными бумагами, он хранил те фотографии, на которых она была почти обнаженной.

Когда ему исполнилось 17 лет, она подарила ему в день рождения трубку и коробку с голландским табаком. Бабушка заказала торт мокко у кондитера с улицы Ренн. Тот пообещал ей положить в торт только масло, потому что она была постоянной клиенткой. Но торт оказался обычным, на маргарине, с небольшой добавкой масла для запаха. На вывеске его лавки было написано «Кондитерские изделия на сливочном масле», значит, если он клал в торт хотя бы немного масла, то в использовании маргарина не было ничего противозаконного.

Бабушка накрыла на кухне небольшой круглый стол белой скатертью с вышивкой, поставив на стол три тарелки с позолоченным ободком и положив старинные серебряные приборы. В универмаге «Призюник» она купила бутылку шампанского и воткнула в торт 17 небольших голубых свечек. На газовой плите в чугунной кастрюле доходил до кондиции цыпленок с молодым картофелем и зубчиками чеснока. Рецепт этого блюда бабушка получила от мадам Сеньер, родившейся и выросшей в Авиньоне. Трудно представить, каким вкусным, каким нежным может быть мясо, приготовленное таким образом. Это подлинное наслаждение.

Оливье, дежуривший у окна, увидел, как из-под арки, соединявшей два дворика, выскочил небольшой красный «Остин», развернулся почти на месте, попятился до лестницы и замер. Из автомобильчика вышла мама. Она была в кожаном костюме цвета морской волны с очень короткой юбкой, в голубой блузке и с длинным нефритовым ожерельем на шее. Сегодня ее волосы были очень светлыми и гладкими, совсем как у сына. Она нырнула в салон и тут же выпрямилась, держа обеими руками большой пакет из серебряной бумаги, из которого торчал длинный стебель цветущей розовой азалии. На указательном пальце у нее на тесемке висел голубой пакетик, а на сгибе руки — сумочка из зеленой кожи, несколько более темной, чем ее костюм. Весь ее облик говорил о некотором смущении, но она была очаровательна, как всегда.

Счастливый Оливье скатился вниз по ступенькам, чтобы помочь матери.

Бабушка, которой вручили азалию, растерянно покачала головой. Она не представляла, куда можно ее пристроить. Обойдя вместе с азалией обе комнаты, она вернулась на кухню. Цветок был слишком громоздким. В конце концов она поставила его в раковину. Растение поднималось гораздо выше крана, достигая примерно середины шкафчика для продуктов. Листья на боковых ветках дотягивались до спинки стула, на котором сидел Оливье. Азалия всем мешала; теперь по кухне можно было передвигаться только с большой осторожностью. Собравшись с духом, бабушка попросила у мадам Сеньер разрешения поставить растение в ее доме, в столовой. Но как туда его транспортировать? В автобусе ни за что не разрешат. Остается такси. На это потребуется столько денег, сколько мадам зарабатывает за час… Ах, конечно, мама Оливье очень мила, но она, как всегда, ни о чем не подумала.

Оливье уселся за стол, чтобы развернуть пакет с подарком. Он с ужасом увидел кисет из кожи антилопы, очень красивый, с позолоченными

уголками, а также отделанную кожей трубку с чашечкой из пенки и с янтарным мундштуком. Он постарался улыбнуться, прежде чем поднял взгляд на мать, и тут же отвернулся. Ведь он написал ей в начале учебного года, что они вместе с Патриком и Карно решили не курить до тех пор, пока в мире есть бедняки, для которых стоимости всего лишь одной сигареты будет достаточно, чтобы не умереть с голоду. И каждый из них дал клятву. Это была торжественная клятва, настоящий обет. Для Оливье принятое решение было очень важным; он рассказал о нем матери и разъяснил мотивы, толкнувшие его на этот поступок, в длинном письме. Неужели она уже забыла об этом? Может быть, она просто не читает его писем… Ведь в ответ она прислала только открытку… Может быть, она никогда не получала этого письма… Ведь почте приходится гоняться за ней по всему свету…

Он обернулся к матери, которая склонилась над стоявшей на плите кастрюлей, принюхиваясь к поднимавшемуся из нее аромату.

— Ах, как это должно быть вкусно!

Можно было подумать, что перед ней находится редчайшее блюдо, гастрономическое чудо, которое ей никогда не приходилось отведать.

— Как замечательно пахнет! Какая жалость! У меня самолет в четверть третьего… Мне нужно бежать, у меня совсем нет времени. Только бы не было пробок по дороге в аэропорт…

Она торопливо расцеловала сына и мать, поклялась скоро еще приехать, потребовала у Оливье обещание быть умницей, быстро спустилась вниз в сопровождении дробного перестука каблучков, подняла взгляд на окно на втором этаже, улыбнулась и помахала рукой, прежде чем нырнуть в красный «Остин», который заворчал, взвыл сигналом и вихрем исчез в арке между дворами.

Оливье некоторое время стоял, стиснув зубы и играя желваками на скулах. Он смотрел, не отрываясь, на темную арку, под которой скрылся автомобильчик петушиной раскраски.

Державшаяся за его спиной бабушка с тревогой смотрела на внука и молчала. Она знала, что в такие моменты лучше ничего не говорить, все сказанное прозвучит фальшиво, любые слова будут только ранить. Шум мотора красного автомобильчика давно затерялся в отдаленном шуме квартала. Все звуки с улицы достигали второго дворика в виде приглушенного гула, настолько однообразного, что его быстро переставали слышать. Трудно было найти более спокойное место в таком оживленном квартале. Именно это побудило господина Палейрака, витрина мясной лавки которого выходила на улицу, приобрести все левое крыло здания. Здесь он оборудовал современную квартиру с неоновыми светильниками, располагавшимися между выступами на потолке. Бывшую конюшню он использовал как гараж для грузовичка и двух легковых автомобилей. В дальнем отсеке он держал металлические емкости для костей и прочих отходов, за которыми по вторникам приезжал чей-то грузовик. Палейрак говорил, что отходы использовались как удобрение, но большинство жителей квартала было уверено, что грузовик имеет отношение к маргариновой фабрике, тогда как некоторые считали, что из отбросов делают бульонные кубики. Зимой хранилище отходов никак себя не проявляло, но как только наступали теплые дни, этот угол двора начинал испускать ароматы гниющего мяса; запах привлекал больших зеленых мух, заодно посещавших все квартиры.

Оливье отвернулся от окна и медленно подошел к столу. Чтобы пройти, не задев азалию, ему пришлось отодвинуть стул. Остановившись, он взглянул на свою тарелку. Дорогая трубка и шикарный кисет лежали на бумаге, в которую были завернуты. Светло-коричневая лента, которой был обвязан пакет, резко выделялась на белой скатерти. На ленте можно было разглядеть буквы, из которых складывалось название магазина, где были

приобретены трубка и кисет. Оливье завернул их в бумагу и протянул сверток бабушке.

— Послушай, ты ведь можешь продать это… Тебе этих денег хватит, чтобы купить зимнее пальто.

Вернувшись в свою комнату, Оливье снял туфли, взобрался на постель и принялся сдирать со стены фотографии матери, начав с самых верхних. Некоторые из них были прикреплены к обоям с помощью скотча, другие держались на кнопках. Если они не хотели отставать, он отдирал их кусками. Закончив, он пошел на кухню, держа в руках стопку фотографий, как целых, так и сильно испорченных. Он открыл ногой дверцу шкафчика под раковиной, где стояла корзина для мусора, и наклонился под ветками азалии.

— Оливье! — остановила его бабушка.

Он замер на мгновение, потом огляделся, пытаясь найти место, куда можно было бы положить то, что он держал в руках и что больше не хотел видеть.

— Дай-ка мне это, — промолвила бабушка. — Все-таки, не стоит так… Она делает все что может… Если ты думаешь, что жизнь всегда такая легкая…

Она взяла фотографии и отнесла в свою комнату. Она не представляла, куда их деть. Может быть, найдется место в шкафу. Пока же положила их на мраморный столик, а сверху водрузила транзистор. Когда Оливье был дома, приемник она не включала, звуки его раздражали Оливье. Впрочем, когда внук был рядом, она не нуждалась в музыке.

Транзистор радостно сообщил, что беспорядки закончились, последние демонстрации рассеяны, пожары потушены, разборка баррикад вот-вот должна была завершиться. Оливье еще не вернулся. Она была уверена, что внук был ранен и попал в больницу. Страх сдавил ей сердце. Ей показалось, что каменная тумба, на которой она сидела, внезапно рассыпалась под ней, а стена за спиной зашаталась. Она зажмурилась и помотала головой. Нужно собраться и пойти в комиссариат полиции, чтобы навести справки. В тот момент, когда она встала, до нее донеслось тарахтенье мотоциклетного двигателя. Это был Робер, продавец, работавший у Палейрака. Он всегда первым появлялся по утрам в лавке, и у него был ключ от входных дверей. На работу его приняли в 1946 году, сейчас ему было уже 52 года, и клиентов он знал лучше, чем его патрон.

Робер выключил двигатель и слез с мотоцикла. Потом он заметил мадам Мюре, прошедшую мимо него, словно призрак.

— Куда это вы направляетесь так рано? Что с вами?

— Оливье не пришел домой. Я иду в комиссариат. С ним наверняка что-то случилось.

— Перестаньте! Этой ночью он и его приятели устроили приличную кутерьму, так что сейчас они наверняка обмывают свой успех!

— Но он же не пьет ничего! Даже пиво!

— Еще бы, ведь он употребляет только фруктовый сок, и это большой недостаток… Но вам не стоит идти в полицию, туда можно позвонить. Подождите минутку, я сейчас открою лавку, и вы сможете позвонить отсюда.

Робер, высокий сухощавый мужчина со стальными мускулами, быстро закатил мотоцикл во двор. Когда они подошли к телефону, он сказал, что обдумал ситуацию и решил, что звонить в полицию не стоит. Нельзя называть имя Оливье, они обязательно занесут его в свои списки. А тот, кого угораздило попасть в список подозрительных лиц, остается в нем на всю жизнь.

— О Боже мой, — пробормотала мадам Мюре.

Ей нужно было сесть, но стульев в лавке не было, если не считать стула для кассирши, но он был закреплен на своем месте. Робер хотел проводить ее домой, но она ответила, что ей лучше оставаться внизу, потому что в квартире сойдет с ума. И она вернулась к тумбе, на которой сидела. Транзистор снова принялся напевать какую-то песенку. Он всегда по ночам передавал только музыку. То, что он сейчас возобновил музыкальную передачу, можно было считать хорошим знаком.

Оливье вернулся домой без четверти семь. Он был совершенно измотан, но лицо его сияло. На правой щеке у него была черная полоса, куртка спереди тоже была запачкана. Он очень удивился, увидев бабушку на улице. Поцеловав ее, он немного поворчал. Потом, помогая ей подняться по лестнице, принялся уговаривать ее не бояться за него, ведь они были сильнее полиции, и когда в следующий раз население Парижа присоединится к молодежи, прогнивший режим рухнет. И тогда можно будет все перестроить.

Сердце мадам Мюре стучало в груди мелкими частыми ударами, словно у раненой птицы. Она только что решила, что с наступлением утра кошмар закончился; теперь же ей стало ясно, что все только начинается. Чтобы скрыть, как дрожат у нее руки, она занялась хозяйством. Поставив кастрюлю с водой на плиту, она посоветовала Оливье полежать, пока не будет готов кофе. Но когда завтрак был на столе, Оливье уже спал. Его ноги свешивались с постели, потому что он не потрудился снять обувь и ему не хотелось пачкать покрывало. Очень осторожно мадам Мюре сняла с него ботинки и подняла ноги на постель. Оливье приоткрыл глаза, улыбнулся ей и тут же снова заснул. Она достала из шкафа одеяло. Это был американский пуховик из стеганой материи, когда-то красной, но со временем выцветшей до светло-розового цвета. Накрыв внука одеялом, мадам Мюре осталась стоять возле кровати. Когда она видела его, такого спокойного, словно дитя, погруженного в глубокий сон, жизнь снова возвращалась к ней. Он тихо дышал, лицо его расслабилось, мягкие волосы разметались по подушке, слегка приоткрыв уши.

Мадам Мюре вернулась на кухню. Вылила кофе из кружки назад в кастрюлю и поставила на плиту. Когда он проснется, достаточно будет только зажечь газ. Ей теперь нужно бежать к господину Сеньеру, нельзя же бросить беднягу в таком состоянии…

Когда она вернулась вечером домой, Оливье уже не было. Он выпил кофе с молоком, съел тартинки, уничтожил все, что оставалось от баранины, и даже половину курицы. На кухонном столе лежала записка: «Не беспокойся обо мне, даже если я не вернусь домой этой ночью».

Он вернулся только в июне.

В Сорбонне Оливье занимал вместе с Карло небольшой кабинет над лестницей. На двери он прикрепил лозунг, отпечатанный студентами факультета искусств. На нем большими буквами было написано: «ВЛАСТЬ СТУДЕНТОВ». Ниже он сам написал от руки: «Обсуждение круглосуточно». То и дело парни и девушки поднимались к нему по лестнице, входили в кабинет, выдвигали свои идеи, задавали вопросы, затем спускались ниже, заходили в другие кабинеты, задавали другие вопросы, уверенно утверждали одно, сомневались в чем-то другом.

В тусклом свете, просачивавшемся сквозь застекленный потолок, студенческий амфитеатр казался большим свободным рынком, на котором каждый мог расхваливать свой товар.

Оливье иногда приходил сюда посмотреть сверху на ряды сидений, всегда почти полностью занятых. Под ним пестрела мозаика из белых рубашек и разноцветных свитеров, среди которых преобладал красный цвет. Головы на этом фоне казались шарами. На трибуне перед черным

и красным флагами сменяли друг друга ораторы. Слушая их, Оливье начинал нервничать, потому что не всегда понимал, что они хотели сказать. Ему казалось, что их фразы путаные, расплывчатые, туманные, что они просто зря теряют время в словесных поединках, тогда как на самом деле все очень просто: нужно уничтожить старый мир и построить новый, основанный на справедливости и всеобщем братстве, мир без классов, без границ, без ненависти.

«Власть студентов». Да, именно студентам принадлежала привилегия овладеть культурой и привести своих братьев-рабочих к жизни, свободной от капиталистического рабства и гнета социалистической бюрократии. У них начинало сильнее биться сердце, когда они слышали старый лозунг Республики: «Свобода, Равенство, Братство». Этот лозунг содержал в себе все. Но с тех пор как буржуазия начертала эти слова на фасаде мэрий, в которых она регистрировала имена своих рабов, и вышила их на своих знаменах, под которыми увлекала рабов на бойню, три великих слова стали ложью. Теперь они скрывали то, что было их противоположностью, а именно — эксплуатацию, неравенство, презрение. Это нужно было сжечь в кострах революции, пламени радости. Так просто. А все эти типы с микрофоном, расчленявшие идеи и насиловавшие мух, могли только задушить Революцию своими пустыми фразами.

Однажды вечером, покинув галерею, он написал мелом на стене в коридоре: «Эх вы, горе-ораторы!» и подчеркнул их с такой яростью, что кусочек мела раскрошился. Он вышвырнул то, что оставалось у него в руке, пожал плечами и вернулся в свой кабинет. Там он увидел девушку, присевшую на край стола и о чем-то спорившую с Карло. Оливье смутно вспомнил, что она, кажется, как и он, тоже готовила диссертацию по социологии. Время от времени он видел ее на лекциях. Говорили, что ее отец известный банкир. Ее звали Матильда.

Карло, вскочив со своего места, выполнял перед ней свой стандартный номер итальянского обольщения. Он говорил, ходил взад и вперед, улыбался, жестикулировал, направляя руками свои слова к собеседнице. Она не сводила с него ледяного взгляда. Похоже, что Карло излагал ей точку зрения Оливье на роль, которую должны были играть студенты в интересах пролетариата. У него было не слишком много собственных идей, чаще всего он был эхом своего друга.

Наконец, она прервала его сухим тоном:

— Ну и претензии же у вас, однако! И чему вы собираетесь научить рабочих? Вам самим было бы неплохо знать хоть что-нибудь! Вот ты, например, что ты знаешь? Чему тебя научили на факультете?

— Нас научили мыслить! — вмешался в разговор Оливье.

Девушка повернулась к нему:

— Так ты, значит, мыслишь? Тебе крупно повезло!

Она встала.

— Ваша «Власть студентов» — это развлечение для простофиль... Ты знаешь, что сделал Мао со студентами? Да, он пустил их на заводы, но не просто так, а поставил к конвейеру! А профессоров отправил на сельскохозяйственные работы! Убирать навоз!

— Я знаю, — пожал плечами Карло, — но какая польза от этого?

— А ты? Какая польза от тебя? Вы сожгли несколько ржавых машин, а теперь напускаете словесный туман... Вы заняли Сорбонну вместо того, чтобы разрушить ее! Вы не убили ни одного жандарма! Они все в строю, красные и жирные, всего в сотне метров отсюда. Они перебрасываются с вами мячиком, в то время как вы усыпили себя своими речами. А они ждут, пока им не скомандуют вышвырнуть вас вон! «Власть студентов»! Мне смешно! Власть над моими яйцами!

— У тебя их нет, — возразил Карло.

— У тебя тоже! Вы мелкие буржуа, вы законченные кретины!

— Конечно, — возразил Оливье, — уж тебя-то к мелкой буржуазии не отнесешь. Ты ешь с золотой посуды и ковыряешься в икре с того дня, как родилась...

— Считай, что меня тошнит от вас, как от протухшей икры.

Она выскочила из кабинета, резко хлопнув дверью. Карло дернулся, чтобы бежать за ней, но остановился. Он был бы рад показать ей, что обладает тем, чего, по ее словам, они все были лишены. Но с такой девицей будет столько хлопот... Ее придется долго уговаривать, доказывать, что он… Нет, такие дела его не устраивали. Если девушка продолжает спорить с тобой даже во время оргазма, то от этого пропадает всякое удовольствие. Пусть она использует для удовлетворения свою «Красную книгу»...

Это было странное воскресенье, день, когда все взрослое парижское население решило посетить своих детей, окопавшихся в Латинском квартале. Погода была замечательная, и казалось, что сегодня праздник. Парижане в новых куртках и их жены в легких весенних нарядах толпились на тротуарах бульвара Сен-Мишель или на площади Сорбонны вокруг юных ораторов, торжественно излагавших свои мысли. Бродячие торговцы, пользуясь неожиданным наплывом публики, раскладывали прямо на асфальте свои товары: портфели, галстуки, открытки, дешевые украшения, сверкавшие на солнце. Какой-то старикан с желтой бородой продавал бумажных китайских драконов.

Двор Сорбонны, коридоры и лестницы заполнялись медленно ползущей людской массой. Любопытствующие с удивлением читали надписи на стенах и расклеенные повсюду листовки. Расположенная вертикально на стене фраза начиналась выше человеческого роста и заканчивалась на полу лестничной площадки. Она грозно приказывала: «Опустись на колени и смотри!» Смотреть, кроме пыли, было не на что.

Старые надписи мелом на стенах начали осыпаться. «Забудь все, чему тебя научили, начни мечтать!» Кто-то зачеркнул слово «мечтать» и написал сверху «разрушать». Другая рука зачеркнула «разрушать» и надписала «трахать». Напротив дверей кабинета Оливье с надписью «ВЛАСТЬ СТУДЕНТОВ» свежая, написанная с помощью пульверизатора надпись утверждала: «Профсоюзы — это бордели». Любопытные входили в комнату, пялились на четыре стены, на небольшой стол и стулья. Иногда очередной посетитель присаживался, чтобы немного отдохнуть. Потом уходил, унося с собой удивление и неудовлетворенное любопытство.

У Матильды появилось желание снова увидеть Оливье. Она вспомнила его слова: «Нас научили думать» или что-то вроде того. Его нужно было уберечь от этой чудовищной ошибки. В тот раз она слишком быстро ушла. У него был вид парня с головой. Она подумала об Оливье, проснувшись в номере жалкого отеля, где провела ночь с каким-то негром исключительно из-за антирасистских побуждений. Секс с черным оказался не лучше, чем с белым. Потом она хорошо выспалась. Он разбудил ее утром, когда ему захотелось повторить. Когда она оттолкнула его, он замахнулся, но был остановлен взглядом девушки. Матильда подумала о двух парнях в маленьком кабинете над лестницей, и в особенности о юноше с карими глазами и мягкими волосами, обрамлявшими лицо. Да, этот тип верил, но то, во что он верил, было глупостью. Поэтому она и вернулась, чтобы переубедить его.

В кабинете над лестницей она застала только любопытных. Карло в это время находился на площади Сорбонны. Он сидел верхом на спине статуи какого-то мыслителя и забавлялся, рассматривая уличного торговца,

решившего в этот день заменить свой обычный набор шариковых ручек политическими брошюрами, поносившими Дассо и Ротшильда.

Оливье прогнало из кабинета отвращение, которое у него вызывали любопытные. Сначала он попытался агитировать вошедших, но те или несли в ответ полнейшую чушь, или просто пялились на него, словно он только что вылез из летающей тарелки. Поэтому Оливье решил пообедать у своей бабушки. Он застал ее в совершенно расстроенных чувствах: господин Сеньер внезапно скончался в ночь с пятницы на субботу. Его сбили с толку последние события, он не мог понять происходящее и перестал сопротивляться болезни. Все это время, когда он отказывался умирать, никто не мог подумать, что он был так близок к смерти. И на этом у несчастного проблемы не закончились: погребальные конторы бастовали, и похоронить его было некому. После того как мадам Сеньер обратилась в комиссариат, прибыли солдаты с гробом, оказавшимся слишком коротким. Нужные размеры из-за забастовки определить было некому, а поэтому солдатам пришлось погрузить беднягу в кузов грузовика, завернув его в одеяло. Мадам Сеньер даже не представляла, куда его увезли, и она закрыла лавку на весь день, хотя была суббота, когда все так хорошо продается; покупатели эти дни разбирали все подряд, консервы, рис, сахар, все съедобное; они были напуганы.

Матильда спустилась вниз и больше решила не подниматься наверх. Любопытные постепенно исчезли из Сорбонны и Латинского квартала. На улицах возобновились беспорядки. Матильда присоединилась к небольшой, но очень деятельной группе, непонятно откуда разжившейся электрическими пилами, чтобы спиливать деревья, ломами, чтобы выворачивать булыжники из мостовой, касками для мотоциклистов, а также черенками лопат и предназначавшимися для боевиков герметичными очками для защиты от слезоточивого газа. Во время дневного затишья члены группы ходили по факультетам, выдвигали на голосование резолюции, создавали комитеты действия. Матильда вскоре забыла двух парней из небольшого кабинета. Карло забыл Матильду. Но Оливье не забыл ее. Его поразило сказанное девушкой. Конечно, его не могла распропагандировать дочка миллиардера, увлекавшаяся маоистскими идеями, но некоторые ее фразы затронули в нем какие-то струны. Да, слишком много слов, да, чересчур выпячиваются претензии интеллектуалов. Да, среди них слишком много мелкобуржуазных придурков, которые примкнули к движению ради ничем не грозивших им небольших революционных каникул. Драться с полицейскими, бить стекла, жечь автомобили, выкрикивать лозунги — все это гораздо увлекательнее, чем обычная вечеринка. Как только появлялась малейшая угроза, они тут же бросались под родительское крылышко. Когда этой публике удавалось добраться до микрофона, они начинали поносить общество потребления, хотя сами с удовольствием потребляли его блага с младенческого возраста.

Да, правда была на стороне рабочих. Потому что они ощущали ее на своей шкуре, всю жизнь испытывая угнетение и несправедливость. Оливье заметил, что даже когда он хотел оформить свои мысли для себя, не высказывая их, он снова и снова мусолил те же пустые образы, те же жалкие клише, что и эти ничтожества, вцепившиеся в микрофон. Нет, пора было перестать *говорить*, даже если это внутренний монолог, нужно было *действовать*.

Он увлек Карло в группу, отправившуюся в Бийанкур, чтобы передать бастующим рабочим Рено слова дружбы и поддержки со стороны восставших студентов. Однако прием, оказанный им бастующими, оказался более чем сдержанным. Они никому не позволили пройти на территорию занятого забастовщиками завода. Еще бы, можно подумать, что им не хватало

только этих пацанов, чтобы добиться своих целей. Ни один из рабочих, включая самых молодых, не мог поверить в то, что существует революция, за которой не последуют настоящие репрессии. Эти баррикады в Латинском квартале были всего лишь играми избалованных ребятишек. Жандармы, разумеется, надевали мягкие перчатки, прежде чем атаковать детей из буржуазных семей. Избиение дубинками было всего лишь несколько более серьезной разновидностью отеческой порки. Другое дело, когда рабочие принимаются выворачивать булыжники из мостовых. Тогда с ними не церемонятся, в них стреляют. Вместо дубинок в ход идет свинец. Но буржуа не могут позволить, чтобы стреляли в их детей. Они установили свой порядок в 89-м году[1], ликвидировав с помощью гильотины целый класс. Точно так же они уничтожили бы и рабочий класс, если бы им не были нужны те, кто производит, и те, кто покупает. Но они не могли убивать своих детей, даже если те ломали мебель и поджигали портьеры.

Рабочие и студенты смотрели друг на друга через решетку заводских ворот. Иногда они обменивались ничего не значащими фразами. Полотнище с надписью «Союз студентов и рабочих» вяло свисало к земле между двумя палками. У знамен, красного и черного, вид тоже был весьма усталый. Требовалось немного ветра, немного энтузиазма, чтобы они начали развеваться. Вместо этого имелась лишь решетка запертых ворот, и люди за воротами, казалось, защищали двери, в которые стучалась дружба. У Оливье внезапно возникло ощущение, что он находится в зоопарке перед клеткой, куда помещены животные, у которых украли свободу, хотя они предназначены для жизни на просторе. Посетители пришли в зоопарк, чтобы сказать зверям что-нибудь приятное и побаловать их лакомствами. Они считали себя добрыми и щедрыми. Но они находились с той же стороны решетки, что и охотники и тюремщики. Какой-то студент просунул сквозь ограду что-то из собранного в знак солидарности. Оливье стиснул зубы. Только этого дурацкого арахиса здесь и не хватало! Он плюнул и в ярости бросился прочь. Карло ничего не понимал. Что с тобой? Что за блоха тебя укусила?

Вернувшись в Сорбонну, Оливье сорвал плакат с надписью «Власть студентов» с дверей кабинета. Потом во фразе «Обсуждение круглосуточно» он зачеркнул слово «круглосуточно» и написал над ним крупными буквами «закончено!» с жирным восклицательным знаком.

Он яростно дрался при каждой стычке с полицией. Во время страшной ночи 24 мая он вскарабкался на гребень баррикады и принялся осыпать фараонов ругательствами. Неожиданно ему пришла в голову мысль, что он просто позирует, участвуя в живой картине и пародируя историческую личность, но картина остается всего лишь картиной; фараоны не будут стрелять, и он, окровавленный, не падет на баррикаде. Более того, в каске и в больших очках он выглядел, как персонаж комиксов для подростков, мечтающих о фантастических приключениях. Он содрал с себя каску и очки и отшвырнул их. Схватив рукоятку от лопаты, он бросился вперед. Перед ним на красной с черным ночной улице горели автомобили, взрывались гранаты и крутились белые вихри слезоточивого газа. За стеной газа Оливье смутно различал движение темной блестящей массы полицейских. Он бросился на них. Навстречу ему вышли трое. Он с яростью двинул первого палкой. Та, столкнувшись с резиновым щитом, отскочила назад. Он тут же получил удары дубинкой по руке и по голове. Они заставили его выронить оружие. Еще один удар по голове бросил его на колени, а последовавший затем пинок ногой в грудь швырнул на асфальт. После этого на его спину и бока обрушились тяжелые сапоги полицейских. Проливая слезы, вызванные стыдом и бешен-

[1] Имеется в виду Великая французская революция, начавшаяся в 1789 году.

ством, а не только слезоточивым газом, он все же попытался встать. Его нос и ухо были в крови. Ему удалось схватить обеими руками дубинку одного из полицейских, и он попытался вырвать ее. Еще одна дубинка опустилась на то место, где шея соединяется с плечом, и он потерял сознание. Полицейские подобрали его и хотели швырнуть в автобус. В этот момент из белесого тумана, разрываемого вспышками пламени, внезапно появилась группа студентов, возглавляемых Карло, и напала на полицейских. Тем пришлось бросить Оливье, словно мешок, чтобы встретить атакующую свору, которая тут же рассыпалась, увлекая полицейских за собой. Оливье остался лежать без сознания с вывернутой шеей, ногами на тротуаре, и головой на проезжей части. Его красный шарф полоскался в стекавшей с мостовой дождевой воде, лицо было залито кровью. В нескольких шагах от него разорвалась граната, накрыв его тело белой вуалью. Карло и двое студентов подскочили к нему, кашляя и проливая слезы, схватили и утащили в ту сторону, где горели огни.

Два громадных белых слона вырисовывались на фоне неба. Их высекли руки давно умерших умельцев (но ведь смерть есть избавление) прямо в скале, когда-то возвышавшейся на вершине холма и которая была полностью превращена в слонов, а получившийся при этом щебень был унесен далеко отсюда. Это было очень давно, тысячу, может быть, две тысячи лет тому назад... Мужчины, одетые во все белое, женщины в сари всех цветов, за исключением желтого, которые поднимались по тропинке к слонам, к небу, не представляли, что означают слова «тысяча лет» или «две тысячи лет». Для них это было все равно что вчера или завтра, может быть, даже сегодня. Тропинка, спиралью восходившая к вершине, была столетие за столетием протоптана босыми ногами паломников. За прошедшее время она превратилась в узкую канавку, края которой находились на уровне колен. По ней можно было передвигаться только строго друг за другом, и это было очень кстати, потому что таким образом каждый паломник, поднимаясь на вершину, оказывался как бы в одиночестве, лицом к лицу с божеством, смотревшим на него из сердца холма. Свен шагал перед Джейн, а Джейн перед Гарольдом. Свен, не оборачиваясь и слегка задыхаясь, рассказывал Джейн, что индийцы представляли время не в виде текущей реки, а как вращающееся колесо. Прошлое возвращается к настоящему, проходя через будущее. Слоны, которые находятся здесь сегодня, были здесь и вчера. И колесо времени, когда оно, вращаясь, достигнет завтрашнего дня, тоже застанет их здесь. И так было на протяжении тысячи лет. Так где же тут начало?

Джейн плохо разбирала, что ей говорил Свен, так как его слова заглушало бормотанье паломников и звон медных колокольчиков. Она чувствовала себя счастливой, легкой, несущейся, словно корабль, покинувший, наконец, грязный порт и теперь не спеша преодолевающий океан цветов. Он мог причаливать к земле там, где ему захочется, брать на борт того, кого захочет, и вновь отдаваться ветрам свободы.

Вчера, впервые за полгода, прошел дождь, и холм покрылся невысокой молодой зеленью. Каждый стебелек заканчивался бутоном. После восхода солнца миллиарды бутонов разом распустились, открыв золотые чашечки. В одно мгновение холм превратился в золотое пламя, радостное и сияющее посреди голой равнины. Цветы полностью покрывали холм роскошным одеянием, таким же ярким, как солнце. Они были девственны, они были лишены аромата и не должны были дать семян. Они родились только для того, чтобы цвести, протянув к похожему на них солнцу свои крошечные жизни. Этим же вечером они закроются, тоже все разом, и больше никогда не раскроются.

Джейн, Свен и Гарольд накануне почти ничего не ели. Свен отдал Гарольду половину своего бисквита. На это утро у них ничего не осталось, если не считать пяти сигарет. Они поделили их перед тем, как начать восхождение на холм.

Толпа, сгрудившаяся вокруг холма, много дней ожидавшего золотого зова божества, отвечала ему звоном своих колокольчиков, которые они со всех сторон равнины протягивали к источнику света, зреющему, словно янтарный плод, среди серого пространства. Потом паломники начали медленно обходить холм, произнося имя Бога и перечисляя его добродетели.

Астрологи давно предупредили, когда над холмом прольется дождь, и паломники собрались здесь со всех краев к назначенной дате. Большинство из них были крестьянами, пришедшими сюда для того, чтобы попросить Бога не прекращать дождь и пролить его на их поля. Потому что с тех пор, как они закончили осенью сев, дождя не было. Поэтому земля стала походить на пепел, и зерна не дали всходов. Они шли много дней вместе со своими женами, детьми и стариками. Голод для них был настолько привычен, что они уже не замечали, что страдают от него. Тот, у кого больше не было сил, чтобы идти, ложился на землю и дышал, пока на это еще хватало сил. Когда силы иссякали, он переставал дышать.

Толпа вокруг холма, много дней томившаяся в ожидании, каждое утро относила умерших ночью в сторону. С мертвецов снимали одежду, чтобы большие медленные птицы, тоже явившиеся на встречу с божеством, могли обеспечить им достойное погребение.

Наконец прошел дождь, и этим утром оставшиеся в живых испытали счастье — ведь им удалось выжить и увидеть, как золотое божество расцвело над покрытой пеплом равниной.

В тот момент, когда зазвенели колокольчики, большие птицы, потревоженные шумом, оставили мертвецов, тяжело взмыли в небо и принялись описывать медленные круги над людской массой, собравшейся вокруг холма.

Свен смотрел вверх, Джейн смотрела вниз, Гарольд смотрел на Джейн, Джейн любовалась закрывавшим холм золотым покрывалом, которое словно парило над медленным водоворотом толпы, походившей сверху на молочное море, усеянное цветами. Цветами были женщины в разноцветных сари, сари всех цветов, кроме желтого, потому что сегодня желтый цвет был предназначен божеству. Белое море с цветными крапинками кружилось вокруг холма, постепенно втягиваясь на тропинку среди камней и капля за каплей поднималось к двери, распахнувшейся между слонами, под аркой, образованной их хоботами, поднятыми кверху и соединенными, словно руки священнослужителей. Там, где толпа кончалась, высоко над ней оставались только черные птицы.

У подножья холма паломники, увидевшие своего Бога, выходили наружу через двери, обрамленные каменным кружевом. Бог заполнял пустоту в недрах холма, из камня которого он был изваян. Он сидел на уровне окружающей равнины, а его шесть голов, поднимавшиеся почти до вершины холма, были повернуты к шести сторонам горизонта. Вокруг торса божества в гармоничном хороводе извивались сто рук, которые держали множество предметов, указывали на что-то или просто жестикулировали. Пробитые в скале отверстия бросали на божество блики небесного света. Каждый паломник, ступивший на вьющуюся вокруг холма тропу, срывал по пути цветок, всего один, который приносил в дар божеству, спускаясь вниз внутри холма. Когда Джейн вошла в двери между слонами и увидела первый лик божества, улыбавшегося ей с закрытыми глазами, ковер принесенных в жертву цветов уже поднимался до самой нижней из его рук, указывавшей пальцем на землю, начало и конец

материального существования. Каждый паломник снаружи и внутри холма то и дело негромко произносил имя божества, время от времени слегка встряхивая колокольчик. Звон колокольчиков распространялся над ропотом толпы и, казалось, обволакивал ее покрывалом того же цвета, что и цветы на холме.

Гарольд не чувствовал под собой ног от усталости. Если они и дальше будут передвигаться со скоростью черепахи, они вряд ли смогут сегодня вернуться в город. А у него до сих пор не было маковой росинки во рту. Он уже жалел, что вместо того, чтобы отправиться в Гоа вместе с Петером, с которым прилетел из Калькутты, присоединился к Джейн и Свену, которых повстречал в аэропорту. У Петера, недавно покинувшего Сан-Франциско, еще были деньги, поэтому билеты пришлось приобретать именно ему. Гарольд, уже больше года находившийся в стране и давно оставшийся без денег, хорошо представлял все трудности странствий. Он сказал Джейн и Свену, ожидавшим Брижит и Карла, что путь, выбранный их друзьями, был полон опасностей. Нередко случалось, что путники рисковали своей жизнью. Потом они заговорили о чем-то другом. Карл и Брижит были для них вчерашним днем. Они привыкли встречаться, помогать друг другу, объединяться в группы, а потом расставаться... Ведь они были свободны...

Гарольд родился в Нью-Йорке, его отец был ирландцем, а мать итальянкой. От отца он унаследовал светлые глаза, а от матери длинные черные ресницы. Его каштановые волосы спадали на плечи длинными волнами. Тонкие усики и короткая бородка обрамляли губы, остававшиеся красными, даже если ему приходилось голодать. Когда Джейн впервые увидела его, он носил брюки из зеленого бархата, красную выцветшую рубашку с крупными черными цветами и соломенную женскую шляпу с широкими полями, украшенную букетиком и вишнями из пластмассы. На груди у него висела на черном шнурке медная коробочка из Марокко, покрытая чеканкой, в которой хранилась страница из Корана. Он показался Джейн смешным, но красивым. Гарольд же нашел Джейн красавицей. Вечером они занялись любовью на берегу океана, в тяжелой влажной жаре, в то время, как изнуренный жарой Петер спал, а Свен, сидевший возле самой воды, пытался вобрать в себя всю гармонию окружавшей его бездонной синей ночи.

Гарольд предложил Джейн отправиться вместе с ним и Петером в Гоа, но она отказалась. Ей не хотелось расставаться со Свеном. Свен был для нее не только спасителем, но и братом. До встречи с ним она была жалкой личинкой, корчащейся в черных водах абсурда и страха, заполнявшего нутро прогнившего мира. Свен обнял ее и потянул за собой к свету. Они собирались добраться до Катманду. Она не хотела бросать его и всегда пошла бы туда, куда он захочет. Решал именно он, потому что он знал.

Она переспала с Гарольдом, потому что это доставило удовольствие им обоим, а также потому, что это не запрещалось и в этом не было ничего постыдного. Законами нового мира, куда ввел ее Свен, были любовь, свобода, возможность дарить. У Свена почти не было физических потребностей, и он даже не подозревал, что такое ревность. Гарольд курил, но немного, но зато ел за двоих, когда представлялась такая возможность. Он не интересовался мистикой и считал, что Свен свихнулся, но Джейн просто великолепна. В конце концов, ему было безразлично, Гоа или Катманду, сначала он двигался на юг вместе с Петером и его деньгами, а теперь присоединился к Джейн и Свену. Они не сразу направлялись в Непал, потому что Свен хотел сначала посетить храмы Гирнара; это не имело значения, ведь только на западе считают, что прямой путь всегда самый короткий.

Джейн, оказавшаяся рядом с двумя парнями, расцвела от счастья. У нее возникло чувство единения со Свеном, благодаря нежности и восхищению,

и с Гарольдом из-за наслаждения его телом. Но иногда вечерами она ложилась рядом со Свеном на сухую траву или в пыль и начинала осторожно раздевать его. Ей было необходимо любить его и физически, то есть любить полностью. И, не умея высказать свои мысли, она сознавала, что, призывая его к себе таким образом, она не позволяла ему полностью ступить на путь, на котором он, возможно, рисковал потеряться. Свен улыбался ей и не противился, несмотря на то, что все дальше и дальше отходил от одержимости желанием, от которого хотел когда-нибудь полностью освободиться. Но он не хотел разочаровать Джейн, обидеть ее. Впрочем, с ней акт любви был не слепым подчинением инстинкту, а скорее обменом спокойными ласками. Он мало говорил при этом с Джейн, но его слова казались ей отражением нежности, были насыщены ароматом цветов. Она тоже почти не разговаривала с ним, если не считать почти забытых с детства словечек, произносимых тихим, едва слышным голосом. Свену требовалось много времени, чтобы почувствовать желание, и он быстро доходил до разрядки, словно измученная птица.

Гарольд, медленно спускавшийся с холма, думал, что здешнее божество, несомненно, просто великолепно, но он был слишком голоден, чтобы полностью оценить его красоту. А найти еду среди умирающих от голода крестьян было не так-то легко. У него и у его друзей не было денег и почти кончились сигареты. Нужно было раздобыть хотя бы несколько рупий.

Выйдя из холма через низкую дверь, он сел на краю дороги и стал попрошайничать, протянув вперед руку.

Оливье очнулся, когда его затащили за баррикаду, и тут же снова бросился в схватку. Каждый толчок крови в артериях вонзал острый нож в левое ухо. Голова была заполнена странными шумами. Когда вблизи взрывалась очередная граната, он слышал грохот Хиросимы. Возгласы его друзей превращались в дикий шум, и с четырех сторон горизонта в его мозг врывались оглушительные звуки набата. Бурная ночь была переполнена ревущими вихрями, и весь этот шум вмещался в его голове.

В последующие дни студенты начали постепенно уходить из Сорбонны. С каждым новым днем все более многочисленные их группы покидали грязное запущенное здание. В то же время Сорбонна заполнялась чужаками; среди разного жулья и бродяг наверняка попадались и агенты в штатском. Какой-то чудак перебрался сюда с женой и тремя детьми, захватив с собой одеяла, соски, примус и прочую утварь. Он утверждал, что у него нет ни работы, ни жилья. Студенты попытались собрать для него на улицах немного денег, но горожане перестали откликаться на просьбы о пожертвовании. Они считали, что каникулы у студентов несколько затянулись. Рабочие добились повышения зарплаты, на которое за месяц до этого они даже не надеялись, а владельцы предприятий и коммерсанты начали задумываться о подсчете потерь.

Господин Палейрак встретил своих первых покупателей багровым от злости. Что им теперь нужно, этим кретинам, которые только что хотели все сломать? Они же ничего не понимают! А вот профсоюзы знают все, что надо! Уж они-то не утратили своих ориентиров! Им не нужно было ничего делать, только сидеть сложа руки и выжидать. И они дождались всего, чего хотели, лишь бы возобновилась работа... Весь кавардак был создан этими подонками. А кто теперь будет платить по счетам? Кто угодно, только не они!

На всякий случай господин Палейрак начал понемногу повышать цену филейной вырезки, на самую малость, так, чтобы никто не заметил. Никакого низкосортного отруба, его никогда не разбирают, они больше не хотят отварного мяса с луком, им подавай тушенное в скороварке мясо, хорошие

хозяйки исчезли, остались только кокетки, которые думают только о кино или о парикмахерах, не удивительно, что их детям требуется все, чего они захотят, а сами они не будут делать ни черта! Он-то по-прежнему встает в четыре утра, чтобы успеть вовремя на Центральный рынок. А ему далеко не двадцать, да и не сорок... Но работать его приучили пинками в задницу. В двенадцать лет, после того как он получил аттестат... У него никто не спрашивал, не хочет ли он поступить в Сорбонну!

И он с возмущением швырял очередной кусок мяса на чашку автоматических весов. Пока стрелка колебалась, он выбирал самое большое значение и быстро бросал мясо в пакет. Он всегда забывал снять лишний жир или мелкие обрезки. Выигрыш небольшой, несколько граммов с каждой продажи. А к концу года набежит две-три тонны. В кассе его жена постоянно ошибалась, отсчитывая сдачу. Конечно, никогда не в ущерб себе. И хорошо соображала, с кем этот номер проходит. Никогда с настоящими буржуа, которые умеют считать свои су. А вот молодые хозяйки никогда не считают сдачу, они не глядя сгребают мелочь в кошелек. Видать, им стыдно пересчитывать. Но если кто-нибудь замечал ее ошибку, она со смущением извинялась.

Оливье до последнего момента отказывался поверить, что они проиграли. Она заварили такую кашу, что достаточно было еще немного подтолкнуть, нанести еще один удачный удар... Хватило бы и того, чтобы рабочие продолжали забастовку еще пару недель, может быть, всего несколько дней, чтобы это абсурдное общество рухнуло само под грузом своей жадности.

Но заводы, один за другим, возобновляли работу. Снова появился бензин на заправках, начали ходить поезда. Он отправился на завод Рено, чтобы ободрить бастующих рабочих. Именно там он понял, что все кончено. Оставалась только горсточка студентов, бродивших вокруг завода. Их преследовали полицейские, и за ними издалека наблюдали рабочие, иногда с безразличием, иногда враждебно. Однажды, преследуемый полицией и прижатый к берегу Сены, он прыгнул в воду и пересек реку вплавь.

На дорогах оставались заставы, и ему пришлось пробираться полями. Какой-то крестьянин спустил на него собаку. Вместо того чтобы убегать, Оливье присел на корточки и подождал, пока собака подбежит к нему. Это была длинношерстная французская овчарка, грязная и не знавшая ласки. Оливье ласково заговорил с псом и потрепал его по голове. Пес, ошалевший от счастья, вскинул передние лапы ему на плечи и в одно мгновение облизал ему лицо. Потом он принялся скакать, заливаясь громким лаем. Оливье медленно поднялся. Собачья радость кружилась вокруг, не затрагивая его. Он чувствовал себя таким же холодным, как вода Сены, из которой только что вышел.

Вернувшись в Сорбонну, он закрылся в своем кабинете. Потом долго лежал на одеяле, с открытыми глазами, ни с кем не разговаривая и всматриваясь в огромную пустоту внутри него, возникшую после крушения всех надежд. Карло, встревоженный его настроением, приносил ему поесть и пытался успокоить, утверждая, что ничего не потеряно, что они всего лишь начали и скоро продолжат свое дело. Оливье даже не пытался спорить с ним. Он знал, что все кончено. Он понял, что мир рабочих, без которого строительство нового общества невозможно, остается чуждым для них и никогда их не примет. Студенты — это неудачный продукт буржуазного общества, они выросли на слишком дряхлом дереве. И они сами разбудили бурю, сорвавшую их с ветвей. Дерево должно было скоро погибнуть, и им уже никогда не придется созреть. Они были не началом нового этапа эволюции, а завершением предыдущего. Мир завтрашнего

дня придется строить не им. Это будет мир рациональный, свободный от вялых сантиментов, мистицизма и идеологии. Они пытались вести войну, витая в облаках, тогда как рабочие, сражавшиеся на твердой земле, добились улучшений в ведомостях на зарплату. Студенты забыли, что в материальном мире нужно оставаться материалистами. Но даже если этот принцип был сутью единственного способа выживания, мог ли он быть смыслом жизни?

Оливье не стал участвовать в последней стычке на улице Сен-Жак. В Сорбонне вокруг него последние счеты сводили студенты, отбросы общества, бандиты и шпики. Когда полицейские вошли в кабинет, чтобы очистить помещение, у него даже не сработал защитный рефлекс. Корабль потерпел крушение, команда покидала его. Это было кораблекрушение бесславное, в грязи. Он вышел с Карло на улицу, заполненную полицейскими в форме и в штатском. Оливье повернулся к приятелю:

— Я больше никогда не приду сюда.

Карло тащился за ним по улицам Вожирар и Сен-Пласид. Рассвело, и мимо них промчалось на большой скорости несколько машин. Перед молочной лавкой остановился грузовичок молочника и тут же двинулся дальше, оставив на тротуаре дневную порцию молока для квартала. Карло бросил в ящик монету в один франк и взял пакет молока. Откусив уголок пакета, он сделал несколько жадных глотков, потом протянул Оливье мятый пакет.

— Будешь пить?

Оливье отрицательно покачал головой. Его затошнило при одной мысли о молоке. Карло пожал плечами и снова поднес пакет ко рту. Потом он бросил его под проезжавший мимо грузовик, из-под колес которого брызнули остатки белой крови.

— И что ты теперь будешь делать? — поинтересовался Карло.

— Не знаю...

Через несколько шагов Оливье спросил в свою очередь:

— А ты?

— У меня уже есть один диплом, так что я брошу учебу...

— Будешь преподавать?

— А что, по-твоему, я еще могу делать?

Оливье не ответил. Он сгорбился и сунул руки в карманы. Его знобило. Только сейчас он заметил, что на нем нет шарфа. В самых яростных схватках он всегда следил, чтобы не потерять его, потому что это могло огорчить бабушку. И вот сейчас он просто забыл его в небольшой комнате над лестницей. Не могло быть речи, чтобы вернуться за ним. Теперь он будет лежать ярким пятном в углу кабинета. Нет... Шарф остался висеть на спинке стула. Он вспомнил, он словно видел его. Он вздрогнул; ему показалось, что он раздет.

— У тебя осталось на чашку кофе?

— Да, — ответил Карло.

Небольшое кафе с табачным киоском на углу улицы Шерш-Миди оказалось открытым. Неоновые светильники под потолком сияли, пол был покрыт свежими опилками. За стойкой сидел господин Палейрак с первым сегодня стаканчиком белого. Он весил не меньше ста килограммов. С возрастом он немного раздался в талии, но основная масса приходилась на кости и мышцы. Судя по девственно чистому халату, он еще не начал работать. Толстый фартук, напоминающий броню, облегал его бедра. Он хорошо знал Оливье, выросшего у него на глазах. Можно было сказать, что он вскормил его. Разумеется, за бифштексы платила его бабка, но ведь продавал их он! Как только Оливье оторвался от соски... Это давало ему право высказать сопляку все, что он думал о нем. Увидев вошедших в кафе студентов, он обратился к ним:

— Ну что, закончилось веселье?

Оливье остановился, посмотрел на мясника, потом отвернулся, ничего не сказав, и облокотился на стойку. Карло подсел к нему.

— Два эспрессо! — кивнул он бармену.

— Смотри-ка, нам даже не отвечают! — бросил в пространство господин Палейрак. — Может быть, меня лишили права разговаривать? А как насчет права дышать? Или я такой старый, что гожусь только на свалку? А твоя бабка, которая уже несколько недель не находит себе места, потому что давно тебя не видела? Так и ей пора на свалку? Это ведь старуха! Тебе на нее наплевать! Ты ведь занят, ты устраиваешь весь этот бардак! А теперь ты являешься, руки в карманах и спокойно пьешь кофе. Господи, что за жизнь!

Похоже, что Оливье ничего не слышит. Он смотрит в чашку, которую официант поставил перед ним, кладет туда два кусочка сахара, берет ложечку, начинает размешивать сахар.

Господин Палейрак берет свой стакан с вином и отпивает глоток. Затем, опустив стакан на стойку, снова поворачивается к Оливье:

— Ну, и что ты имеешь от всего этого, а? Все вокруг получили свой кусок масла, только не вы! Рабочие, чиновники, все они кое-что заработали на вашем балагане, а вы остались в дураках!

Оливье теперь смотрит на Палейрака ледяным взглядом, у него каменное лицо, глаза прищурены. Он превратился в статую, он стал мумией. У господина Палейрака по спине пробегает холодок страха, но он тут же встряхивается и заставляет себя рассердиться, чтобы снять ощущение странности, вернуться в обычный мир обычных людей.

— И кто теперь будет платить по счету, а? И кто будет собирать деньги? Вот уж наверняка не вы, паршивые засранцы!

Палейрак напрасно вспоминает о деньгах. Его лицо становится фиолетовым от ярости. Он поднимает свою огромную руку, лапу мясника, словно хочет размахнуться для пощечины.

— Будь я твоим отцом, я бы ...

Может быть, дело было в слове «отец»? Или ответную реакцию Оливье спровоцировал жест Палейрака, показавшийся ему угрожающим? Скорее, виноваты были оба момента. Он молниеносно вышел из оцепенения, схватил со стойки алюминиевую миску с сахаром и одним движением обрушил ее на физиономию Палейрака. Стеклянная крышка разбилась, осколок распорол ему щеку. Палейрак дико закричал, попятился, наткнулся на ящик с пустыми бутылками от «Чинзано», ожидавший, пока его заберет поставщик, и опрокинулся назад среди града кусочков сахара. Всей сотней своих килограммов он врезался в автоматический проигрыватель, который отлетел к витрине. Стекло разлетелось на куски, посыпавшиеся сверкающими кинжальными осколками на лежавшего на опилках Палейрака. Уцелевший проигрыватель сам собой включился. Оливье схватил столик и швырнул его через стойку в ряды бутылок. Потом он вооружился стулом и начал крушить все подряд. Он вращал его вокруг себя, изображая смерч, сметая все, до чего дотягивался. Его глаза были полны слез, и он видел вокруг себя только расплывчатые тени и неопределенные цветные пятна. Официант, скорчившийся за стойкой в луже напитков и среди осколков стекла, пытался добраться до телефона, но очередной взмах стула отправил телефон в кофейный автомат. В потолок ударил гейзер пара. Карло кричал:

— Остановись, Оливье! Перестань! Господи, да прекрати же!

Из проигрывателя раздался голос Азнавура. Он пел:

Что такое любовь?
Что такое любовь?
Что такое любовь?

Никто не пытался ответить ему.

— Ну почему ты сделал это? Почему?

Она опустилась на стул в кухне, она больше не могла говорить и молча смотрела на Оливье. Он стоял перед ней и тоже молчал.

Она не видела внука со дня смерти этого бедняги, господина Сеньера. И ничего не знала о нем. Она только представляла, что он участвует в этих драках, в этом безумии... Она так волновалась, что не могла есть и сильно похудела. Внешне почти не изменившись, она ощущала себя легкой, словно пустая коробка. Сегодня утром транзистор наконец сообщил, что все закончилось. Оливье должен был вернуться. И вот внук появился, но какой ужас он натворил!

И как раз тогда, когда она думала, что этот кошмар закончился, все начиналось снова! И теперь все было гораздо хуже. Господи, но ведь это несправедливо!.. Это несправедливо, она и так слишком многое перенесла, слишком натерпелась, ведь она состарилась, она устала и надеялась пожить спокойно. Она ведь просила не счастья, а только покоя, ей нужно было совсем немного покоя...

— Господи, ну почему же ты сделал это? Почему?

Оливье покачал головой. Как он мог объяснить ей?

Немного помолчав, она спросила его едва слышным голосом:

— Как ты думаешь, он умер?

Оливье отвернулся к столу, на котором остывала его чашка с кофе.

— Не знаю... Наверное, нет... Они очень живучие, такие типы... Он сильно порезался осколками стекла...

— Но почему ты сделал это? Чем он задел тебя?

— Послушай, мне надо уходить, сейчас подъедет полиция...

— Мой бедный малыш!

Она мгновенно вскочила, без малейшего усилия. Бросившись в свою комнату, распахнула шкаф и достала книгу, обернутую в бумагу с большими цветами. Это был календарь фирмы «Бон марше» за 1953 год. Потом отогнула бумагу. Там, между оберточной бумагой и обложкой, она прятала все, что ей удавалось сэкономить — тонкая пачка банковских билетов. Она схватила их, сложила вдвое и сунула в руку Оливье.

— Беги, мой цыпленок, беги скорее, пока их нет! Но куда ты пойдешь? О Боже, Боже!

Оливье взял из пачки одну бумажку и сунул ее в карман. Остальное он положил на стол.

— Я потом верну тебе деньги. Ты не знаешь, где сейчас Мартин?

— Нет, не знаю. Но ты можешь позвонить в ее агентство.

Они услышали сирену полицейского автомобиля, приглушенно доносившуюся с улицы.

— Это они! Уходи скорее! Пиши мне, я должна знать, где ты и что с тобой!

Она подталкивала его к лестнице, не помня себя от тревоги.

— Только не пиши сюда! Они могут следить... Пиши на адрес мадам Сеньер, это дом 28, улица Гренель... Торопись! О Боже, они уже здесь!

Завывание сирены раздавалось совсем близко. Но машина не остановилась, она промчалась мимо, и звуки сирены быстро затихли и пропали. Когда мадам Мюре поняла, что опасности нет, и обернулась, Оливье уже не было в комнате.

Он высадился на итальянском берегу, на небольшом пляже, откуда добрался до Рима на попутной машине. Продав зажигалку и обменяв французские деньги, зашел на почту, взял справочник на букву «Е» и принялся искать нужный ему адрес. Напрасно.

Рядом с ним какой-то человечек с круглой головой и такими же круглыми другими частями тела тоже перелистывал справочник. Оливье обратился к нему:

— Простите... Вы говорите по-французски?

Тот доброжелательно улыбнулся, изобразив на лице вопрос.

— Так, немного.

— Как будет по-итальянски «команда»?

— Команда... Это будет «squadra». «Squadra Azura» — знаете такую команду?

— Нет...

Сосед рассмеялся.

— Значит, вы не интересуетесь футболом! А что вы ищете?

— «Международная команда солидарности» — я знаю, что у них в Риме должно быть отделение.

Человечек отбросил в сторону справочник, который смотрел Оливье.

— Это не то, что вам нужно, подождите!

Он взял другой толстый том и принялся быстро перелистывать его.

Мандзони сидел за небольшим убогим столиком, заменявшим ему письменный стол. Столик был завален папками и письмами, валявшимися в полном беспорядке. Перед ним стояло два телефона, по одному из которых он как раз разговаривал. Его речь, звучавшая страстно, едва ли не грубо, сопровождалась эмоциональными жестами свободной рукой. Оливье стоял перед столиком, слушая разговор и ничего не понимая в нем. Время от времени он улавливал единственное знакомое ему слово «commandatore».

Мандзони следовало считать бедняком. Точнее, он был человеком, у которого ничего нет, потому что он все отдал конторе, свое достояние и свою жизнь. Пятидесяти лет, с поседевшими короткими волосами, он выглядел толстяком, потому что в Италии бедняки питаются одними спагетти. Он объяснял собеседнику, что ему нужны деньги, деньги и еще раз деньги. Его бюро открыло в Калькутте столовую, чтобы подкармливать рисом бездомных детей, но денег хватало только на шестьсот порций, тогда как каждое утро перед столовой возникала очередь из нескольких тысяч детей, и каждое утро дети умирали в этой очереди, не дождавшись помощи. Ему нужно было больше денег!

На другом конце провода «коммандаторе» протестовал. Он уже передал этой конторе столько денег и постоянно добавлял еще и еще... Пусть Мандзони обратится к кому-нибудь другому!

— К кому, по-вашему, я еще могу обратиться, кроме тех, кто действительно дает деньги! — рявкнул Мандзони.

В итоге он добился обещания, положил трубку и вытер лоб.

— Извините, у меня был важный разговор, — обратился он на плохом французском к Оливье. — Это ужасно! Я все время должен искать деньги где-нибудь на стороне! Их никогда не хватает! Никогда!.. Итак, вы собираетесь ехать в Индию?

— Да, собираюсь, — ответил Оливье.

— Вы знаете, чем мы там занимаемся?

— В общем, да...

Мандзони вскочил из-за стола и подбежал к Оливье, чтобы лучше видеть его. Он обратился к нему на «ты»:

— Кто тебе рассказал про нас?

— Один парижский приятель. Он уехал в Индию в прошлом году.

— Почему ты не обратился в наше парижское отделение?

— Париж мне отвратителен! Я уехал из Франции, а теперь я хочу уехать из Европы.

Мандзони грохнул кулаком по столу.

— Нам не нужны типы, испытывающие отвращение к чему-либо! Нам нужны энтузиасты! Способные полюбить наше дело! Способные на жертвы! Как у тебя со всем этим?

— Не знаю, — жестко ответил Оливье. — Я такой, какой я есть, и вы или берете меня таким, или не берете.

Мандзони отступил на шаг, подбоченился и уставился на Оливье. Кажется, неплохой парень, но туда ведь нельзя отправить кого попало...

Оливье смотрел на круглое лицо собеседника и на плакат на стене за его спиной. На нем был изображен смуглый ребенок с огромными глазами, умолявший спасти ему жизнь.

— Как зовут твоего приятеля? — внезапно спросил его Мандзони.

— Патрик Вибье.

— Патрик! Что же ты раньше не сказал! Это же замечательный парень! Вот, смотри, он сейчас здесь...

Мандзони подошел к карте Индии, пришпиленной к стене рядом с плакатом. Поднявшись на цыпочки, он с трудом дотянулся до кнопки с красной головкой в верхней части карты.

— Вот здесь, в Палнахе. Он копает колодцы. Он собирался пробыть там два года, но заболел и теперь должен вернуться. Замены для него нет. Нам недостает всего, но особенно не хватает добровольцев! Эти бездельники! Вместо того чтобы слоняться по улицам и трепаться о футболе!.. Они ни на что не годятся! А вы, парижане, похоже, уверены, что ничего лучше баррикад на свете не существует...

Он потел, он кричал, он яростно жестикулировал. Наконец вытер лоб и вернулся за стол.

— Ты сможешь заменить его?

— Конечно, я хотел бы...

— Я отправлю ему телеграмму. Если он гарантирует, что с тобой все будет в порядке, я пошлю тебя в Индию. Ты знаешь наши условия?

— Знаю.

— Тебе придется дать обязательство пробыть там два года!

— Я знаю...

— Ты ничего не будешь там зарабатывать... Ты едешь туда не для того, чтобы зашибить деньжат. Ты будешь работать там ради жизни других людей!

— Знаю...

— Конечно, дорогу туда мы тебе оплатим...

Мандзони забарабанил обоими кулаками по столу и вскочил.

— Но нам нужны деньги! Деньги!

Распахнув двери, он прокричал несколько имен. Парни и девушки, вся его римская команда, добровольцы и стажеры, испуганные его воплями, столпились в кабинете. Мандзони сгреб с полки несколько банок для сбора пожертвований. На них были наклеены уменьшенные копии плаката с голодным ребенком. Он раздал банки, продолжая кричать:

— Нам нужны деньги! Оставьте все дела! Идите попрошайничать! Просить милостыню!

Он обратился к Оливье, сунув ему в руки банку:

— И ты тоже!

Потом он вытолкал всех на улицу, сел за стол, вытер лоб и набрал номер очередного «коммандаторе».

Патрик ждал его в аэропорту. Когда он хлопнул Оливье по плечу, тот подскочил от неожиданности. Он не узнал Патрика. У того еще в Париже была тонкая фигура; теперь же он совсем отощал. Он был подстрижен «под ноль», загорелое лицо напоминало цветом гаванскую сигару. Очки

в металлической оправе увеличивали глаза; его взгляд оставался таким же светлым и чистым, словно взгляд ребенка.

Насладившись растерянностью Оливье, Патрик рассмеялся.

— А вот ты совсем не изменился, — сказал он.

— Что с тобой? — спросил Оливье, проведя рукой по короткому бобрику приятеля. — Ты что, решил скопировать Ганди?

— Ты почти угадал... У тебя есть багаж?

Оливье приподнял рюкзак.

— Вот весь мой багаж.

— Отлично, так ты быстрее пройдешь таможню. Я займусь этим. Передай свой паспорт тому типу...

Оливье предъявил паспорт служащему в тюрбане, который, увидев визу на два года, мгновенно настроился враждебно. Он спросил на английском, что Оливье будет делать в Индии. Тот не понял и сказал ему это по-французски. Но чиновник прекрасно все понял и без слов. Перед ним был еще один человек Запада, из числа тех, что приезжают, чтобы спасти Индию своими советами и своими долларами, своей моралью и своей техникой. И, прежде всего, своим чувством превосходства. Но паспорт был в порядке, он ничего не мог поделать. И он поставил печать с такой силой, словно нанес удар кинжалом.

Огромные вентиляторы с лопастями, похожими на пропеллеры самолета, рядами свисавшие с потолка зала аэропорта, лениво перемешивали горячий воздух. Оливье рухнул в кресло. Было слишком жарко, ему хотелось пить, у него было нечисто на совести, и он чувствовал себя не в своей тарелке. Патрик быстро вернулся с его рюкзаком.

— Ну-ка, вставай, лодырь! Нас ждет джип. Впереди у нас длинная дорога, нужно успеть до ночи!

Оливье поднялся и взялся за рюкзак. Патрик был рад, словно встретил брата.

— Когда я получил телеграмму из Рима, я решил, что это невозможно, что это какая-то шутка!

— Да, почти шутка, — негромко пробормотал Оливье.

— Я так хотел бы остаться здесь с тобой. Быть здесь вдвоем — это совсем другое дело, понимаешь? Это было бы просто здорово! Но я совсем сдал... Эти амебы... Может быть, виновата жара, да и еда здесь без мяса... Не знаю... Я едва таскаю ноги, я ничего не могу делать... Мне нужно отдохнуть два-три месяца... Но мы еще увидимся, я обязательно вернусь!

Он дружески хлопнул Оливье по плечу, но так легко, словно коснулась крылом птица.

Пройдя несколько шагов, Оливье остановился и повернулся к Патрику.

— Ты действительно так устал?

— У меня просто не осталось никаких сил... Ты увидишь, здесь очень трудно, но ты гораздо крепче меня...

Оливье опустил голову. Как сказать ему? Потом выпрямился и посмотрел в глаза другу. Он должен знать правду. И так слишком много лгал с тех пор, как оказался в Италии.

— Послушай, меня мучает одна проблема... Я надеюсь, что они пришлют кого-нибудь другого тебе на замену... Но я не поеду с тобой...

— Что? Куда они тебя отправляют?

Патрик был сильно разочарован, но не возмущался. Он представлял огромность задач, стоявших перед «Командой солидарности», знал ограниченность ее средств. Они подключались везде, где только могли и как только могли.

— Никуда они меня не отправляют, — сказал Оливье. — Я сам решил, куда я поеду. Я поеду в Катманду.

— В Катманду? Что ты там будешь делать?

Патрик ничего не понимал. Оливье говорил ему что-то невероятное.

— Я должен уладить старые счеты, — ответил Оливье. — С одним подлецом. Это необходимо. У меня не было денег, и я использовал вашу «Команду», чтобы добраться до Индии. А теперь я должен двигаться дальше, вот и все.

— Это все?

— Да, все.

— Ты упомянул сейчас о каком-то подлеце... Как ты думаешь, кем можно считать тебя самого?

— Я есть то, что из меня сделали! — с яростью ответил Оливье. — Я верну вам деньги за дорогу! Я всего лишь взял их в долг. Не стоит делать проблему из этой ерунды!

Патрик, совершенно обессиленный, прикрыл на мгновение глаза. Потом он снова взглянул на друга, попытавшись улыбнуться.

— Прости меня. Я прекрасно знаю, что ты не подлец.

Измученный вид Патрика и его способность простить вывели Оливье из себя.

— Мне плевать, если меня считают подлецом! И если я еще не докатился до этого, то, надеюсь, скоро стану им! Чао!

Он вскинул рюкзак на плечо и отвернулся от Патрика. Когда он подошел к выходу, Патрик окликнул его.

— Оливье!

Он обернулся, не скрывая раздражения. Патрик подошел к нему.

— Мы не должны ругаться, это было бы слишком глупо. Послушай, Палнах лежит как раз в той стороне, куда ты направляешься. Если хочешь, я подброшу тебя на джипе, это позволит тебе быстро преодолеть две трети дороги. Дальше, до границы с Непалом, ты сможешь продвигаться местами пешком, местами на поезде.

Он положил руку Оливье на плечо.

— Я понимаю, что у тебя имеются свои соображения, но мне было бы очень обидно...

Оливье немного расслабился.

— Спасибо за предложение, твой джип будет очень кстати.

Ему даже удалось улыбнуться.

— Было бы жаль не воспользоваться возможностью провести какое-то время с тобой...

Когда джип преодолел последние пригороды и помчался по сельской дороге, бледный как призрак Оливье закрыл глаза и долгое время не открывал их. Под его опущенными веками снова и снова разворачивались картины, с которыми он только что столкнулся и которые по-прежнему казались ему неправдоподобными. Он подозревал, что Патрик специально выбрал такой маршрут, хотя и не исключал, что любой другой вариант маршрута показал бы ему то же самое.

Сначала они проехали величественными проспектами невероятной ширины, обрамленными просторными садами, заполненными кипением зелени и цветов, за плотной завесой которых угадывались большие здания, прячущиеся в тенистой свежести. Это были кварталы богатых особняков, чередовавшихся с шикарными отелями и административными комплексами. Простор и идеальный порядок. Солнце, хотя и наполовину прикрытое облаками, палило нещадно. Рубашки юношей насквозь промокли от пота, и Оливье с завистью думал, как прекрасно чувствуют себя обитатели этих зданий, в которых наверняка есть кондиционеры.

Потом они оказались на довольно узкой улице. Это было преддверие совершенно иного мира. Прежде чем Оливье успел разглядеть окружа-

ющую его новую обстановку, джип резко затормозил перед невероятно тощей коровой, неподвижно стоявшей с опущенной головой посреди улицы. Патрик заставил двигатель взреветь, нажав на педаль газа, и просигналил клаксоном. Корова даже не пошевелилась. Казалось, что в ее похожем на скелет теле не осталось жизненной энергии, чтобы позволить ей проделать несколько шагов. Но ее нельзя было объехать ни справа, ни слева.

Под стенами зданий, где господствовала тень, плотной массой сгрудились люди — мужчины, женщины и дети. Одни из них сидели, другие лежали, и те, у кого были открыты глаза, молча смотрели на Патрика и Оливье. Это были совершенно пустые взгляды, без любопытства, без дружелюбия или враждебности, в них не было ничего, кроме бесконечного терпеливого ожидания чего-то неясного, может быть, дружбы, может быть, смерти. И смерть была для них единственной посетительницей, в приходе которой можно было не сомневаться. Тем более, что она появлялась постоянно. Оливье с ужасом понял, что многие, лежавшие с лицами, закрытыми одеждой, были мертвы. Он увидел одного мужчину, лежавшего на солнце, потому что у него не было сил доползти до тени, и спокойно ожидавшего неизбежного. Из одежды на нем была только узенькая тряпка на поясе, и все его кости рельефно выделялись под кожей цвета пыли и табака. В его теле осталось так мало влаги, что даже свирепое солнце не могло выжать из него хотя бы капельку пота. Глаза у него были закрыты, посреди серой бороды зияло черное отверстие рта. Его грудь время от времени слегка поднималась и тут же снова опадала. Когда грудная клетка некоторое время оставалась неподвижной, у Оливье возникало страшное ощущение, что все кончено. Однако грудная клетка с непонятным упорством снова поднималась. Корова по-прежнему не собиралась освобождать им дорогу. Патрик вылез из джипа, покопался под своим сиденьем, извлек оттуда пучок сухой травы и поднес его к коровьей морде. Тяжело вздохнув, та потянулась к сену. Патрик отступил, корова двинулась за ним. Когда она освободила достаточно места, чтобы джип мог проехать, Патрик отдал сено корове.

Они двинулись дальше. Оливье продолжал смотреть на человека, лежавшего на солнцепеке. Обернувшись назад, он следил за ним, пока его не загородила группа детей. Дети молча смотрели на него. Все как один. Он не видел ничего, кроме огромных детских глаз, смотревших на него с пугающей сосредоточенностью и ожидавших от него… Чего? Что он мог дать им? У него ничего не было, да и сам он был ничем. Впрочем, он не хотел ничего никому давать. Он решил отныне стать тем, кто берет. Стиснув зубы, он перестал смотреть на людей в тени. Но джип едва тащился по узкой улице, заполненной тележками, которые или тащили буйволы, или толкали тощие мужчины. Им пришлось еще пару раз останавливаться, чтобы выбраться из пробок.

Обнаженный мальчуган лет пяти или шести подбежал к джипу. Он протянул левую руку, прося милостыню на незнакомом Оливье языке. Правой рукой он прижимал к себе голого младенца, которому было не больше нескольких недель и который явно умирал. Его кожа приобрела зеленовато-желтый цвет, глаза были закрыты, потому что он не хотел смотреть на мир, который ему так и не придется узнать. Он пытался еще дышать, втягивая воздух, словно рыба, давно выброшенная на песок.

Джип окутывало плотное облако пыли. Большие незнакомые Оливье деревья обрамляли дорогу с обеих сторон, и между их стволами он видел продолжавшуюся до горизонта пересохшую равнину, деревни на которой казались кусками грязи, засохшей на коже бродячего пса.

— Дождя не было уже месяцев шесть, — сказал Патрик. — Обычно они начинаются, когда уже закончились посевные работы. Но в этом году их не было… Так что там, где нет колодцев, урожая не будет…

— И что тогда?

— Тогда те, у кого нет запасов зерна, умрут от голода.

Оливье пожал плечами.

— Ты пытался повлиять на меня, когда мы проезжали городскими улицами, и снова пытаешься сейчас… Но со мной этот номер не пройдет. У них ведь есть правительство! Им помогают американцы, ЮНЕСКО, в конце концов!

— Ты, конечно, прав, — негромко произнес Патрик.

— И потом, если здесь сто миллионов умирает от голода, то что могу сделать я? И что сможешь изменить ты со своими тремя каплями воды?

— Даже одна капля воды — это лучше, чем ее полное отсутствие, — ответил Патрик.

Теперь деревья на обочинах исчезли, и дорога превратилась в узкую тропу, пересекавшую глинистую равнину, растрескавшуюся, словно дно водоема, воду из которого солнце выпило много лет назад. Они пересекали это однообразное пространство уже много часов подряд, и Оливье утратил ощущение времени. Ему казалось, что он или попал в кошмарный сон, или благодаря какому-то колдовству очутился на чужой планете, умирающей вместе со своими обитателями.

Они проехали мимо множества стервятников, кишевших вокруг какой-то падали, возможно, дохлой коровы или буйвола. Разглядеть тушу было невозможно. Казалось, что она скрыта под несколькими слоям падальщиков. Те из них, кто оказался сверху, пытались пробиться к добыче, просовывая головы на длинных шеях сквозь массу более удачливых сотоварищей. И к царившей вокруг падали сумятице постоянно добавлялись все новые и новые конкуренты, кружившиеся над добычей, тяжело взмахивая огромными крыльями. Казалось, что они возникают буквально из пустоты.

Они проехали через жалкую деревушку, хижины которой с соломенными крышами прижимались друг к другу, словно пытаясь защититься не только от солнца, но и от жестокого мира. Оливье увидел в деревне только женщин и детей, а также нескольких стариков, доживающих свои последние дни.

— Это деревня париев, — объяснил Патрик, когда они оставили деревушку далеко позади. — Это неприкасаемые, они не принадлежат ни к одной касте. Палнах, деревня, в которой я сейчас работаю, точно такая же. Все мужчины из нее уходят на заработки в соседнюю, более богатую деревню. Ну, относительно богатую… То есть деревню, в которой жители принадлежат к той или иной касте, где мужчины вправе считать себя мужчинами. Парии — это вообще не люди. Их заставляют работать, как лошадей или буйволов, им дают что-нибудь съедобное, чтобы в этот день они могли прокормить себя и свою семью, а потом прогоняют их… Так после работы бросают охапку сена буйволу перед тем, как отправить его в хлев. Да, правительство дало им землю, но им некогда обрабатывать ее, некогда копать колодцы… К тому времени, когда придут дожди, они все загнутся от голода.

— Что за дурачье! — проворчал Оливье. — Чего они ждут, почему не бунтуют? Им достаточно поджечь окружающий их сушняк!

— Они даже не догадываются, что такое возможно, — ответил Патрик. — Они знают только то, что они парии. И это они знают с момента своего рождения, знают тысячи лет, всегда. Ты можешь убедить буйвола, что он есть нечто иное, а не буйвол? И все же он хотя бы изредка может боднуть своего хозяина. Но у париев нет рогов…

Издалека джип выглядел, как облако пыли, перемещавшееся по пустыне. По совершенно сухой, но все же населенной равнине с немногочислен-

ными деревушками, причем, вокруг некоторых даже встречались деревья, хотя и почти засохшие. Казалось невероятным, что в таких условиях может существовать жизнь…

— Их революция осуществляется нашими руками, — продолжал Патрик. — Мы появляемся здесь с деньгами. И эти деньги мы не тратим на милостыню. Нет, мы платим им за работу. Но работают они не на нас, а на себя. Они начинают копать колодцы, обрабатывать принадлежащую им землю, сеять, собирать урожай. Как только они получают достаточно зерна, чтобы продержаться до следующего урожая, они спасены, и мы можем уезжать. Приехав сюда, мы имеем дело с животными; уезжая, оставляем здесь людей.

Оливье промолчал. На него давил свинцовый груз усталости, резкой смены обстановки и абсурдности всего, что он успел здесь увидеть. Пыль и мелкий песок забивали ему горло, скрипели на зубах и обволакивали все тело, словно реголит Луну.

Постепенно дорога поднялась над уровнем окружающей равнины. Теперь джип катился по насыпи, возвышавшейся на метр с лишним над потрескавшейся глинистой почвой.

— Когда нет засухи, — сказал Патрик, — эта местность каждый год оказывается под водой. Более или менее сухой остается только дорога, идущая по насыпи, хотя иногда ее тоже заливает.

Солнце опускалось к горизонту, но жара не спадала. Шлейф пыли позади джипа окрасился в розовый цвет.

— Когда я приехал в Палнах, его жители ходили без одежды. В Индии есть места, где обнаженность свидетельствует о невинности. Здесь же они ходили голые, как животные. Поэтому нам пришлось начать с того, что мы их одели…

Они подъезжали к деревне, хижины которой сгрудились на невысоком бугре, зародыше холма, который все же мог защитить деревню от наводнений.

— А вот и Палнах, — сказал Патрик.

У подножья небольшого холма, на котором сгрудились хижины, в земле была вырыта воронка диаметром в несколько десятков метров, на дно которой спускалась тропа. Это был колодец.

Колодец еще не был закончен, он едва достиг кровли водоносного пласта. Нужно было копать гораздо глубже. Этим занимались несколько мужчин на самом дне воронки. Им помогали женщины, выстроившиеся цепочкой до гребня вала, окружавшего воронку. Они передавали друг другу наполненные влажной землей корзины. Когда корзины оказывались на гребне, стоявшие там мужчины высыпали землю на внешнюю сторону вала. Земля желтого цвета была настолько насыщена водой, что тут же растекалась, словно жидкая грязь. И хотя слоем этого липкого мазута были покрыты лица и тела женщин, они радостно смеялись, потому что грязь была для них благословением, благословением водой, наконец-то появившейся из-под земли.

Джип, сопровождаемый толпой детворы, затормозил возле колодца, обнесенного высоким валом.

— Защита во время наводнения, — заметил Патрик, обращаясь к Оливье. — Таким образом спасаем воду от воды. Потому, что паводок несет с собой много мусора и навоза, а то и трупы животных. Конечно, все это может служить удобрением, но если питьевая вода смешается с паводковой, ее нельзя пить.

Землекопы прекратили работу и поднялись наверх. К ним присоединились остальные жители деревни, повыскакивавшие из хижин. Плотная

толпа окружила джип и замерла в молчаливом ожидании. Патрик выпрямился и, подняв к груди сложенные ладонями руки, принялся отвешивать во все стороны поклоны. При этом он улыбался, подчеркивая неофициальный, дружеский характер приветствия. Потом спрыгнул на землю.

Вслед за ним из джипа выбрался Оливье. Остановившись, он огляделся под устремленными на него взглядами мужчин, женщин и детей. Это были совсем не те взгляды, как у людей в городе — там покорно ожидали прихода смерти. Тем не менее, и там, и здесь у взглядов всех местных жителей была одна общая особенность: они были *открыты*. Это слово неожиданно пришло на ум Оливье, и он осознал, что раньше видел только закрытые взгляды. В Европе, в Париже, у бабушки и матери, у всех его друзей, у встречных девушек, даже у товарищей, стоявших рядом с ним на баррикаде, взгляды всегда были *закрытыми*. Они ничего не хотели получать, они ничего не хотели отдавать. Они были закрыты броней, из которой делают сейфы.

Здесь, на другом краю Земли, глаза были открытой дверью. Они были темными, как будто за этой дверью был мрак пустоты. И они ждали, чтобы через эту открытость вошло что-то, способное светом изгнать темноту. Может быть, это будет дружеский жест. Может быть, это надежда увидеть Бога в конце бесконечной ночи. Жизнь, смерть — похоже, отступали перед желанием уловить малейший след, ничтожный атом надежды, которая должна же была материализоваться в этом огромном мире в облике брата, чужеземца, цветка или Бога. Ведь они ждали тысячу лет, и вот, наконец, появился некто, принесший первый лучик надежды. И в каждом взгляде светились этот лучик и ожидание более яркого света. В обмен они были готовы пожертвовать собой.

Оливье почувствовал головокружение, словно очутился на краю бездонной пропасти. Он понял, что эти глаза ждали именно его.

— Ты хотя бы поприветствуй их, — толкнул его в бок Патрик. — Мне придется сказать им, что тебя посылают в другое место и что я остаюсь. Не могу же я сказать им правду.

Оливье очнулся и принялся отряхивать пыль с одежды.

— Скажи им все, что ты хочешь. А я ухожу. Где моя дорога?

Окружавшие их мужчины и женщины сложили руки перед грудью и принялись кланяться с улыбкой. Дети со смехом повторяли жесты взрослых.

— Поприветствуй их! — шепнул Патрик. — Они же ничего плохого тебе не сделали.

Смущенный Оливье, понимавший, как нелепо он выглядит, принялся неловко отвешивать поклоны во все стороны. Остановившись, он яростно прошипел:

— Может быть, достаточно? Покажи мне дорогу!

— Ты не хочешь переночевать здесь? Ведь ночь на носу. Пойдешь завтра утром.

— Нет, мне нужно идти, — возразил Оливье.

Взяв с сиденья джипа рюкзак, он забросил его за спину.

— Послушай, они приготовили небольшое торжество по случаю твоего приезда… Останься хотя бы на этот вечер.

Окружающие, не понимавшие происходящего, смотрели то на Патрика, то на Оливье. Тот ощущал нараставшую вокруг него энергию невыносимого для него призыва.

— Я всего лишь задолжал вам немного денег, вот и все! Я верну их! Если ты не хочешь, чтобы я пошел куда глаза глядят, покажи мне дорогу.

Но вокруг них с Патриком уже сомкнулся людской круг, и, чтобы уйти, Оливье должен был прорвать его, растолкать людей в стороны обеими руками, как это бывает в густом лесу, когда ты раздвигаешь ветки

кустарников, чтобы выйти на тропинку. Патрик молчал. В какую сторону ему идти? На север? Солнце опускалось к горизонту слева от него. Значит, он стоял лицом на север. Ему нужно было идти прямо вперед, никуда не сворачивая.

Он шагнул, и толпа раздалась перед ним, образовав сквозной проход. Оливье увидел, что из деревни к ним бежит девочка, держащая что-то в руках перед собой. Оказавшись в центре круга, она передала то, что несла, старику, стоявшему в первом ряду. Это была небольшая чаша, простая чаша из светло-зеленого пластика, вариант современного Грааля, но наполненного до краев чистой водой, ни капли которой не пролилось, когда девочка бежала.

Старик с поклоном передал чашу Патрику, сказав при этом несколько слов. Патрик передал чашу Оливье.

— Они дают тебе самое ценное, что есть у них, — сказал он.

Оливье колебался несколько мгновений, потом сбросил рюкзак на землю, принял обеими руками протянутую ему чашу и залпом выпил ее, закрыв глаза от удовольствия.

Когда он снова открыл их, перед ним стояла девочка с поднятой головой, со счастливой улыбкой смотревшая на него. Ее глаза показались ему огромными, как наступавшая ночь, и полными звезд, как эта ночь.

Оливье поднял рюкзак и швырнул его в джип.

— Ладно, я остаюсь у вас на эту ночь, но завтра утром распрощаюсь с вами.

— Ты можешь поступать так, как считаешь правильным, — негромко сказал Патрик.

На деревенской площади разожгли костер, совсем небольшой, потому что в этих краях дерево было таким же редким, как и вода, но для праздника в честь пришедшего в гости друга отдают все, чем ты обладаешь. Они уселись в кружок вокруг огня прямо на землю. Одна из женщин запела. В такт пению мужчина постукивал короткой палочкой по небольшому деревянному цилиндру. В деревне это был единственный музыкальный инструмент.

Патрик и Оливье сидели напротив поющей женщины. У Оливье быстро заболели ноги от непривычной позы. Ему никогда не приходилось сидеть на земле, скрестив ноги. Но он не решался пошевелиться, потому что девочка, принесшая воду и некоторое время сидевшая возле гостя, не сводя с него огромных глаз и все с той же улыбкой на лице, вскоре задремала, положив голову ему на колени.

К женскому голосу, теперь звучавшему приглушенно, присоединился голос человека с совершенно белой бородой. Он смотрел на Оливье, плавно жестикулируя, сводя и снова разъединяя пальцы. Это был староста деревни, которому девочка передала чашу с водой.

— Он благодарит тебя за то, что ты пришел, — негромко перевел его слова Патрик.

Оливье пожал плечами. Спящая девочка вздохнула во сне, слегка пошевельнулась, и ее голова едва не упала с колен Оливье. Ее спокойное счастливое лицо было обращено к ночному небу. Тело ее было совершенно расслаблено, она явно чувствовала себя в полной безопасности.

Посмотрев на Оливье со спящим ребенком на коленях, Патрик улыбнулся.

— Можно считать, что она приняла тебя как своего.

Оливье вздрогнул и внутренне ощетинился. Он почувствовал, что стоит ему еще немного задержаться, и он попадет в ловушку, поставленную оказанным ему доверием. Кроме того, он ощущал неудержимо под-

нимавшееся в нем желание остаться с этими тихими людьми, с этой девочкой, котенком свернувшейся возле него. Желание забыть все невзгоды, все приключения и закончить здесь свое путешествие.

Как к спасительному кругу, он обратился к воспоминаниям. Он вспомнил борьбу самолюбий, стычки с полицией, постигшее его разочарование… Зажав уши обеими руками и закрыв глаза, он замотал головой, пытаясь преодолеть пронзившую его боль.

Патрик, не сводивший с него глаз, был удивлен и обеспокоен. Он осторожно отодвинулся. Сейчас не нужно было ничего спрашивать, не нужно было вмешиваться. Было ясно, что в душе у его друга кровоточила какая-то рана, которую он невольно задел. С какими бы добрыми намерениями ты ни протягивал руку человеку, лишенному кожи, ты не причинишь ему ничего, кроме боли. Он сможет излечиться только благодаря своим внутренним силам и, конечно, благодаря времени.

Оливье пришел в себя, посмотрел на сидевших вокруг людей, на лицах которых играли отблески костра. Внезапно он почувствовал, что они стали безразличны ему, так же безразличны, как деревья или камни.

Он бережно приподнял головку девочки и опустил ее на землю, проделав это так осторожно, что она даже не проснулась.

— Я должен уйти, — обратился он к Патрику.

Встав на ноги, он вышел из освещенного круга.

Старик внезапно замолчал. Потом замолчала женщина. Все молча смотрели в ту сторону, где темнота поглотила силуэт Оливье.

Патрик тоже встал. Он обратился к сельчанам на их языке. Пришедший вместе с ним друг должен уйти. Его призывают другие края. Но он, Патрик, остается.

Оливье взял свой рюкзак, оставленный в джипе, и направился на север по петлявшей между хижинами тропинке. Пока темно, он будет двигаться в этом направлении. Когда рассветет, он сориентируется.

Наткнувшись на лежавшую на дороге корову, он выругался. Он проклинал коров, Индию, весь мир. Разбуженная его шагами курица, спавшая под крышей, закудахтала и снова утихла.

Оливье спустился вниз по склону холма, пройдя между последними хижинами. В темноте перед ним возник чей-то силуэт. Он остановился. Это был Патрик.

— Мне в эту сторону? Я не ошибся?

— Все правильно… Продолжай идти прямо на север. Через один-два дня, в зависимости от того, с какой скоростью ты будешь идти, ты увидишь город. Это будет Мадира. Там проходит железная дорога. У тебя есть деньги на билет?

— Есть немного.

— Поездом ты доберешься только до границы. Дальше, на территории Непала, тебе снова придется идти пешком.

— Ничего, справлюсь, — ответил Оливье. — Мне очень жаль… Конечно, здесь… Но я не могу… Надеюсь, тебе скоро пришлют кого-нибудь на замену…

— За меня не беспокойся, — ответил Патрик. — Держи, ты забыл самое важное.

И он протянул другу фляжку, наполненную водой.

На третий день пути, уже в Непале, он встретил Джейн.

В поезде ему пришлось столкнуться с такой же толпой, как и на городских улицах. Пожалуй, немного лучше одетой, но еще более плотной. В вагонах продолжалась та же повседневная жизнь; можно было подумать, что улицу взяли целиком и поставили на колеса. Он безрезультатно попы-

тался найти сидячее место. В одном из купе женщина варила рис, пристроив небольшой примус на полу между голыми ногами соседей. В соседнем купе невероятно тощий святой, лежавший на сиденье, то ли умирал, то ли уже был мертв, хотя не исключено, что он просто занимался медитацией. Соседи, не обращая на него внимания, громко молились. Палочки, воткнутые в какой-то лежавший на полу предмет из меди, медленно тлели, распространяя ароматы ладана и сандала.

Каждый раз, когда Оливье показывался в открытом проеме очередного купе, глаза всех пассажиров тут же обращались на него. Никакой реакции не проявили только молившиеся и медитировавший святой. В конце концов, ему пришлось устроиться на полу в коридоре, среди других сидевших или лежавших пассажиров. Он прижал к себе рюкзак и задремал. Проснувшись, он обнаружил, что украли деньги, три долларовые бумажки, лежавшие в кармане рубашки. Утешило только то, что в рюкзаке у него было еще долларов двадцать.

На границе с Непалом пограничники пропустили его без каких-либо проблем. Они оказались на редкость любезными. Разговаривая с ним на жутком английском, который Оливье не понимал, несмотря на все знания, приобретенные в школе, они непрерывно улыбались. В его паспорте быстро появилась печать, он подписал какие-то непонятные бланки, отпечатанные на отвратительной бумаге, но так и не понял, какой срок может провести в стране. Обменяв несколько долларов на местную валюту и подписав еще какую-то бумагу, он положил в карман пачку бумажных рупий и пригоршню медяков. Когда он попытался выяснить, как добраться до Катманду, ему что-то долго объясняли, сопровождая слова энергичной жестикуляцией и дружелюбными улыбками. Из всего услышанного понятным оказалось только слово «Катманду». Тем не менее он вскоре оказался по другую сторону границы. Перед ним стояли два автобуса и была видна однаединственная дорога. Автобусами служили древние, вероятно, столетнего возраста, грузовики, на которые установили будки, расписанные живописными пейзажами и гирляндами цветов, над которыми вдоль крыши тянулся зубчатый деревянный карниз. Оба автобуса были под завязку набиты пассажирами, так плотно заполнившими проходы, что едва не выдавливали друг друга в окна. Мужчины были одеты в рубашки из белого или серого полотна и штаны из такой же ткани, очень широкие в бедрах и узкие ниже колена. На голове у всех были шапочки, белые или цветные. У самых молодых встречались рубашки европейского покроя и пижамные штаны.

Оливье подошел к одному из автобусов и громко спросил, указывая на него:

— Катманду?

Все, кто его услышал, тут же повернулись к нему и, широко улыбаясь, отрицательно замотали головой. У другого автобуса ему ответили тем же. Но он все равно не решился бы забраться в одну из этих соковыжималок. К тому же, разглядел, что пассажиры были не только весьма жизнерадостными, но и невероятно грязными.

Оливье еще не знал, что покачивание головой, единодушно продемонстрированное ему и означавшее для европейца отрицание, для местного населения означало «да». Тем не менее, ни один из автобусов действительно не отправлялся в Катманду. Но дружелюбие местных обитателей не позволяло им обидеть иностранца отрицательным ответом.

На карте, висевшей на стене в римской конторе, он разглядел, что в Непале имеется только одна автомобильная дорога, идущая от границы с Индией к границе с Китаем. Катманду находился неподалеку от этой трассы. Поэтому он решил, что если нет выбора, то нет смысла и колебаться. И он двинулся в путь. В очередной раз его ожидал совершенно новый мир.

«Всемирная литература» в «Немане»

После того, как он пересек бесконечную индийскую равнину, сохранившую на своем теле следы бурных наводнений, ему предстояло начать подъем на первую горную гряду, обозначающую границу между Индией и Непалом. Скоро он очутился среди холмов, покрытых сплошной зеленью. Там, где его взгляд останавливался на безлесных участках местности, каждый пятачок земли был тщательно обработан и покрыт незнакомыми ему культурными растениями. Впрочем, Оливье, потомственный парижанин, даже во Франции не смог бы отличить свеклу он кукурузы.

Дорога то углублялась в ущелья, то огибала долины. Оливье часто сокращал дорогу, спускаясь по крутым склонам на дно долин и поднимаясь на их противоположный борт. Местные жители, встречавшиеся по пути, только улыбались и отрицательно качали головой, какой бы вопрос он им ни задавал. Они не понимали ни одного слова из того, что говорил иностранец, а если ты ничего не понял, то правила хорошего тона требуют отвечать «да». Они отвечали «да», но Оливье понимал «нет». Он заподозрил, что ошибается, когда проголодался и решил найти что-нибудь съестное. Он подошел к ферме, внешне напоминавшей небольшой деревенский дом во Франции. Кирпичные стены были покрыты слоем штукатурки, местами осыпавшейся. На половину высоты стены были красными, а выше, до крыши из соломы, — желтыми. Навстречу ему выскочили трое совершенно голых ребятишек, принявшихся со смехом и криками скакать вокруг него. Грязные с головы до ног, они явно хорошо питались и выглядели счастливыми. За ними к гостю вышла женщина в платье кирпичного цвета с белым поясом, несколько раз обернутым вокруг талии, размеры которой указывали на скорое прибавление в семействе. Она была смуглой, с жизнерадостной улыбкой; ее черные волосы были разделены на две косы с заплетенными в них красными лентами. Смуглянка была такой же грязной, как дети, если не больше. Оливье поздоровался с ней на английском языке, и она, продолжая улыбаться, отрицательно покачала головой. Тогда он знаками показал ей, что голоден, и вытащил из кармана долларовую бумажку, чтобы дать понять, что он заплатит. Женщина весело засмеялась, снова отрицательно качнула головой и вошла в дом.

Оливье вздохнул и уже повернулся, чтобы идти дальше, когда она опять вышла к нему, на этот раз с корзинкой, в которой лежали апельсины и еще какие-то неизвестные Оливье фрукты. После этого она вынесла Оливье блюдо отварного риса с овощами. Он поблагодарил ее, она опять ответила «нет». Когда Оливье присел на корточки, чтобы поесть, она осталась стоять возле него вместе с детьми. Они смотрели, как он ест, громко переговариваясь и смеясь. Оливье был вынужден съесть рис, пользуясь пальцами. Овощи, приготовленные с рисом, были почти сырыми и хрустели на зубах. От этого блюда сильно несло запахом древесного дыма. Фрукты показались ему вкусными, и он с удовольствием съел апельсин, по вкусу напоминавший большой сладкий мандарин. Самый грязный малыш принес ему чашку с водой, в которую он по дороге обмакнул обе пятерни. Оливье вежливо отказался от питья и протянул женщине долларовую бумажку, которую та приняла с удовольствием. Он спросил: «Катманду?» Женщина ответила длинной тирадой и показала рукой на север. Он понял, что ему нужно идти в этом направлении.

Дети некоторое время сопровождали его и повернули домой, только когда он стал спускаться в долину. Немного в стороне заметил полуобнаженного мужчину, который обрабатывал землю мотыгой с очень короткой ручкой. Увидев путника, тот выпрямился и долго провожал его взглядом.

Оливье шел два дня, утоляя жажду и умываясь водой из ручьев, питаясь на фермах и проводя ночь под пологом древесных ветвей. Днем всегда было жарко, но ночью жара спадала. На дорогах ему нередко встречались авто-

бусы, похожие на те, что он видел на границе, а также простые грузовики, набитые пассажирами, но ни разу он не увидел машины, перевозившей какой-нибудь груз. Позже он узнает, что в этой стране грузы перемещаются исключительно людьми. Для этой цели существуют целые семьи шерпов-носильщиков. Каждая такая семья, состоящая из отца, матери и детей, включая самых маленьких, обычно несет корзины, различающиеся размерами в зависимости от возраста носильщика. Корзины держатся на спине с помощью плоской ленты, охватывающей лоб носильщика. Их вес кажется чудовищным. Оливье видел мужчин, женщин и детей, несущих на спине прикрепленный к голове груз, вес которого превышал их собственный. Несмотря на это, они не только шагали, но и передвигались рысцой, быстро исчезая за деревьями, за горой или за горизонтом, направляясь к известной только им цели, достигнув которой, они могли избавиться от своей ноши.

Он тоже шагал с грузом угрызений совести, боли и ненависти. Его цель находилась за второй горной грядой, которой он еще не видел. К концу третьего дня он утратил какое-либо представление о том, сколько прошел и сколько еще оставалось идти. Но знал, что идти нужно без остановки, чтобы наступил, наконец, момент, когда окажется перед отцом. Тогда он опустит на землю свою корзину и покажет ему, что принес в ней с другого конца света.

Этот день был особенно жарким. Со средины дня начала собираться гроза. Она долгое время ворчала над горами, но так и не разразилась безудержным гневом, заставляющим дрожать от страха, и в то же время спасительным. Оливье какое-то время двигался долиной, в которой скопился невыносимо горячий воздух, потом начал подъем на противоположный склон. Утомившись, решил немного отдохнуть и устроился на жесткой сухой траве возле группы странных деревьев, вместо листьев на них были только цветы и колючки.

Большие облака в небе набухали и разрастались, под ними медленно кружились большие черные птицы. Вспомнилось, как кишели стервятники над падалью возле дороги, когда он пересекал высохшую равнину в Индии, потом увидел лицо маленькой девочки в гостеприимно встретившей его деревне, увидел ее широко распахнутые глаза. Он снова почувствовал на своих коленях вес этого миниатюрного создания, такого беспомощного, такого доверчивого и счастливого.

Он пробормотал что-то сквозь зубы, перевернулся на живот и заснул, побежденный усталостью.

Они шли по тропе, извивавшейся вдоль дороги, сохраняя все тот же порядок: Свен, затем Джейн, за которой тащился Гарольд. Он всегда оказывался позади друзей, потому что не мог удержаться и всегда съедал больше, чем они, когда находилось что-нибудь съестное. А Свен и Джейн хотя и были слабее, но уже достигли той особой легкости, легкости диких животных, которым не нужно прилагать усилий, чтобы перемещать свое тело.

Неожиданно они наткнулись на Оливье. Юноша спал на спине со слегка приоткрытым ртом. Утром он умылся и побрился над ручьем, его локоны заметно удлинились, лицо приобрело более темный оттенок, чем у волос, но на нем по-прежнему играли золотые блики. Темные ресницы создавали тонкую зубчатую тень под глазами.

Джейн и Свен остановились перед ним. Джейн улыбнулась спящему и сказала по-английски:

— Это француз.

— С чего ты взяла? — поинтересовался Свен.

— Девушка всегда безошибочно узнает француза, — сказал подошедший к ним Гарольд. — Она определит его даже сквозь стену…

Они говорили громко, не боясь разбудить спящего. Но Оливье не слышал их, продолжая крепко спать, спокойный, невинный и прекрасный, словно дитя.

— Молодец парень! Спит как бревно, — засмеялся Свен.

Гарольд заметил лежавший рядом с Оливье рюкзак и поднял его.

— У него наверняка найдется что пожевать. Французы доки во всем, что касается жратвы. — И он стал развязывать мешок.

— Перестань! — остановил его Свен. — Нужно спросить у него.

Он присел рядом с Оливье и положил ему руку на плечо.

— Подожди! — сказала Джейн. — Мы разбудим его иначе.

Она отошла к кустам и принялась собирать цветы. Потом осыпала цветами грудь Оливье, несколько цветков воткнула себе в волосы и точно так же украсила Свена и Гарольда. Потом села возле Оливье и кивнула Свену. Тот уселся рядом, положив на колени гитару. Тогда Джейн негромко запела ирландскую балладу, а Свен принялся сопровождать ее пение скупыми аккордами. Пение постепенно становилось все громче и громче.

Гарольд, сидевший в двух шагах от них, возле рюкзака Оливье, явно скучал. Он считал, что они только зря теряют время.

Нежный голос Джейн и музыка Свена проникли в сны Оливье и вытеснили их. Он открыл глаза и увидел улыбавшуюся ему девушку. Ее длинные волосы, усеянные цветами, спадали на плечи, словно волны света, с которыми смешивались красноватые золотые тени. Ее голубые глаза были такими темными, что казались почти фиолетовыми. Солнце, пробившееся между облаками, увенчало ее голову сияющей короной. Солнце, небо и цветы казались воплощением радости. И средоточием этой радости была улыбавшаяся Джейн.

Джейн говорила по-французски с очаровательным акцентом. Оливье с интересом слушал ее. Слушал и любовался: улыбка, лучистый взгляд, сияющая корона волос.

Когда солнце зашло, они перекусили и остались сидеть вокруг костра, непринужденно болтая обо всем на свете. Джейн сидела рядом с Гарольдом, время от времени касавшимся ее рукой. Каждый такой его жест отзывался в Оливье легкой болью.

Свен, прислонившийся спиной к дереву, закурил сигарету. Гарольд потянулся и лег на спину, положив голову на колени Джейн. Оливье поспешно прервал воцарившееся молчание.

— Что именно вы собираетесь делать в Катманду?

Он обращался к Гарольду, но ему ответил Свен.

— Катманду — это вотчина Будды… Там он родился, там умер. Там и похоронен… В тех краях обитают и другие боги… Это самое священное место в мире, именно то, где лик Бога ближе всего к Земле…

Он протянул сигарету Джейн. Та взяла ее и затянулась дымом. На ее лице появилось счастливое выражение.

— Еще бы, Будда, — покачал головой Оливье. — И заодно гашиш, продающийся на рынке так же свободно, как редиска или шпинат! Думаю, вы направляетесь туда именно из-за *этого*.

— Ты ничего не понимаешь! — вмешалась в беседу Джейн. — *Это* же радость!

Она затянулась еще раз и протянула сигарету Оливье.

— Спасибо, — сказал тот. — Оставь эту гадость для себя.

Гарольд просунул руку под блузку Джейн и стал ласкать ее грудь.

— Ты никогда больше не будешь несчастен! — сказала Джейн.

— Я и так не несчастен! — ответил Оливье.

На небольшом дереве поблизости какая-то птица запела странную песенку, состоявшую из трех одинаковых протяжных нот, непрерывно повторявшихся. Это была печальная и нежная, умиротворяющая песенка.

Джейн уже тяжело дышала от настойчивых ласк Гарольда. Но ей хотелось успокоить Оливье.

— Оставь меня! — повернулась она к Гарольду.

— Не обращай на него внимания, — спокойно сказал Гарольд. — Он может думать все что ему хочется. Это его право.

Джейн перестала сопротивляться. Гарольд заставил ее лечь на землю, распахнул блузку и принялся расстегивать молнию джинсов.

Оливье вскочил, схватил рюкзак, яростно пнул ногой догоравший костер и исчез в ночи.

Они догнали его на следующий день. Хотя Оливье и передвигался быстрее, чем трое приятелей, но он остановился, убедив себя, что ему нужно отдохнуть. И когда увидел на противоположном склоне долины три маленькие фигурки, размером не больше мухи, с сердца свалился тяжелый груз, давивший на него с вечера. Дальше они пошли вместе. Впереди шагал Свен, за ним шли рядом Джейн и Оливье, а позади, немного отстав от остальных, тащился Гарольд.

— Катманду, — сказала Джейн, — это место, где никто не обращает на тебя внимания, где ты свободен и можешь делать все, что тебе заблагорассудится.

— Конечно, настоящий рай!

Джейн улыбнулась.

— А ты знаешь, что такое рай? Вот я хорошо представляю его… Это место, где тебя никто не обязывает делать что-то, никто ничего не запрещает… Ты берешь у других все, что тебе нужно, и те отдают все, а ты в то же время делишься с ними тем, в чем нуждаются они… Все принадлежит всем, всем хорошо, все любят всех… Ты все время живешь в радости…

— И вокруг тебя звучат арфы и трепещут крылья ангелов, — с усмешкой парировал Оливье.

— Ты шутишь, но даже такое становится возможным на Земле, если ты этого хочешь… Стоит только захотеть… А ты? Что ты хочешь найти в Катманду?

Оливье резко помрачнел.

— Мне нужно только то единственное, что имеет значение… Это деньги.

— Ты сошел с ума! Как раз это не имеет никакого значения!

Оливье ответил очень резко, потому что только такой тон помогал ему убедить самого себя, что он прав:

— И что тогда имеет значение? Как еще ты можешь стать сильнее, чем негодяи вокруг тебя?

Джейн на мгновение остановилась и посмотрела на собеседника изумленными глазами, ставшими от удивления еще больше.

— Если у тебя будет много денег, ты сам станешь негодяем! У меня денег было гораздо больше, чем я в них нуждалась… Мой отец — это настоящий мешок с деньгами. Он брал их у всех, и хотя потом все брали у него, ему трудно расставаться с золотишком.

Они молча шагали рядом. Потом она спросила:

— А у тебя, чем твой отец занимается? Он богатый?

— Он умер… Когда мне было всего шесть месяцев.

— А мать?

— Я только что потерял ее…

Вечером они разожгли костер в небольшой ложбине, где протекал ручей. По дороге купили риса и фруктов на деньги Оливье. Гарольд сварил рис в котелке, и они быстро уничтожили варево без каких-либо приправ. Оливье начал привыкать к простоте привычек своих спутников, считавших, что еда существует для того, чтобы питаться, причем, без каких-либо изысков. После рисовой каши фрукты показались лакомством.

После ужина Гарольд тут же задремал. Свен курил, сидя у костра. Оливье негромким голосом рассказывал лежавшей рядом с ним Джейн о майских событиях.

Джейн приподнялась и, опустившись на колени, посмотрела в лицо Оливье.

— Драться… Это никогда ничего не дает. Все это знают и все равно дерутся… Мир полон кретинов…

Она взяла у Свена сигарету и затянулась. Указательным пальцем руки, державшей сигарету, она начертила окружность на лбу Оливье.

— Твоя революция должна произойти здесь…

Затем рука Джейн медленно спустилась ниже вдоль лица юноши и поднесла сигарету к его губам.

Он схватил ее руку твердо и нежно, отобрал сигарету и внимательно посмотрел на нее.

— О ваших идеях можно было бы поспорить, если бы не было *этого*…

И швырнул сигарету в костер.

В этот момент Гарольд вскочил на ноги с криком:

— Тихо! Слушайте!

И он протянул руку в направлении долины, по которой они шли днем.

Все прислушались. Они почти ничего не улавливали, скорее, лишь догадывались о шуме, который Гарольд, чуткий, как хищное животное, уловил раньше них, несмотря на сон. Это был мощное равномерное рычание двигателя большого автомобиля.

— Американская машина! — крикнул Гарольд.

В этот момент пучок света фар осветил склоны долины, метнулся в сторону и выхватил из темноты добрую сотню метров дороги.

— Прячьтесь! Скорее!

Гарольд подтолкнул Свена и Оливье к кустам, подобрал сумку Джейн и сунул ее девушке в руки.

— Давай на дорогу, быстро!

И вытолкнув Джейн на проезжую часть, опрометью кинулся в кусты, где уже сидели Свен и Оливье.

Сверхмощная американская спортивная машина неслась на девушку. Не оставалось сомнения, что водитель уже увидел фигурку в джинсах и легкой блузке, машущую рукой. Звуки клаксона и слепящий в упор свет фар не произвели на нее никакого действия: девушка стояла как вкопанная. Машина замерла в нескольких сантиметрах от нее. Из-под визжащих покрышек во все стороны летел гравий.

Дверцы машины распахнулись, кто-то выскочил и подбежал к Джейн, стоящей как на освещенной сцене. Это была женщина того неопределенного возраста, к которому относятся весьма ухоженные особы после сорока лет. Даже из темноты она производила впечатление отшлифованного свежекрашенного изделия. Дама-водитель накинулась на Джейн, ругаясь на английском языке с американским акцентом, требуя освободить дорогу и убраться отсюда, потому что ее машина не предназначена для перевозки мусора. Джейн не двинулась с места. Женщина замахнулась, чтобы ударить ее. Но не успела: Оливье перехватил ее руку и резко толкнул грубиянку к машине.

— С тобой все в порядке? — с тревогой спросил Оливье. — Эта дрянь чуть не задавила тебя!

— Смотрите-ка! Француз! — воскликнула американка. — А вы не могли оказаться здесь чуть раньше?

— Здесь есть еще англичанин, — сообщил улыбающийся Гарольд, возникнув из темноты. — И один швед!

Он протянул руку в направлении границы между светом и темнотой, откуда, пробив стену ночи, появился Свен со своей гитарой.

Американка явно заинтересовалась Гарольдом. Короткая бородка юноши и его взъерошенные волосы выглядели в световом потоке ярким нимбом. Почему бы не подарить женщине, лишенной признаков возраста, ослепительную улыбку? Одновременно Гарольд подумал о дорогой комфортабельной машине и обо всем остальном, что должно сопровождать ее владелицу.

— Святой Жан! — потрясенно воскликнула женщина. — Святой и грешный!

Не удержавшись от смеха, он представил американке своих товарищей. Лорен, так она назвала себя, пригласила всех в машину. Гарольд сел рядом с ней, остальные расположились на заднем сиденье. Перед внутренним взглядом Оливье опять возникает образ Джейн, такой, какой он увидел ее в ночи — облитую светом фар несущегося на нее автомобиля, спокойную и безразличную к смертельной опасности. И, кажется, даже счастливую!

Черт возьми! Ведь это все сигарета! Какая дрянь!

Он ничего не может изменить. Это не его дело. Она может травить себя сколько угодно, если это ей нравится.

— Вы, разумеется, тоже хотите попасть в Катманду? — спросил он Лорен агрессивным тоном.

— Я не хочу туда попасть. Я там живу вот уже пять недель. А сейчас возвращаюсь из поездки по одному делу…

— И что вам нужно в Катманду? Вы тоже мечтаете увидеть лик божества?

Лорен громко рассмеялась.

— Ну, для меня это слишком уж возвышенно. Я просто стараюсь взять то, что для меня доступно. То, что мне подходит.

Правой рукой она привлекла к себе голову Гарольда и впилась в его губы. Машина вильнула и устремилась к стоящему на обочине домику под раскидистым деревом. Гарольд резко высвободился:

— Hey! Careful now![1]

Схватив руль, он выправил машину. Лорен засмеялась.

Около часа они ехали молча. Потом Лорен сказала:

— Сегодня мы не доберемся до Катманду. Неподалеку отсюда есть хорошее место, мы сможем провести там ночь.

Машина в это время выскочила на просторное плато и по прямой устремилась вперед.

Лорен затормозила, свернула налево на узкую дорожку, медленно проехала еще сотню метров. В свете фар возникла миниатюрная часовня, под крышей которой едва помещалась большая статуя Будды. Он сидел с закрытыми глазами и улыбался загадочной улыбкой. Казалось, что он изваян из цельной глыбы золота.

Свен сидел в позе лотоса напротив статуи Будды с закрытыми глазами. Будда покоился в той же позе, тяжелый и огрузлый благодаря своему большому животу. Свен был легким, словно тростинка, словно птица; казалось, он лишен веса. Он почти ничего не ел, но уже выкурил две сигареты. Закурив третью, он понял, что сливается с божеством, с этим Буддой, чей золотой лик сверкал напротив него. Его распахнутое спереди золотое одеяние позволяло видеть темную впадину пупка, смотрящего

[1] Эй! Осторожнее! (*англ.*)

в небо. Этот Будда сидел здесь много веков, дожидаясь Свена. Он терпеливо ожидал столетие за столетием, и вот, наконец, Свен пришел.

Он пришел, сел напротив Будды и стал смотреть на него, и Будда, который видит все, стал смотреть на Свена, не раскрывая глаз, с загадочной улыбкой, полной блаженства. Свен понял все, что говорил Будда; чтобы ответить, он взял гитару и прижал к себе. Между его губ едва тлела сигарета. Он втягивал дым медленными глубокими вдохами и прекрасно представлял, что ему нужно сказать, куда он должен положить правую руку, какую струну щипнуть и насколько громко говорить с Буддой. Одна струна, одна нота, совершенная, словно равновесие Вселенной, нота, заключающая в себе все сущее. Именно это он и должен был сказать Будде: все сущее.

Неизвестно откуда появился бонза в шафранных одеждах. Он зажег у ног Будды три медных светильника и снова исчез в темноте.

На краю большого бассейна, разделявшего две статуи Будды, Лорен зажгла переносную лампу, работавшую на бутане. В ее резком свете она раскрыла, один за другим, три походных чемодана. Посуда, приборы, лед, икра, шампанское, кока-кола, сэндвичи, молоко, салат, скатерть, салфетки…

С другой стороны водоема сидел Будда с открытыми глазами. Он был из бронзы, позеленевшей от возраста. Он взирал серьезно и с любовью на каждого из тех, кто хотел, чтобы на нем остановился его взор.

В темной зеленоватой воде бассейна передвигались какие-то неясные тени. Медленные длинные тела поднимали мелкую рябь на поверхность воды, не нарушая ее. Чья-то пасть проглотила кусочек хлеба, брошенный Лорен. Небольшой водоворот на поверхности темной воды. И все успокоилось.

Лорен наполнила шампанским стаканчик из желтой пластмассы и протянула его Гарольду.

— Выпей, красавчик! Тебе известно, что ты очень красивый?

— Конечно, — пожал плечами Гарольд.

— Ты слишком много пьешь, — предупредила его Джейн. — Тебе будет плохо.

— Не волнуйся, — отмахнулся Гарольд. — Все будет в порядке.

Он опорожнил стаканчик и слился с Лорен в долгом поцелуе. Оторвавшись от него, Лорен перевела дыхание, вскочила и потянула его за руку за собой.

— Пойдем в машину…

Она тянула Гарольда к длинной красной машине, дремлющей у противоположного края бассейна. Слегка захмелевший Гарольд позволял тащить себя, беспечно улыбаясь. Джейн крикнула ему вслед:

— Good night!

— Same to you! — откликнулся Гарольд.

Редкие ноты гитары, круглые, словно жемчужины, время от времени падали из-под длинных тонких пальцев Свена.

Оливье взял бутылку с шампанским и наклонил ее над стаканчиком Джейн.

— Нет, — покачала та головой. — Кока-кола…

Налив ей колы, он плеснул себе шампанского. Потом спросил:

— Тебе это безразлично?

— Что именно?

— Разве ты не знаешь, что сейчас он раздевает ее и укладывает на подушки машины?

Джейн негромко рассмеялась.

— Я подозреваю, что это она проделывает такое с ним.

— И для тебя это не имеет значения?

— Раз он пошел с ней, значит, так ему захотелось…

— Значит, ты не любишь его?

На нем остановился удивленный взгляд фиолетовых глаз, смотревших из-за края пластмассового стаканчика.

— Что ты! Конечно, я люблю его! Если бы я его не любила, я бы не спала с ним! Я люблю его, люблю Свена, люблю солнце, цветы, дождь, люблю тебя, люблю заниматься любовью… Разве ты не любишь это?

Она опустила на землю пустой стаканчик и, опираясь на обе руки, придвинулась к нему. Оливье выплеснул в траву остатки шампанского и пробурчал, отвернувшись от нее:

— Но не с кем попало…

— Разве я для тебя кто попало?

На этот раз он повернулся, посмотрел на нее с неясной тревогой во взгляде и негромко сказал:

— Я не знаю…

— Ты не находишь меня красивой?

Она стояла перед ним на коленях, точно так же, как это было, когда путники наткнулись на спящего Оливье. Так было и через несколько часов, вечером у костра на обочине дороги. Расстегнув несколько пуговиц на блузке, она распахнула ее обеими руками, чтобы преподнести ему в дар всю свежесть своего тела, всю свою невинность. Она проделала это естественно, без малейшего расчета. Ее груди были небольшими, безупречной формы, золотистыми, словно персики, увенчанные скромными, чуть более темными бутонами. Резкий свет фонаря не мог лишить их еще детской нежности… Они походили на плоды, сорванные с райского древа.

Он в бешенстве закричал:

— Ты их всем так показываешь?

Испуганная Джейн вскочила на ноги, запахнув блузку на груди.

Вскочивший одновременно с ней на ноги Оливье с размаха ударил ее по лицу.

Едва она успела вскрикнуть, не столько от боли, сколько от неожиданности, как Оливье схватил ее в объятья, прижал к себе и забормотал в ухо, в шею, непрерывно целуя:

— Прости меня! Я такой идиот, такой грубиян… Прости, прости…

Руки и слова Оливье мгновенно рассеяли испуг Джейн. Она засмеялась и тоже принялась целовать его в глаза, в нос, в ухо. Она смеялась, и он тоже смеялся. Он стянул с нее блузку, снял брюки и трусики и отодвинул на расстояние вытянутой руки, чтобы лучше видеть ее. Он повторял без перерыва: «Ты прекрасна! Ты прекрасна!», и она, слыша эти слова, смеялась от счастья.

Держа ее за руку, он заставил ее медленно поворачиваться перед собой. В мертвенном свете газового фонаря она казалась белой, слегка розоватой статуей. Ее зад был по-девичьи круглым, но небольшим; когда Оливье видел ее перед собой, ему казалось, что небольшой золотистый треугольник над ее длинными бедрами впитывал в себя все тепло, что было в падавшем на него свете.

Он снова привлек ее к себе, поднял на руки и понес прочь.

Засмеявшись, она спросила:

— Куда ты несешь меня?

— Не знаю. Я знаю только, что ты прекрасна, и я должен унести тебя…

Он пронес ее вдоль бассейна, и их охватила ласковая тьма. Джейн все сильнее прижималась к груди Оливье. Он нес ее уже целую вечность, такую легкую, свежую и горячую. Потом он опустил ее на землю у под-

ножья статуи Будды с открытыми глазами. Здесь тоже горели три медных светильника. Он должен был видеть ее.

Раздевшись, он бережно положил ее на свою одежду, расстеленную на земле. Закрыв глаза, она не мешала ему, неподвижная и счастливая, словно море под солнцем.

Обнаженный, он стоял перед ней, касаясь ногами ее сомкнутых ног. Его желание поднималось к звездам. Он не сводил с нее глаз. Она была тонкой, но не тощей, ее тело состояло из длинных плавных изгибов, окаймленных колеблющимся светом медных светильников. Соски ее небольших грудей казались капельками коричневого золота.

Он опустился рядом, не сводя с нее глаз. Он никогда еще не видел такой красивой девушки. Возможно, конечно, что раньше у него просто не было времени, чтобы присмотреться.

Она почувствовала прижатое к ее бедру продолжение мужского желания. Негромко засмеявшись от счастья, она протянула руку и овладела им. Склонившись над ней, Оливье принялся целовать ее глаза, нос, уголки губ, целовать легко, не торопясь, подобно пчеле, на лету собирающей нектар с цветка мяты. Потом он передвинулся ниже, обхватил губами сначала один сосок, потом другой, поласкал их ресницами закрытых глаз, потерся о нежные округлости щекой, подтолкнул носом, словно теленок материнское вымя, затем обхватил ладонями. Не отпуская груди, он спустился губами к нежному плоскому животу, к нежным теплым линиям. Бедра Джейн шевельнулись и раскрылись, словно распустившийся цветок. Короткие завитки раскрыли свою тайну. Оливье увидел золотистый свет. Медленно склонившись, он прижался к нему губами.

Джейн, начиная от груди, которую продолжали ласкать его руки, и ниже, где ее тело таяло от его губ, превратилась в волну радости, поток счастья, колебавшегося, подобно приливам и отливам чего-то неизмеримо большего, чем наслаждение, и в этом слились воедино земля и небо. Потом на нее обрушилось нечто ужасное, невозможное, и она вцепилась обеими руками в волосы Оливье, обхватила его голову, словно пытаясь проникнуть в нее. В этот момент что-то взорвалось, она умерла и ее не стало.

Оливье осторожно расстался с золотистым цветком, бережно поцеловал нежные теплые линии, нежный живот, груди, приоткрытые губы, сомкнутые веки. Джейн почувствовала, как он медленно и мощно вошел в нее. Наполовину уснувшая, наполовину лишившаяся жизни, она почувствовала, что в ней возрождается то, что она считала невозможным. И жизнь снова вспыхнула где-то в самой сокровенной глубине ее тела благодаря проникшему в нее божеству, зажегшему в ней солнце и звезды.

Смотрящий Будда взирал на происходящее у его ног. Он помнил, что уже видел всю любовь мира.

Лорен посигналила. Грузовик с кузовом, заполненным непальцами, медленно тащился по самой середине узкой дороги, оставляя позади себя длинный шлейф пыли. Она нажала кнопку, и из багажника поднялась брезентовая крыша и сомкнулась над головами. Стекла поднялись, завершив полную изоляцию кузова.

Пассажиры грузовика орали и смеялись в восторге.

Лорен продолжала сигналить без перерыва. Наконец неуклюжий грузовик подался влево; теперь он почти задевал бортом крутой склон. В Непале левостороннее движение, как в Индии и Англии. Лорен вихрем проскочила мимо грузовика, едва не раздавив группу носильщиков, передвигавшихся рысцой с грузом кирпичей, и вырвалась на простор, продолжая ругаться по-американски. Она не выносила, когда перед ней появлялось препят-

ствие. На сиденье рядом с ней дремал Гарольд. Одним движение руки Лорен убрала крышу и боковые стекла.

На заднем сиденье Оливье был стиснут между Свеном и Джейн. Сидя боком, она не сводила с Оливье глаз. Она никак не могла понять, что произошло с ней этой ночью. Разве было что-то необычное в этом парне? Да, он был красивым, но и Гарольд выглядел не хуже. Конечно, он был искусным в любви, как никто и никогда… Но то, что она испытала, было не просто более сильным наслаждением, чем когда-либо раньше… Это было… Что? Ощущение счастья? Значит, она не была счастлива раньше, с друзьями? Вот если бы он остался с ними, это было бы замечательно… Она вздохнула, улыбнулась и еще сильнее прижалась к нему. Она была измучена любовью.

Оливье взглянул на нее нежно и немного иронично. Он провел с девушкой всю ночь, расставшись с ней перед самым рассветом, и теперь испытывал отрешенность, характерную для юных самцов, организм которых еще не восстановился после длительного сексуального напряжения. Теперь для него более важным было то, как пройдет встреча с отцом в Катманду.

Наклонившись вперед, он спросил Лорен:

— Вы хорошо знаете европейцев в городе?

— Я знаю всех… Я хочу сказать, кроме местных… Всех европейцев, разумеется. Их не так уж много, ведь Катманду — это большая деревня…

— Вы знаете человека по фамилии Жамэн?

— Жака? Его все знают! Это с ним вы хотите встретиться?

Она с любопытством взглянула на него в зеркале заднего вида. Оливье ответил утвердительно и откинулся назад.

— Сейчас его нет в Катманду, — сказала Лорен. — Он занят подготовкой сафари для моего мужа. Жорж хочет добыть несколько голов тигра, чтобы поместить их между картинами Пикассо… Но он стреляет, как слизняк…

После короткого молчания она с отвращением добавила:

— Он все делает, как слизняк… К счастью, Жак знает, что ему нужно стрелять одновременно с охотником. Иначе у него не останется клиентов… Тигры сожрали бы их всех! Сейчас он в своем лагере, в лесу. Это нам по дороге, если хотите, я вас высажу там…

Встревоженная Джейн схватила обеими руками руку Оливье. Он рассеянно взглянул на девушку, потом снова обратился к Лорен и сказал, что это его устраивает.

Дорога теперь все время шла под гору, так как они пересекли первую горную цепь. К полудню машина достигла просторной долины. Здесь царила влажная тропическая жара. По сторонам дороги тянулся редкий лес громадных деревьев, отделенных друг от друга прогалинами, поросшими высокой травой и пышными кустами, усеянными огромными цветами.

Лорен остановилась там, где от основной дороги в лес уходила узкая автомобильная тропа. На небольшом деревянном щите, прибитом к дереву, была изображена голова тигра. Стрелка указывала направление.

— Это здесь, мой мальчик, — сказала Лорен.

Джейн вышла из машины, чтобы выпустить Оливье. Она проводила его до начала тропы в густой тени.

— Куда ты идешь? Что тебе нужно от этого типа?

— Я должен забрать у него свои деньги!

— Ты сошел с ума! Брось эти деньги! Идем с нами!

— Нет, я должен...

Он оглянулся на машину. Гарольд расправлялся с бутербродом. Свен курил. Он вспомнил ночь, невинное тело, распростертое перед ним в свете масляных ламп, испытанное ими наслаждение — или счастье?

— Оставь этих типов! Это же жалкие личинки! Ты должна пойти со мной!

Она посмотрела на него удивленно и печально. И как только он мог просить ее об этом? Она не хотела, нет, она не могла вернуться в оставленный ею мир, унылый мир денег, обязанностей и запретов. Свен открыл перед ней путь к свободе, и теперь ничто не могло заставить ее отказаться от новой жизни, единственно правильной, единственно возможной. Она не могла покинуть Свена, даже ради Оливье. О Гарольде она не думала, Гарольд не имел для нее никакого значения. Но когда она отказалась сопровождать Оливье, тот подумал прежде всего именно о Гарольде, о сцене, которую ему пришлось наблюдать позавчера возле костра…

— Ну, тогда привет! Чао!

Подхватив рюкзак, он взбросил его на плечо. Джейн внезапно осознала, что эта разлука может быть окончательной, и ей стало страшно.

— Значит, мы больше не увидимся?

— Ты хочешь снова увидеться со мной?

— Конечно… А разве ты не хочешь?

Конечно, ему хотелось увидеться с Джейн, но он не мог забыть другого парня, раздевавшего ее. А, все они одинаковы! Все! Все…

— Есть то, что я не способен делить с другими, — сказал он.

— Что именно? Что ты имеешь в виду?

Она действительно не понимала, она хотела, чтобы он объяснил, у нее еще был шанс удержать его.

— Эй, Оливье! — крикнула Лорен. — Поторопись, нам нужно ехать! Тигры уже проголодались!

— Чао! — бросил снова Оливье.

Он отвернулся от нее и двинулся по тропе вглубь леса.

Обернувшись назад, Джейн смотрела на лес, поглотивший Оливье. Тропа уже исчезла за поворотом, сзади появился грузовик и тоже исчез в облаке пыли. Джейн все равно продолжала смотреть назад. Потом Свен положил ей руку на плечо. Она обернулась. Он ласково улыбался ей. Она улыбнулась в ответ, но улыбка у нее получилась не слишком жизнерадостной. Свен протянул ей, достав из кармана, небольшой бумажный пакетик и развернул его. Она увидела белый порошок.

— У меня осталось еще немного. Хочешь половину?

Она перестала улыбаться. Нет, только не это. Ей стало страшно.

— Как хочешь, — улыбнулся Свен.

Но в тот момент, когда он поднес к носу бумажку, чтобы втянуть порошок, она неожиданно решилась и протянула руку.

— Ладно, дай мне тоже…

На веревках, натянутых между деревьями, висело несколько шкур тигров, растянутых на палках. Мужчина, стоявший в джипе, за рулем которого сидел человек в тюрбане, наблюдал за проходящими перед ним слонами, снаряженными для охоты. На спине у каждого из них сидели погонщик и туземный охотник. Длинной шеренгой за слонами стояли загонщики.

Описав плавную дугу, джип пристроился к веренице слонов. Стоявший в нем мужчина вооружился мегафоном и произнес несколько фраз на английском. Оливье понял почти все, потому что английские слова были произнесены с французским акцентом.

Словно главнокомандующий перед сражением, мужчина отдавал распоряжения, относящиеся к охоте, которая должна была начаться завтра. В последней фразе он уточнил время общего сбора. Он был в шортах цвета хаки и военной гимнастерке такого же цвета. На широком кожа-

ном поясе с медными заклепками висела кобура. Под ветровым стеклом джипа было прикреплено большое ружье, предназначенное для охоты на крупного зверя.

Развернувшись, джип направился в сторону Оливье. Заметив его, мужчина, усевшийся рядом с водителем, снова встал и что-то скомандовал. Джип затормозил рядом с юношей. Тот неподвижно стоял, не говоря ни слова. Заинтригованный мужчина некоторое время смотрел на него, потом не выдержал и спросил с раздражением:

— You want something?[1]

Вместо ответа Оливье спросил:

— Вы месье Жамэн?

— Да, это я.

— Меня зовут Оливье…

— Оливье?

Оливье, Оливье, это имя было ему знакомо… Внезапно его лицо осветилось:

— Оливье? Так это же сын Мартин?

— А также ваш сын, согласно гражданскому состоянию, — ледяным тоном ответил Оливье.

Одним прыжком Жак выскочил из джипа и закричал через голову Оливье:

— Ивонн! Ивонн!

Недовольный голос ответил ему откуда-то сверху:

— В чем дело?

Жак закричал:

— Идите сюда! Это потрясающе! Это же мой сын!

Схватив Оливье за плечи, он развернул его, желая продемонстрировать своего сына всем окружающим.

Между ветвями нескольких гигантских деревьев были сооружены из прутьев и соломы большие хижины, к которым можно было добраться по крутым деревянным лесенкам. Это было жилье для охотников, шикарные «примитивные хижины» для миллиардеров.

В одном из ближайших окон виднелся эффектный бюст женщины, к которой обращался Жак. Брюнетка с прямыми волосами, свисавшими до плеч. На ней была оранжевая мужская рубашка, порядком изношенная. Она молча смотрела на мужчин, стоявших под деревом. Энтузиазм Жака не пробуждал в ней никакого интереса, даже чисто из вежливости. Насколько Оливье мог разглядеть ее снизу, она казалась печальной.

— Это жена Теда, моего компаньона, — объяснил Жак. — Она принимает клиентов, а я обеспечиваю им сильные эмоции…

За время, остававшееся до наступления темноты, Жак показал Оливье весь охотничий лагерь, не переставая говорить и отдавать приказания прислуге, то и дело мелькавшей вокруг них. Он не замечал холодности Оливье, которому, впрочем, не давал сказать ни слова. Его волосы, без единой седой прядки и того же оттенка, что и у сына, были уложены в гладкую английскую прическу с пробором с левой стороны. Глаза у него были светлее, чем у Оливье, и взгляд казался гораздо менее серьезным. Если у Оливье был взгляд взрослого мужчины, то у отца он больше походил на взгляд мальчишки.

— Ты будешь спать здесь; это хижина Рокфеллера. Пока я тебя оставлю ненадолго; отдохни и приведи себя в порядок. Через час будем ужинать.

[1] Вы что-нибудь хотите?

Столовая находилась в самой просторной хижине. Один из углов зала занимал ствол могучего дерева, и гигантская ветвь, отходившая от него на уровне земли, пересекала по диагонали все помещение от пола до потолка. Пол был застелен тигриными шкурами и коврами, сотканными местными мастерами. Стены и ветвь дерева были увешаны головами тигров, буйволов и носорогов. Между ними размещались светильники, заправленные ароматным маслом. Блестящие от смазки и готовые к применению охотничьи ружья самых разных калибров, способные уложить на месте любое живое существо от зайца до слона, занимали почетное место среди охотничьих трофеев. В центре большого стола из красного дерева медное божество простирало во все стороны многочисленные руки, заканчивавшиеся подсвечниками. Горящие свечи освещали дорогую кружевную скатерть и расставленные на ней хрустальные бокалы и фарфоровую посуду.

Жак никак не мог занять свое место. Стоя возле стола, он с помощью энергичных жестов рассказывал о недавней охоте. На нем был белый смокинг; рядом сидела Ивонн в вечернем вышитом жемчугом платье на бретельках, давно вышедшем из моды, но вполне устраивавшем клиентов-миллионеров. Оливье хотя и остался в потрепанной куртке, но был побрит, умыт и причесан.

— Бац! Бац! Бац! — воскликнул Жак, изобразив ружье, приложенное к плечу. — Две пули я всадил ему в глаз и еще одну в нос! Если бы я промахнулся, он накинулся бы на моего клиента и сделал бы из него кровавый бифштекс! Я пообещал не называть его, он приехал в Непал инкогнито, но промахнись я, и крупнейшее королевство Европы осталось бы без короля!

— Не надо преувеличивать, — холодно заметила Ивонн. — Это был не король.

Жак расхохотался, потом замолчал и сел на свое место.

— Что правда, то правда! Королевой была его жена. У супружеских пар такое случается…

Устроившиеся возле ствола дерева старик и двое мальчишек исполняли на небольших туземных скрипках мелодию, одновременно игривую и меланхоличную. Из-за дерева, где размещалась кухня, то и дело торопливо выбегали одетые во все белое, но босые официанты в небольших непальских шапочках, то приносившие, то уносившие что-нибудь и выполнявшие свою работу с явным удовольствием.

Два официанта собрались унести огромное, стоявшее у ног божества-канделябра, серебряное блюдо с остатками сочащегося кровью мяса, обложенного разными овощами и фруктами. Жак приказал им подождать, потому что его сын еще не закончил расправляться со своей порцией. Потом он распорядился поменять шампанское, которое уже успело согреться. Он выплеснул остатки шампанского из своего бокала в серебряное ведерко, в котором стояла бутыль, затем схватил с блюда большой кусок мяса и положил его в тарелку Оливье.

— Ешь как следует! Когда я был в твоем возрасте, я пожирал мясо, словно голодный волк, а теперь я расправляюсь с мясом не хуже льва! Мужчина должен есть мясо! Иначе он будет печальным и быстро состарится!

Он откупорил принесенную бутылку и потянулся с ней к Оливье. Но бокал того и так был полон до краев, а в тарелке только что положенный кусок мяса оказался над недоеденной предыдущей порцией.

Жак начал смутно догадываться, что в поведении сына было что-то не совсем обычное.

— Что с тобой? Что-то не так? Ты ничего не ешь, ничего не пьешь… Неужели мой отпрыск стал священником?

Оливье стиснул зубы. Ивонн, давно заметившая нервное напряжение юноши, увидела, как под загаром, покрывшим лицо Оливье за несколько дней пути, разлилась мертвенная бледность.

Оливье выпрямился в кресле. Жак, с интересом смотревший на него, пожал плечами, наполнил свой бокал, выпил и поставил его на стол.

— Я сожалею, — сказал Оливье, — что разделил с вами трапезу, не сказав перед этим то, что должен был сказать. Меня можно извинить только тем, что я сильно проголодался… Вы можете удержать с меня стоимость ужина после того, как мы уладим наши счеты…

— Ты это о чем? — ошеломленно пробормотал Жак. — О каких счетах ты говоришь?

Ивонн улыбнулась и посмотрела на Оливье с возросшим интересом.

Официант взял из рук Жака бутылку с шампанским и снова наполнил его бокал. Скрипки с небольшими вариациями негромко продолжали одну и ту же мелодию. Старик начал подпевать гнусавым голосом.

— Я пришел попросить вас… — начал Оливье и тут же замолчал. Потом он выкрикнул: — Вы не могли бы заставить их замолчать?

Жак удивленно посмотрел на него, затем что-то сказал старику. Музыка прекратилась.

На несколько секунд воцарилась гробовая тишина. Официанты застыли на месте, и только золотистое пламя светильников и свечей продолжало слегка колебаться в неподвижном воздухе. Снаружи послышался визг обезьян, потревоженных приглушенным рычаньем тигра.

— Сегодня ночью они совсем близко! — сказала, ни к кому не обращаясь, Ивонн.

— Они могут бродить там, где им хочется, мне наплевать на это, — нервно огрызнулся Жак, не сводивший глаз с Оливье. — Значит, ты хочешь попросить у меня что-то. Что именно?

К Оливье вернулось спокойствие. Он достал из кармана куртки какую-то бумагу и произнес холодным тоном:

— Я пришел к вам за тем, что мне причитается… Деньги на пропитание, которые остались невыплаченными вами после моего рождения… Здесь тридцать миллионов. Вот мои подсчеты, можете проверить их…

Он развернул лист бумаги, положил его на стол перед собой, потом придвинул его к Жаку. Тот посмотрел на него как на что-то нелепое, непонятное и в то же время удивительное, что-то такое, что ни в коем случае не должно было находиться здесь, на этом столе и в это время.

— Я не стал считать, — добавил Оливье, — сколько стоит стирка грязного белья и мытье посуды, чем моя бабушка занималась на протяжении двадцати лет… Что же касается того, чем я обязан матери, то всего вашего состояния не хватит, чтобы рассчитаться с ней за все…

Ивонн, повернувшаяся к Жаку, смотрела на него с тем нетерпеливым ожиданием, с которым фотограф ждет, когда на белой бумаге, опущенной в проявитель, появится изображение.

— Что, Жак, — негромко произнесла она, — вот и наступил для тебя момент истины…

— О какой истине ты говоришь?

Жак помахал в воздухе бумагой, которую только что прочитал, выйдя с помощью этого жеста из оцепенения.

— Истина в том, что мой сын оказался не священником, а бухгалтером! А я-то надеялся, что ты приехал повидать отца… Поохотиться с ним… И подружиться со мной… Ладно, ты получишь свои миллионы! Жаль только, что ты испортил вечер… Прошу извинить меня, но я пойду прилягу.

Он опорожнил бокал и встал.

— Мне жаль, но он ничего вам не даст, — сказала Ивонн, глядя на Оливье. — Просто потому, что у него ничего нет.

Отошедший от стола на несколько шагов Жак остановился и обернулся.

— Это так. Здесь нет ничего, что принадлежало бы ему. Ничего! — негромко продолжала Ивонн.

Она говорила негромко, и по звучанию голоса можно было понять, что жизнь у нее была нелегкой.

— Постройки, весь капитал, слоны, ружья, даже этот смокинг, что на нем, ему не принадлежат. Здесь все принадлежит моему мужу!

— Простите! — воскликнул Жак. — Что касается капитала, согласен, это его деньги. Но половина нашего состояния — это моя работа! Что там половина, гораздо больше! Где бы мы были, если бы не я? И чем бы был Тед? Ничем!

Он вернулся к столу и хотел взять бокал, который уже был наполнен официантом, но Ивонн помешала ему.

— Хватит пить, — устало произнесла она. — Лучше присядь к нам, поговорим.

Она снова повернулась к Оливье.

— Я больше так не могу… Не знаю, можно ли найти выход из этой ситуации… Я люблю его, потому что он совсем как ребенок, и я пытаюсь сделать из него мужчину… Может быть, это неправильно, не знаю…

— Ты считаешь, что Оливье все это интересно? — язвительно поинтересовался Жак.

Стоя возле стола, он принялся копаться в коробке с длинными тонкими сигарами.

— Да! Потому что это его касается! Потому что тебе придется сказать ему всю правду! Может быть, что-то изменится в тебе, когда ты услышишь то, что сам скажешь сыну! Когда скажешь ему, что ты — пустое место и что у тебя ничего нет! Тебе не принадлежит даже эта сигара!

Гнев преодолел ее усталость; продолжая говорить, она встала из-за стола и вырвала у него из пальцев сигару, которую он осторожно поворачивал над пламенем свечи.

— Здесь все принадлежит Теду! Все! Твой труд! Твоя жизнь! Все, что ты делаешь, служит только для того, чтобы замаскировать его подпольную торговлю!

Продолжение следует.

Перевод с французского Игоря Найденкова.





УЛЬРИХ ГРАСНИК

*Навстречу иному свету**

Ульрих ГРАСНИК, известный современный немецкий поэт, автор многих поэтических сборников. В 1977 году он познакомился с Марком Шагалом и получил от него разрешение на использование репродукций его картин для иллюстраций к своим стихотворениям. Одна из книг Грасника посвящена полотнам Пабло Пикассо. Руководит литературным объединением в Кёпенике, одном из районов Берлина. На стихи этого поэта обратил мое внимание Лев Гинзбург еще в конце 60-х годов. Для перевода я выбрал стихи из книги «ФЕРМАТА НАДЕЖДЫ».

Марку Шагалу
Иде Шагал
сердечно и с благодарностью посвящается

* * *

В твоей последней картине
ты ждешь,
когда сам наконец взлетишь,
когда небо
уйдет
за пределы всех рам,
умножая
свою бесконечность,
и твоему телу
даст свое
оперение ангел,
тебя увлекая
туда,
где мы прозреваем цель
нарисованной тобой надежды,
где тает земное время,
улетая
на крыльях часов —
я вижу покой
на твоем лице,
он нас посвящает

---

* «Навстречу иному свету». Последняя картина Шагала (*примеч. переводчика*).

в твои последние думы,
в которых резкий встречный свет смерти
потерял свою силу.

Ты уже на пути
к иному свету —
я вижу тебя, босого,
и твой след
расходится сиянием;
больше нет мятежа красок —
красной,
зеленой,
желтой —
ты вернулся
к одному-единственному цвету,
к успокоению
в легкой голубизне.

Если ты даже ушел
от своей картины,
не успев нанести свое имя,
в ней осталось твое дыханье,
я узнаю твою руку.

Я слушаю музыку,
что ты любил слушать,
когда ты ее звуки
смешивал на палитре
с твоими красками.

Поездка в Витебск

1

Снег раздвигает
границы пространства.
Тишина занимает все больше места —
высоко в стуже
заспанный, бледный
дневной месяц,
как опечаленный путник,
опоздавший на ночной поезд.
Свет, из безмолвия
вырванный, веет
вдоль рельсов,
веет в покинутые дворы,
тьму теснит
на крышах домов,
заглушает чугунный
грохот колес —
за окнами
указующий перст мороза —
железный авторитет
замыкает любой взор.

2

Зима,
под капельницей сосулек
крушение белых дворцов,
тихо тает
бесконечный сон,
словно ясная ночь
цветов на окне —
они не вянут, а плачут —
никакой ветер
не взметет их пыльцу.

3

Весна
с белыми самолетами
уже в пути —
вместо голубой ленты
мерцает след конденсата
в воздухе.
Он пересекается
с другим белым следом —
небо получает
новую перспективу.

Голубой дом

Из «Витебских элегий»

1

Как же это возможно
не вспоминать о голубом доме,
как можно мне перестать
искать прошлое,
нарисованное на твоих картинах.

Я шел по их улицам,
через их ворота,
заходил в церкви,
мимо дома, где ты родился, —
ничего из этого не осталось.

Я вижу
маленький музей Шагала.
Порой перед ним
стоит скрипач
с усталой улыбкой,
но в звуке его скрипки
еще таится мечта.

2

Я иду мимо сада,
огородное пугало

лежит на спине,
словно оно загорает.
Золотые пуговицы
его синего бушлата
все еще сияют.

Я захожу
в аптеку,
беру аспирин,
только чтобы спросить,
где была аптека,
нарисованная некогда Шагалом.

Аптекарша
качает головой,
говоря, поищите еще,
всегда имеет смысл
искать дальше.

Воспоминание —
адская работа,
словно разгадывать
полустертые письмена,
или словно я
в бушующем море
ищу камень,
брошенный вчера.

3

Есть города
как поезда
на запасном пути —
стрелки проржавели,
за ними обрываются рельсы,
и узкие тропы ведут
по остаткам щебенки
вдоль истории.

Я не нашел никого,
кто мог бы сказать,
я еще видел
ту синагогу;
я тогда еще праздновал
праздник….

Ты для меня остаешься
единственным доступным свидетелем,
кто видел еще не разрушенный Витебск.
Но я не спрашиваю тебя
о твоем родном городе,
где лежат на земле разбитые
зеркала твоей души.

4

Мне жаль
увядших цветов,
навеки ушедших женщин,
я устал от исканий
на бесконечных дорогах,
устал от воспоминаний,
они ведут к одиночеству,
из которого выхода нет.

Пусть дальше мимо
течет река —
рыбак у костра
разделывает рыбу.
Он говорит, что ночь длинна,
когда не клюет рыба —
и даже если рыба нема,
если улов удался,
он стоит доброй беседы.

5

Не удалось свидание
с голубым домом
у Двины.
Только месяц
все тот же, тогдашний,
и река
указывает все так же
путь к морю.

Поэт с птицами

I

Два стройных дерева,
что держат небо,
цветенье,
преодолевшее земную тягу,
пока в первых порывах
свет не распадется,
пока ветер
не нарушит покой
кривых заборов,
границы
еще только брезжат —
распахнутая дверь говорит —
войди.

II

Поэт — охотник,
он ставит ловушки —

он ждет,
когда птица —
слово,
попадет к нему в сеть,
полета стихов ради.

Когда он глаза закроет,
в нем сольются
голоса птиц
с его речью,
сольется
свобода полета
со всеми сторонами света
поэзии.

III

Сердце птицы

Осипу Мандельштаму

Когда затихает
сердце птицы,
тень ее тяжко
падает в море.

Мы не знаем
о смерти птицы —
мы лишь видим: все лето
гнездо пустует.

Предисловие и перевод с немецкого
Вячеслава Куприянова.



ГЕОРГИЙ ПОПОВ

Откуда течет «Нёман»

24 марта 1963 г.

Комаровский базар. Народу тьма-тьмущая. Холодно, и дядьки одеты в кожухи и ватники. Возле мешков с картошкой — очереди.

Кондрат Крапива — высокий, прямой, краснолицый — ходит в толпе. Спросил, почем картошка. Возле другого воза постоял, взял в горсть ячменную муку, понюхал и высыпал обратно в мешок. Поднял с земли вязанку зеленого сена — душистого, лугового, — положил обратно, помял красными от холода пальцами. Постоял, прислушиваясь, о чем судачат дядьки, и не спеша побрел к лоткам, где тетки продают семечки...

29 марта 1963 г.

Хорошие строки прочитал в «Уставе Союза коммунистов» Маркса и Энгельса:

«...Все члены Союза равны, они — братья и, как таковые, обязаны во всех случаях помогать друг другу». Нам бы так!

6 апреля 1963 г. Разговор по телефону:

Я. Г. Миско. Слыхал? Нас прикрепили к закрытому распределителю.

— Кого это — нас?

Я. Г. Миско. Нас — значит редакторов газет.

— А что это даст бедным редакторам?

Я. Г. Миско. Как же! Яйца, например, шестьдесят копеек десяток. Свеженькие. Масло и все прочее соответственно.

— Безобразие! Встал бы Ленин...

Я. Г. Миско. Если бы встал!

В трамвае

— Разрешите сесть рядом с вами?

— Пожалуйста!

— Ишаки, не правда ли? — показывает на сумку с мясом, сушеными грибами, на сетку с красной картошкой. Все с базара.

— Ишаки поневоле.

— Это вы хорошо сказали. Поневоле станешь ишаком, когда в магазине хоть шаром покати. Хотела мужа на базар послать, да где там! Собрал снасти — и в Гонолес. Сейчас, говорит, самый щучий клев. Ну, что ты с ним поделаешь! А привезет... Что, думаете, он привезет? Восемь ершей, ни больше ни меньше. Ему этих ершей как по карточке отпускают. Каждую неделю по восемь,

И — пошла-поехала... Ехали мы вместе минут пять-десять, но и этого оказалось достаточно, чтобы я узнал чуть не всю историю ее «ишачьей» жизни.

Начало в № 12, 2010 г.

4 июня 1964 г.

Разговор о химии. Организовала «Литературная газета». В. Захарченко, Г. Марягин, О. Кретова, К. П. Орловский, академики и т. д.

Я сидел рядом с Янкой Брылем. Кто-то упомянул М. Горького — старик однажды напутал, говоря об очерке. Я спросил:

— Иван Антонович, вы любите Горького?

— Горький большое явление, я это знаю, но люблю Чехова, Толстого, Лермонтова, Гоголя, особенно Лермонтова... Особенно, — повторил он и тут же добавил: — Хотя... некоторые горьковские вещи написаны густо — «Детство», например... А вот «Клима Самгина» читал и, кроме двух-трех деталей, ничего не помню...

9 июля 1964 г.

На даче в Теребутах. Четвертое лето.

Хозяйка Саша, жена Александра Архиповича, бывшего председателя колхоза. Говорит ласково-певучим голосом:

— Он у меня такой зайздросный, — это о муже.

Или:

— Пьяный, как земля... Пьяный — ну в стелечку...

Об утятах, которые озябли, почти замерзли, и головы повесили:

— Окорчанели, бедненькие!

В комнате у нее уйма всяких картинок: рядом с «Тремя богатырями» и «Аленушкой» — вышитые гладью розы и попугай среди таких же роз, на стене — писаный маслом «ковер» — озеро не озеро, а что-то вроде озера, хижина под черепицей, желтая луна, два лебедя тянут лодку, в которой, утопая в цветах, сидят две девушки. Третья «помогает» лебедям, держа в руках тонкий шест. Еще две девушки (одна стоит, другая не то сидит на мостках, не то стоит чуть не по пояс в воде) ждут, когда лодка причалит.

Словом, тот еще «ковер»! А в шкафу — великолепные постилки и ковер — тоже великолепный — своей, ручной работы. Постелить и повесить Саша стесняется — засмеют в деревне, потому что это свое, это не модно.

Считалки

I

Чок-чок! Молчок!
Мы пойдем в соснячок,
Где живет-поживает
Молодой боровичок.

II

Чок-чок! Молчок!
Ходит окунь, как волчок.
Погоди еще немного —
Попадешься на крючок.

III

Дятел

Ну и дятел —
Будто спятил!
Сел на сук
И стук да стук...
Эй, приятель,
Брось, приятель,
Слушать это недосуг.
Помолчи хоть до утра,—
Видишь, детям спать пора.

17 июня 1965 г.

Разговор в редакция «Немана»:

— Игорь, где ночевал?

Игорь Шкляревский:

— А-а, тут у одной. Я теперь знакомлюсь просто. Подхожу: «Здравствуйте!» — и молчу. Потом показываю членский билет Союза писателей и опять молчу. Думаю. Делаю вид, что думаю.

— А она?— хохочет Наум Кислик.

— А что она? Она уже дрожит: как бы не ушел, как бы не бросил...

Хорошо иметь членский билет Союза писателей!

А что? Ночевать всегда пустят.

24 июня 1965 г.

Адрес Петрусю Бровке по случаю его 60-летия. Подписали Березкин, Тарас... Кислик:

— Не хочу!

— Наум, ты же наш автор!

— Если бы кому другому, а Бровке не хочу! Слава не та!

Через полчаса является Ефимов.

— Федя, приложи руку!

Берет адрес, читает, морщится. Возвращая обратно:

— Георгий Леонтьевич, меня здесь не было! Не было и все!

Двумя или тремя днями позже.

Вечер. Пташников сидит дома. Убаюкивает сына. Я пошел с Валентиной в кино. На фильм «Зайчик». Отдаем ключи от квартиры Пташникову, спускаемся вниз, — навстречу Короткевич.

— Здравствуйте!

— Здорово, Володя!

В руках у Короткевича рюкзак, новенький, купленный в ЦУМе за одиннадцать рублей, как он сказал.

— Откуда?

— Да вот, рюкзак купил. В поход собираюсь.

Я посмотрел на часы — уже шесть сорок... Значит, и этот не пошел на юбилей Бровки.

11 сентября 1965 г.

В журнале «Bohemia» (Куба), в мартовском номере, опубликовано интервью с И. Эренбургом.

«Третьяковку» давно надо было сжечь... Она опоздала на двести лет...»

Какая точность!

Прочти такое «интервью» Достоевский, от Эренбурга не оставил бы мокрого места.

А наш «патриоты» молчат. Как будто ничего не случилось.

16 сентября 1965 г.

Игорь Шкляревский рассказывал о рыбной ловле на Соже («На Сожу!» — так он выговаривает). В проводку. Рассказывал, как поэму читал!

4 декабря 1965 г.

6 ноября стало известно, что «Неман» наконец стал ежемесячником.

Сегодня 24 — и сколько слухов, сплетен уже разлилось вокруг этого события. Заявлений уйма. Кислик, Ефимов, Колос, Хорьков, Богушевич, Адамчик, даже Рудов и Шитик... И что ни день, то новые сплетни. Уже неоднократно «смещались» Василенок и я, грешный, «назначались» Громович и Ткачев. Потом

и они «смещались» и вместо них появлялись новые претенденты на наши места... Окончательно все решится в первых числах декабря, когда приедут Бровка из Кисловодска и Шамякин из Таджикистана.

* * *

Только что узнал, что вчера на квартире у Бровки состоялось совещание по поводу будущего «кабинета «Немана». Присутствовали «сам», потом Ткачев, Громович и Василенок. Наметили, говорят, так: Василенок — главный, я — заместитель, Хорьков — ответственный секретарь, Спринчан — редактор отдела поэзии и Богушевич — редактор отдела очерка и публицистики.

30 декабря 1965 г.

Заглянул в редакцию Микола Гамолка. Пополневший, краснощекий, довольный.

Пишет роман «Соколы и соколята». Работа идет хорошо, и он доволен.

— Пятьдесят листов накатал! Будет немножко разве похуже, чем у Шолохова. Когда происходит действие? В первые три месяца войны... Когда все рушилось, проверялось, испытывалось...

И — после небольшой паузы:

— Что в белорусской прозе? Мележ — вершина. Брыль хорош, но читатель его не любит. Шамякин сюжетен, хотя и опускается до газеты. Хочу соединить Брыля и Шамякина — будет вещь!— и улыбается, надувая полные, как у хомяка, щеки.

* * *

Звоню в ЦК:

— Когда же все утрясется с «Неманом»?

Жанна Михайловна, работник отдела культуры, сообщает, что все, сегодня должно все решиться. Заседает бюро, если, мол, успеет, то...

В четыре дня — звонок:

— Все, Георгий, был в ЦК... Удовлетворили мою просьбу... Ухожу на «белый хлеб», как говорится...

Голос бодрый, но бодрость явно напускная.

— Завтра в двенадцать передам Макаенку ключи от стола... Хватит, поработал!

21 января 1966 г.

Вчера состоялась церемония по случаю вступления в должность главного редактора Андрея Макаенка.

Присутствовали: Кузьмин и Товстик — от ЦК, Шамякин — от Союза писателей. Потом Макаенок повел нас в ресторан «Лето» — туда пошли Шамякин, Василенок, Тарас и Колос, — где и «замочили» рождение нового, в сущности, журнала и новой редакции.

Наконец-то мои многолетние хлопоты увенчались победой! Теперь — работа, работа, работа...

4 февраля 1966 г.

Андрей Макаенок рассказывает:

...Алесь Кучар написал сценарий о минских подпольщиках времен Великой Отечественной войны. На студии этот сценарий дали почитать ему, Макаенку. Через некоторое время Кучар встречает Макаенка, спрашивает:

— Ну как?

Макаенок сказал, что думал, Минское подполье — это реальные люди. А он, Кучар, выдумал своих подпольщиков, приписав им то, что делали когда-то «живые», настоящие подпольщики. Это спекуляция на теме, профанация, кощунство... И так далее — все в этом роде.

Кучар опешил. Потом стал просить, почти умолять Макаенка:

— Хорошо... Только не говори того, что ты сказал сейчас, на совете студии. Не скажешь? Дай слово, что не скажешь, и я поверю тебе... Я знаю: ты — честный человек, — и поверю...

...Макаенок такого слова не дал. Наоборот, он заверил Кучара, что непременно выступит и скажет именно то, что сказал автору в глаза.

15 мая 1966 г.

На съезде познакомился, а вчера, на правительственном приеме по случаю окончания съезда, поближе сошелся с Василем Быковым. Мы сидели рядом и говорили на литературные темы.

— Страшен не Сахно, а сахновщина как явление — оно было, есть и будет. И не только у нас. Маккартизм в США — что это, как не разновидность сахновщины!

Быков согласился, сказав, что ему это не приходило в голову, но это верно, так.

Потом — о неверном взгляде на литературу, о неверном подходе к оценкам литературных явлений. Литература — рассказ, повесть, даже тот или иной образ — шире — даже во времени — подобных же фактов жизни. Обломов умер, обломовщина живет. Дон Кихот, рожденный триста лет назад, и сейчас ходит по всем материкам и странам...

* * *

Александр Адамович прочитал Аленкины рассказы. Сегодня звонил по телефону: «Талантливо! Безусловно талантливо! В ее годы мы так не умели!» А в Литинститут отпускать ее не советует: «Клоака!»

17 мая 1966 г.

Андрей Макаенок, в разговоре:

— Писатели делятся на две категории. Одни — это писатели, какими мы их знаем, и плюс то, что они еще способны дать нового (I + X); другие — это писатели, какими мы их знаем, и плюс ноль (I + 0), то есть они уже ничего не могут дать нового, ничего не могут прибавить к тому, что у них есть. К первым относятся Быков и Шамякин, ко вторым — Мележ.

25 мая 1966 г.

Вчера побывал на даче Андрея Макаенка. Сначала заехали к Шамякину. Его дача ничего себе, производит впечатление. Но дача Макаенка... Дом с мезонином, огород — двенадцать соток, в огороде яблони, клубника, лук и прочая зелень. Колодец — глубокий-глубокий, — воду из него достает с помощью насоса.

В доме, кажется, шесть комнат и кухня. Потолки высокие — рукой не достать. Водяное отопление. Подпол. Все, так сказать, чин-чином…

Сейчас на даче постоянно живет мать Андрея, 70-летняя деревенская женщина с темными, почти синими обводами под глазами. Очень рада:

— В городе и выйти некуда, и делать нечего. А тут хоть на огороде что поделаешь. Дома-то я в колхоз ходила...

О сыне:

— Он у меня хороший. Если бы не он, то разве я вырастила бы детей! Пришел после войны и сразу стал в этом... в райкоме работать. Ну, и одел, обул всех... А сейчас... Да что говорить!

Сели обедать. Выпили по рюмке. Мать отказалась. А тут и Шамякин нагрянул. Пришел пешком — низенький, полный, розовощекий, — только что из ванной.

— Ну, давайте, хлопцы… Что — водка с ромом? А если коньяк? Я — за коньяк. После него голова не болит.

8 июня 1966 г.

Аленкины рассказы прочитали еще Макаенок и Тарас. Оба хвалят. Андрей выделил «Смерть одинокого вождя», тонкий, по его мнению, в психологическом отношении. Ему не нравится только последняя фраза: «Я хочу неба». Совпадение взглядов — мне она тоже не нравится, я в свое время, еще два года назад, убеждал Аленку заменить ее другой, более реалистически конкретной, что ли, но… попробуй ее убедить!

Валентин Тарас предлагает опубликовать «Смерть одинокого вождя» и еще один-два рассказа в «Немане». Даже называет время — первый номер за 1967 год… Он уверен, что Ленка очень талантлива и что ее пора печатать. Не знает он только, что она сама не больно-то рвется в «Неман»… Ей подавай «небо»!

12 июня 1966 г.

Иван Бурсов привез из Москвы новость — Ленка в литинститут не прошла по конкурсу, хотя рецензия, говорит, положительная… Здесь, на отделении журналистики, нужен двухгодичный стаж… Что делать, ума не приложу.

1 сентября 1966 г.

Лето кончилось… И все утряслось, все тревоги остались позади…

Начать с того, что в последний момент в университет, на факультет журналистики, принимать стали без всякого стажа.

Наплыв был изрядный, однако сдала Ленка очень хорошо (четыре пятерки), и была зачислена.

Когда поступала, то приложила к документам рассказ «Кто зажигает звезды?», опубликованный в «Советской Белоруссии», и еще несколько неопубликованных рассказов.

Но она не очень рада. Сейчас, перед тем как отправиться в университет, сказала:

— Опять учиться… Как это надоело!

10 октября 1966 г.

Вчера — телеграмма из Красноярска: «Мама тяжелом состоянии…» Загнали займы, купили билет на самолет… А вечером — другая: «Мама умерла…» В 20.00 посадил Валентину в самолет. В пять утра сегодня она должна быть уже в Красноярске.

Ленку положили в больницу. Говорит, недели через две сбегу.

Остался один.

11 ноября 1966 г.

Сегодня Андрей Макаенок пришел на работу довольный, радостный, почти сияющий.

Я хотел было заговорить с ним о журнальной обложке (новый вариант тоже не годится), еще о чем-то, но он не дал мне и рта раскрыть.

— У меня сегодня такой день, что петь хочется!

Я догадался, о чем речь. В последние две-три недели не проходило и дня, когда бы он не заговаривал о новой пьесе. То эпизод расскажет: «Как? Пойдет?» — фамилию вдруг придумает: «Звучит?» — то название начинает менять («Фрукты» — последний вариант) — и так без конца…

— Кончил? — спрашиваю.

— Кончил! Какой конец придумал! Вчера весь вечер пучился — не получается, хоть ты плачь... Так и спать лег расстроенный... А утром встал: вот, думаю, конец! Секретарь горкома не комедийная фигура, думаю, но ведь он и приходит, чтобы положить конец этой комедии... Как?

— Думаю, что хорошо.

— Мне тоже кажется, что хорошо. — И он на память прочитал заключительную сцену с секретарем горкома.

26 ноября 1966 г.

Вчера Бровка ушел в отставку. На его место сел Танк. К лучшему это или к худшему, кто знает.

* * *

Сегодня Макаенок явился на работу хмурый, как будто чем-то встревоженный.

— Что с тобой, Андрей?

— Пьесу кончил...

— Так это же хорошо!

— Хорошо-то хорошо, да не нравится она мне...

— Привык, может быть, поднадоела, вот и не нравится.

— Нет, не то что-то. Думал, думал... Кажется, промах сделал. Начало и дальше в разной тональности... Сначала трагическое, потом комическое... Не знаю, отдавать перепечатывать или подождать.

— Отдавай, конечно!

Часа полтора мялся, ходил, думал, даже краснел и, наконец, отнес машинистке.

* * *

Маюсь с романом Ивана Мяло. Боже мой, столько мусора, что одной моей лопаты, кажется, не хватит, чтобы его вымести.

Сегодня приходит Янка Брыль. Увидел Мяло, сказал:

— Иван Петрович Шамякин очень хвалит ваш роман…

Мяло смутился:

— Спасибо.

Брыль:

— Это вам спасибо, спасибо за то, что хорошо написали. — И ко мне: — Когда идет? Почитаю. Весь сразу. Я люблю читать всю вещь сразу.

…А я уже измучился с этим романом, и он перестал мне нравиться.

7 февраля 1967 г.

Две недели назад, 26 января, Аленка умотала на север Тюменской области. Вместе с бригадой студентов, участников самодеятельности. А позавчера в воскресенье, заметка в «Правде»: выступают студенты с большим успехом…

Мороз там — пятьдесят градусов!

11 марта 1967 г.

Макаенок мается с пьесой. На конкурсе она не прошла, да на это он и не рассчитывал. Но и поставить ее в театре будет трудно, — все, кто читал пьесу, сходятся в этом.

Я читал ее как-то вслух, залпом. Что сказать? Талантливо, кое-где здорово… И — зло очень. «Пролог» хорош, «эпилог» слабее, как-то водевильнее, что ли. Если пьесу когда-нибудь поставят, то в успехе можно не сомневаться, но поставят ли, вот вопрос!

* * *

Позавчера приходит Азгур и начинает: Шолохов такой, Шолохов сякой, он не пишет — вымучивает каждую строчку, а Эренбург, наоборот, чудесный человек, и пишет легко и здорово, вот Шолохов и завидует Эренбургу. Оттого и на съезде выступил против Эренбурга.

В кабинете, кроме меня, был еще Бр. Спринчан. Пришлось выступить объединенными силами в защиту Шолохова. Азгур, не ожидавший отпора, умолк и раскланялся.

5 июля 1967 г.

У Андрея скверное настроение. Не ладится в семье. С женой на ножах. Жена со свекровью не может ужиться. Племянник хамит. К тому же он что-то натворил и должен попасть под суд.

В эти месяцы (весной — летом) живет на даче — то один, то с матерью, сам себе готовит. Детей отправил к брату в Довск. Жена Лена (она работает в редакции Энциклопедии) живет в Минске.

— Надо разводиться. Надоела такая жизнь. Работать невозможно.

6 июля 1967 г.

Аленка получила из литинститута две рецензии на свои рассказы — и обе положительные. Некто П. Шебунин и А. Кожемякин — за. Но в этом году не попала, — посылая рассказы, она даже не сообщила, кто она, сколько ей лет, какое у нее образование. Приглашают на будущий год.

8 июля 1967 г.

Еще новость! Вчера Аленке прислали документы из ВГИКа, так как у нее нет стажа. Сначала на запрос ответили — присылайте, а тут вдруг... Черт знает, что творится в этом ВГИКе.

Аленка вчера же собралась и махнула в Москву. Во-первых, во ВГИКе выяснить, чем они думают (она же, после их письма, ушла из университета); во-вторых, прозондировать в литинституте — нельзя ли нынче, в этом году, попасть туда. Уехала ночью, в общем вагоне. Сейчас уже в Москве.

13 июля 1967 г.

Приходил Г. Р. Ширма. Седой, кажется, уже слабеющий старик, и осанка не та, как бывало, не прямая и гордая, почти величественная, а какая-то старческая, хоть и гордая, но вместе с тем и согбенная, если можно так сказать. С ним Тамара Дубкова, женщина высокая, видная, красивая. Хотят, чтобы «Неман» давал о музыке. Больше давал. Договорились собраться в редакции в сентябре и детально обсудить этот вопрос.

14 июля 1967 г.

От Ленки пришло письмо. К экзаменам во ВГИК ее допустили — добилась... Но надежды, пишет, никакой. Кругом киты, киты, а она так, планктон...

17 июля 1967 г.

Ох, льется вода
по дороженьке.
Не хотят меня нести
мои ноженьки...

Только что дочитал роман Н. Круговых о ракетчиках. Все, что связано с солдатами, — хорошо, великолепно. А все «личное» (где появляются женщины) худо, натянуто, неестественно. Если автор согласится на ужатия и некоторую доработку, — получится вещь.

19 июля 1967 г.

Вернулась Аленка. Во ВГИКе провалилась. Говорит, поставили двойку за рецензию. Хотя, по ее словам, рецензия получилась лучше, чем этюд, за который ей поставили тройку или четверку, не знаю точно. Потом она побывала в литературном, у Пименова. Тот, говорит, принял ее хорошо, но в этом году уже поздно — приемная комиссия будто бы уже распущена, — и предложил ей подать на конкурс в будущем году.

5 августа 1967 г.

Жарко. Душно.

Аленка мечется. То говорит о поездке в Сибирь, то начинает готовиться к поступлению в театральный.

Сейчас дочитывает «Анну Каренину».

29 августа 1967 г.

У Аленки всюду полный провал. Университет потеряла.

19 сентября 1967 г.

Был у Макаенка на даче. Он прочитал куски пьесы «С ярмарки» — от автора — новый вариант. Кажется, сейчас может и пойти.

Говорили о сильном положительном характере. Он вынашивает сюжет, где главным действующим лицом будет его отец, человек интереснейшей биографии. Участник гражданской войны, один из первых членов артели «Дружба», которая позже стала ядром колхоза, подпольщик в Отечественную войну, расстрелянный немцами...

Может получиться что-то вроде хроники одной жизни.

26 сентября 1967 г.

Аленка уехала.

В Сургут.

Больно до того, что хоть плачь.

Наивная еще, слишком уж доверчивая, — пропадет ни за грош.

1 октября 1967 г.

Пришла телеграмма от Аленки. «Встретилась подробности письмом Елена». Сие, должно быть, означает, что она добралась, устроилась в Сургуте, о чем скоро и напишет.

Дай бог, чтобы у нее там все было хорошо!

21 октября 1967 г.

Черт возьми, как летит время! Давно ли провожали Аленку, давно ли получил телеграмму, а вон уже сколько воды утекло!

Аленка кроме телеграммы прислала три письма. Первое неопределенное, скорее грустное, чем бодрое. А два других ничего...

Но вот что открылось: судя по письмам, и устроилась она сносно, и работает, дурака не валяет, и люди кругом как люди, как в любом другом месте, — а на сердце все тяжесть. Даже не тяжесть, а постоянная тревога. Как она там? Сыта ли? Не холодно ли ей? Все ли ладится? И т. д.

25 октября 1967 г.

Приближаются праздники. Настроение у людей тревожное. Тихо, без паники, но кое-кто закупает побольше продуктов. А вдруг война!

13 декабря 1967 г.

Вот уже почти месяц, как от Аленки нет писем. Посылали телеграмму, и на нее нет ответа.

В голову лезут всякие дурные мысли...

24 декабря 1967 г.

Ленка прислала письмо. Оказывается, облетела и объездила (на самолетах, вертолетах, а где и на собаках) чуть не весь Север.

* * *

Макаенок был на приеме у Машерова. Вернулся сияющий, как будто получил орден на грудь. Все вопросы решены. Всё, что задумал, — от первого до последнего пункта.

1) Пьесу разрешили ставить.

Машеров будто бы сказал:

— Как ты сам смотришь? Можно ставить?

— Можно!

— Тогда ставь. Мне и читать не стоит. Посмотрю в театре.

2) «Неману» дали три единицы: редактора отдела искусства, литсотрудника отдела очерка и публицистики и художественного редактора.

И т. д.

3 января 1968 г.

1 января в шесть утра звонит Аленка. Из Сургута:

— Папа, вышли те, что откладываешь для меня...

Утром отправил телеграфом двадцать семь рублей — все, что у меня лежало во втором томе Жуковского.

В чем дело? Зачем ей срочно понадобились деньги? Валентина расстроилась, ждет письма с подробностями, но Аленка не торопится...

9 января 1968 г.

Разговорились о Вал. Катаеве, о его последней повести в «Новом мире» (Бунин, Маяковский и др.).

Макаенок:

— Не понимаю я этой повести. Читал, читал, бросил. Снова взялся читать — и опять не мог, — бросил.

11 января 1968 г.

Аленка, наконец-то, прислала письмо. Мерзнет, как собачонка. А впереди могут быть сорока- и пятидесятиградусные холода. Боится страшно.

Сегодня послали ей чулки, но разве это спасет? Сумасшедшая девка! Бросить тепло, беззаботность, институт — и ради чего?

23 января 1968 г.

Макаенок в мотеле — пишет новую пьесу... Звонил. Работа идет, — значит, вернется не скоро.

Заходил Гаврук. Честил почем зря Бориса Пастернака — за то, что тот будто бы извратил Шекспира, когда переводил его на русский язык.

1 февраля 1968 г.

Пьесу Макаенка «С ярмарки» все-таки зарезали. На коллегии министерства культуры зарезали. А несколько дней спустя Павел Ковалев отказался печатать ее и в «Полымі». Под тем предлогом, что будто бы Макаенок просрочил, не сдал вовремя... Но это явная отговорка. Причины глубже, и главная из них — решение все той же коллегии министерства.

5 февраля 1968 г.

Во всех инстанциях нам утвердили еще три единицы. Редакция становится по-настоящему солидной.

Но — кого взять, — вот вопрос! Работники есть (Скобелев, Ерохин), но они занимают такие тепленькие должности, что вряд ли согласятся расстаться с ними.

Будем посмотреть, как говорится. Во всяком случае, спешить негоже. Однажды поспешили (с Тарасом и Ефимовым), — себе дороже стало.

9 февраля 1968 г.

Звонок из Москвы:

— Макаенок?

— Нет.

— Ах, Г. Л., здравствуйте, говорит Михаил Горбачев... Передайте Макаенку... — И пошел, и пошел.

Суть дела в том, что Макаенку предлагают поехать на месяц (с 18 февраля) в Крым, на какой-то семинар драматургов, в качестве руководителя семинара, разумеется.

Через полтора часа является Макаенок. Передаю разговор от слова до слова. Задумался. Ехать или не ехать? С одной стороны, заманчиво очень — месяц пожить на всем готовом и где?— в Крыму, где уже весна. А с другой...

16 февраля 1968 г.

Макаенок так-таки едет в Ялту. Сегодня подписал приказ о передаче полномочий заму, а послезавтра, то есть в воскресенье, на самолет до Симферополя.

Сейчас звонил:

— Я только что из комитета, от Борушко. Завели речь об обложке. Говорит, давайте, бумагу мы найдем!

Имеется в виду хорошая, плотная бумага, на которой можно было бы печатать в три цвета — ярко, броско, рекламно, как выражается сам автор идеи.

Что ж, попробуем.

3 марта 1968 г.

Март наступил. Весна... Утром морозно, потом заметно теплеет, даже начинает подтаивать.

* * *

От Аленки ни слуху ни духу. Прислала матери телеграмму на день рождения, и опять молчок.

Страшно за девку.

* * *

Макаенок полмесяца как в Ялте.

9 марта 1968 г.

От Аленки по-прежнему ни слуху ни духу. Как воды в рот набрала.

Об институте, наверное, не может быть и речи. Значит, еще год... А там — замужество (от этого никто не избавлен), пеленки, ложки-поварешки... Разочарование в жизни... Последнее особенно страшно.

10 марта 1968 г.

Ленка прислала телеграмму. Поздравительную. Три слова и подпись. Попробуй угадай, как она там.

* * *

В обед нагрянул Петр Леонович Лебедев, секретарь Березовского райкома партии, с женой и сыном. Талантливый дядька. Мастер на все руки.

12 марта 1968 г.

Зашел Александр Миронов. Разговорились об эпилепсии, о том секрете, которым он обладает.

По его словам, он уже вылечил 8672 человека. Цифра колоссальная. Если даже учесть, что Миронов порядочный болтун и хвастун, значит, возможно, преувеличил вдвое, — все равно много!

«Секрет» прост. Берет несколько поросят в возрасте от двух до трех-пяти недель, варит их целиком, предварительно вынув внутренности, выбирает какие косточки из черепа, берет пять позвонков, сушит, толчет и, смешав с сахаром, делает порошки.

Похоже на шарлатанство, но...

— Даже одну семидесятилетнюю старуху вылечил. Дай, думаю, попробую... И — помогло! Сам не ожидал, а — помогло!

15 марта 1968 г.

Вчера звонила Ленка. Слышимость была неважная, и я многого не разобрал.

Что-то насчет театрального и ВГИКа... Боже мой, неужели с ума спятит?

В доме после этого скандал.

Дело в том, что звонок вызван Наташкиным письмом, в котором она писала, что мама больна (микроинфаркт), и давай, мол, приезжай в Минск. Я сказал Ленке, что мама ничего, уже вышла на работу, ну, отсюда и сыр-бор... Напрасно сказал, надо бы, мол, вытащить девку из Сургута...

Так-то оно так, да я не уверен, что здесь, в Минске, ей будет лучше.

5 апреля 1968 г.

Пришел ответ из Мичуринска.

Деревня, где родилась мама, переименована. Раньше называлась Новая Тростёна, теперь — Ново-Сеславино. По нынешнему административному делению это в Первомайском районе Тамбовской области.

14 апреля 1968 г.

То теплынь, а то опять забуранило. Холодно. Сыро.

Со дня на день жду Ленкиных рассказов — время-то уходит! А она не шлет и не шлет... Что она себе думает, не понимаю.

Жалко, если потеряет еще год.

18 апреля 1968 г.

Заходила в редакцию Нина Александровна Поссе, жена Владимира Александровича, редактора «Жизни», третья жена, кстати сказать.

Ей шестьдесят семь, но она вовсе не старуха. Беловолосая, энергичная женщина. Говорунья, каких поискать.

Разговор шел, главным образом, об архиве Владимира Александровича. Кое-что мы, наверное, опубликуем в «Немане». Но я мимоходом (не помню, по какому поводу) коснулся Валентины Иововны Дмитриевой, и вдруг:

— Как же, мы были с нею очень дружны! Она когда-то печаталась у Владимира Александровича. А с восемнадцатого по сороковой мы виделись часто, чуть не каждое лето. Помню, бывали у нее в Сочи. В гостях... У нее там был аккуратный домик (не знаю, собственный ли), она в этом домике и принимала нас. Очень, очень милая, умная, душевная женщина. Она однажды, помню, водила нас с Владимиром Александровичем в музей Николая Островского...

Я был поражен. Глубокая старина (Валентина Иововна родилась в 1859 г.) переплелась с современностью... И как переплелась!

* * *

Валентина сказала:

— Все зависит не от идей, а от людей.

19 апреля 1968 г.

Минский областной партийный актив. Доклад П. М. Машерова. Очень резко ставил вопросы, связанные с идеологической работой. Вспомнил последний съезд писателей Белоруссии, некоторых выступавших на съезде ораторов назвал «зарвавшимися крикунами».

— Жаль, что коммунисты не дали им отповедь!

Подробно говорил о Виноградове и Вакуловской, об их антисоветизме. Собиравшихся у Виноградова и Вакуловской назвал «обществом лицемеров», они, по словам докладчика, глумились над всем советским, допускали кощунство по отношению к Ленину. «Дельцы от литературы», «сборища с попойками», Вакуловская — «зарвавшаяся баба», — таковы были выражения.

20 апреля 1968 г.

Сегодня послал авиапочтой Аленкины рассказы. Перепечатал и послал. Здесь пять рассказов читает Андрей Макаенок: «Как снимали войну», «Возвращение в январе», «А на севере шли дожди», «У холодного заходящего солнца» и «Пойдет за тобой жена»...

У меня такое чувство, что почти все (или даже все) эти рассказы можно было бы и напечатать. Некоторые просто хороши!

23 апреля 1968 г.

Я с актива ушел сразу после доклада Машерова. Макаенок говорит, что в прениях выступал Петров, председатель комитета госбезопасности, и назвал Вал. Тараса, как одного из главарей «общества лицемеров».

20 мая 1968 г.

Получил Почетную грамоту. Вручал Климов, заместитель Притыцкого.

Вместе со мною грамоту (и удостоверение о присвоении звания заслуженного деятеля культуры) получит Янка Мавр. Он пришел в Дом правительства в сопровождении Александра Миронова.

Какой крепкий старик. Восемьдесят пять лет, а держится молодцом.

— В детстве ноги у меня были — во! — колесом. Рахитик... И мускулов не было... И физкультурой не занимался... А вон сколько прожил, и еще поживу! До девяноста двух лет поживу!

— Почему до девяноста двух? До девяноста девяти!

— Сначала надо до девяноста двух дожить, а там видно будет. А все отчего? От юмора... Кого не оставляет чувство юмора, тот долго живет!

25 мая 1968 г.

Сколько прошло, как я вернулся из поездки по России (Сибирь ведь тоже Россия), а не написал ни строчки. Мыслей, картин как будто хватает, хочется сказать много, но это-то, наверное, и мешает сосредоточиться на главном. Нужен кувшин, который бы вместил в себя самое важное, необходимое, придав этому важному и необходимому определенную форму.

31 мая 1968 г.

Удивительное дело! «Неману» нужно два работника — редактор отдела критики и библиографии и редактор отдела прозы, — и не можем найти. Нет и нет! Один языка не знает, другой порядочностью не отличается, тоже не годится, третий сам не идет, хотя условия у нас такие, что лучших, кажется, и не пожелаешь. Или правда, так оскудел мир?

9 июня 1968 г.

Ленка — блудная дочь — возвращается. Вчера дважды звонила из Москвы. Первый раз спрашивала, оставаться ей до понедельника (чтобы побывать в лит-

институте) или ехать сразу в Минск. Остановились на последнем варианте. И вдруг еще звонок, ночью, — оказалось, денег на билет не хватает, просит прислать. Ну и, естественно, и ехать раздумала, решила остаться, сходить в институт, узнать, как там и что, и оставить свой минский адрес.

Как-то у нее все решится?.. Мы с Валентиной боимся и переживаем.

11 июня 1968 г.

Аленка приехала. Жива, здорова... Кажется, изменилась, а к лучшему или к худшему, — кто ее знает! — пока трудно сказать.

13 июня 1968 г.

В редакцию заглянул Иосиф Семеженов. Рассказывал о поездке в Чехословакию.

Бог мой, как все изменилось! В сорок пятом мало было чехов, которые не кричали бы «наздар» каждому русскому, а сейчас, говорит, мало чехов, которые бы не ненавидели тех же русских.

Помню картину. По шоссе из Праги на Моравеку Остраву движется бесконечная колонна пленных немцев. Молодых и старых, оборванных и еще довольно свежих, но одинаково унылых, пугливо-настороженных, точно ждущих выстрелов в затылок. Говорили, их было тысяч сто, не меньше.

А по обочинам шоссе там и сям стояли чехи. Цивильные, понятно, но с винтовками, — многие тогда носили оружие. Они, как ястребы, вглядывались в колонну пленных и потом, опять же как ястребы, налетали, хватали, отводили шагов на десять и расстреливали в упор, не целясь. Расстреливали эсэсовцев, которых, как, впрочем, и всех немцев, ненавидели лютой ненавистью.

А сейчас, как рассказывает Семеженов, чуть не вешаются на шею тем же немцам (западным), явно, открыто, почти демонстративно предпочитая их русским. Немцу в гостинице всегда найдется место, русскому (советскому) нет, будь любезен, катись подальше. Немца в ресторане обслужат в два счета, русскому придется ждать час, а то и два. И — попробуй напомнить!

— Чего ты орешь! — оборвет официант.

Непременно «ты» и обязательно «орешь»...

Как тут не вспомнить безмерно-гениального Достоевского: «...Не будет у России, и никогда еще не было, таких ненавистников, завистников, клеветников и даже явных врагов, как все эти славянские племена, чуть только их Россия освободит, а Европа согласится признать их освобожденными!»

Вот так-то!

14 июля 1968 г.

Вчера вернулись из деревни Теребуты. И отдохнули, и устали — все вместе, — рады, что снова дома.

Земляники было — навалом! Литров сорок собрали, не меньше. А рыба не ловилась. Мало ее стало. Потравили, выловили сетями. Мертвая река.

20 июля 1968 г.

Наташка уехала в Румынию. Пробудет там две недели. Вернется числа 5—6 августа.

* * *

Ленка готовится к экзаменам. Прошла она два конкурса — во ВГИК и литературный, — в первый не поехала, остановилась на последнем. Но трусит, боится, что завалит, и заранее готовит себя и нас с Валентиной к новым фокусам. На этот раз хочет махнуть в Якутию или куда-нибудь подальше.

31 июля 1968 г.

Проводил Аленку в Москву, и что-то оборвалось внутри. Поступит — не поступит, вот вопрос!

9 августа 1968 г.

Увы!

10 августа 1968 г.

Бог мой, что творится на свете! Вал. Пономарев, первый помощник (или референт, не знаю, как он там именуется), дал нам документальную повесть об Орловском. Мы поправили раз, но этого оказалось мало, пришлось поправить второй раз. Причем, правили архиосторожно, только так, чтобы грамотно было.

И что же? Это его возмутило, он снял повесть, когда уже была корректура. Пришлось сдавать в набор срочно из запаса. Хорошо еще, что была готова повесть болгарина Мишева «Матриархат». Оставалось подписать и свезти в типографию, что мы и сделали.

Наутро (это было в прошлый четверг, 8 августа) звонит мне на квартиру:

— Когда я могу забрать вторую часть рукописи и фотографию?

Я прикинул и ответил, что это можно будет сделать в половине первого дня. На этом разговор и кончился, рукопись он забрал (не сам, не лично — прислал дочь, великовозрастную девицу), а наутро приезжает Макаенок и — бац! — бросает на стол перепечатанную начисто рукопись злополучной повести с многочисленными ошибками, глупостями и всякой чепухой, — со всем тем, что мы так долго и, оказалось, напрасно вычищали. Все восстановил, все-все, и накал на Макаенка, а тот, при всей своей независимости, не смог устоять. Первый помощник первого секретаря... Это вам не шуточки. Надо печатать.

И — печатаем!

1 октября 1968 г.

Мир полон парадоксов. Люди, считающие себя поборниками мира и демократии, душат малые народы, как, скажем, делают американцы.

Люди, считающие себя правоверными коммунистами, создают себе исключительные условия: квартиры, закрытые распределители, лечкомиссии и т. д. и живут не как все, а как немногие.

Писатели, считающие себя поборниками правды и справедливости, вдруг оказываются бюрократами, стяжателями, подхалимами. Пишут и говорят одно, а делают другое.

И примерам несть числа!

Разлад между словом и делом — вот, может быть, самая характерная черта нашего времени. И что обидно — она, эта черта, присуща не только тому, но и этому миру.

3 октября 1968 г.

Идеологическое совещание в ЦК. Нам позвонили накануне, 1 октября, и передать Макаенку мы не смогли. Он был у себя на даче.

На другой день, то есть вчера, приходит как обычно в два дня, узнает, багровеет. Он багровеет всякий раз, когда начинает волноваться.

— Почему не взяли такси и не приехали? За мой счет? Мне такие вещи пропускать нельзя... Подумают (кивок вверх), что игнорирую, знать не хочу!

Это «за мой счет» прозвучало так откровенно по-барски, что всем стало неловко — не то за Макаенка, не то еще за кого-то или за что-то... Мы опустили очи долу.

7 октября 1968 г.

Звонит Аркадий Кулешов:

— Что это у вас инициалы в телефонной книжке перепутаны? Думаю, он — не он?.. Когда будет Макаенок? Завтра?

— А в чем дело, Аркадий Александрович?
— У вас когда выходит одиннадцатый?
— В середине ноября.
— А «Огонек» дает поэму в 47-м номере. Надо что-то сделать, чтобы «Неман» и «Огонек» с поэмой вышли в одно время...
— Позвоните Софронову.
— А, Софронову! Позвони — а он возьмет да и снимет поэму. Им это ничего не стоит...

16 октября 1968 г.
Аленка начинает работать в «Вечернем Минске» по договору. Уже строчит что-то.

* * *

Сдали в набор двенадцатый, завершив год.
Начинаем новый.
Макаенка видим редко. То сидит на даче и строчит пьесы (вторую после «С ярмарки»), то ездит где-то. Вот и сейчас... Поехал в Москву, в Министерство культуры, оттуда в Витебск, на просмотр спектакля, а потом в Монголию, в составе какой-то делегации.
Жизнь!

17 октября 1968 г.
Вчера приходит высокий крупнолицый мужчина, представляется:
— Свет Ефимович Придворов... Вы знаете, у Демьяна Бедного фамилия была Придворов...
— Ну и что же?
— Я его сын. В Минске по делу. Работаю над киносценарием «Ленин в Белоруссии»... Ленин, правда, в Белоруссии не был, но был связан... Не могли бы вы напечатать вот это? — и подает четыре странички воспоминаний об отце.

12 декабря 1968 г.
Зима. Снег. Чем-то сибирским веет от такой погоды.

* * *

Есть литераторы, которые смотрят на все с точки зрения собственной обиды.
Когда-то (давно или недавно) их родители или они сами в чем-то были задеты, ущемлены, и они никак не могут простить этого Советской власти. Что эта власть дала хорошего, им наплевать, — они видят лишь дурное.

22 декабря 1968 г.
Макаенок загостился в Монголии. Уехал еще 1 декабря, и все нет и нет...

24 декабря 1968 г.
50-летие республики. Иллюминация — дай бог! На всякого рода плакаты, огни и прочие вещи, призванные будто бы украсить праздник, ухлопали сотни тысяч рублей. И это в то время, когда не хватает жилья, больниц, детсадов, худо с транспортом. Раньше были сытые и голодные, сейчас — сытые и пресыщенные. Последние-то и бесятся с жиру, пускают пыль в глаза. Кому? Да самим себе.

29 декабря 1968 г.
Аленка увлеклась опять драматической студией. Ходит, два раза в неделю, на занятия, сейчас готовится, вместе с другими, ставить Пушкина.

* * *

Юлька захворала. Ангина и стоматит. Темп. под 40.

31 декабря 1968 г.

Кончился праздник. Он, по словам Макаенка, обошелся республике в шесть миллионов рубликов. Елизавета Петровна на том свете сгорает от зависти.

7 января 1969 г.

Писатель-новатор — это человек, плывущий против течения. Ох, как много ему приходится работать веслом!

Не потому ли большинство предпочитает плыть по течению, употребляя весло лишь для того, чтобы не наткнуться на корягу?.. Легко, приятно и... прибыльно!

9 января 1969 г.

Петр Леонович Лебедев после банкета по случаю отгремевшего праздника:

— Ах, как не везет нам на царей!

* * *

Иван Шамякин пообещал «Неману» роман «Снежные зимы», а потом на попятную, потому что романом заинтересовалась редакция «Знамени».

Разговор в машине, когда ехали к Макаенку на дачу:

— Тираж, а и заплатить могут больше. Вы — сколько?

— От трехсот за лист.

— А там могут и от четырехсот.

Макаенок:

— Я доплачу. Из своих. Что, у тебя денег мало?

— Денег всегда мало!

10 января 1969 г.

Макаенок:

— Надо, наверное, за свой счет взять отпуск.

— Это еще почему? Ты и так когда хочешь, тогда и приходишь на работу. Хочешь — неделю не приходи, никто слова не скажет.

— Так-то оно так, но червячок-то сосет. Значит, совесть еще не совсем потеряна, — и засмеялся на весь проспект. Потом, минуту погодя: — А вообще-то я серьезно. Писатель может ничего не делать неделю, месяц... Зато, как придет настроение, — садись и вкалывай без передыху. А тут бывает как? Настроение пришло, а тебе надо все бросать, ехать в редакцию.

15 января 1969 г.

У Макаенка на даче. Разговор о телепатии.

— В сорок девятом. В мае. Не нахожу себе места. Без всякой причины... Хожу, а сердце сжимается, болит, — хоть ты плачь! А потом телеграмма: «Приезжай, брат умер...» Приезжаю, здесь, дома, говорят, что именно в те часы, когда мне было трудно, тоскливо, его (брата) и нашли повесившимся...

22 февраля 1969 г.

Про человека, умеющего приспосабливаться:

— Где ужом, где ежом...

* * *

Вчера «Неман» переехал в новое помещение. Все блестит, как на именинах.

По этому случаю устроили маленький сабантуй. Купили водки, вина, закуску и «обмыли» это событие. Кроме работников редакции были зам. директора издательства, завхоз, уборщица, электромонтер и... бог знает кто еще!

25 февраля 1969 г.

У Аленки все не ладится. В «Вечернем Минске» уже не работает и в другом месте устроиться не может. Настроение у нее, чувствуется, препоганое.

Впрочем, и у меня не лучше. Странное настроение... Будто живешь последние дни и вот-вот отправишься к праотцам. Об этом думаешь дома, по дороге на работу, на работе, особенно когда останешься наедине с собой. И уже не загадываешь далеко, — наоборот, вспоминаешь, что надо сделать сейчас, неотложно, и делаешь именно это.

6 марта 1969 г.

Все ходят к нам, смотрят помещение и восторгаются.

Павел Ковалев:

— Хорошо, хорошо...

Алексей Слесаренко:

— Так вы ж по-царски устроились!

Анатоль Велюгин:

— Отлично! А говорили, что здесь жарко!

Сергей Граховский:

— Молодцы! Какой будынак отхватили!

И т. д. До бесконечности. «Будынак» хорош, факт, и работать в нем удобно. Можно посидеть, почитать, подумать...

19 марта 1969 г.

Н. А. Михайлашев, чекист, автор записок, которые шли в «Немане», устроил обед (или ужин) в гостинице «Минск».

Были Макаенок, я и еще трое чекистов. Интересные разговоры, а для Макаенка — и сюжеты.

...Гражданская война. Республика, вроде Рудобельской. Министр внутренних дел — мужик. Арестованные — те же мужики, может быть, односельчане министра. Наступает весна. Министр знает: сев — это сев, дело святое, и выпускает арестованных при условии, что, отсеявшись, они опять вернутся в каталажку.

...Гиль-Родионов и подосланный к нему чекист. Роль этого безвестного чекиста в том переломе, который произошел в характере Гиль-Родионова. Этот сюжет, наверное, давно занимает Макаенка. Он попросил Михайлашева познакомить его с архивными документами.

23 марта 1969 г.

На прошлой неделе Макаенка пригласил к себе Машеров. Разговор продолжался два с половиной часа. Из ЦК Макаенок воротился взволнованный.

— Просил написать пьесу. Комедию. На современную тему. Поезжай, говорит, туда и сюда, познакомься с хорошими людьми… «Почему с хорошими?» А после, говорит, и на плохих по-другому станешь смотреть! Обещал и транспорт, и все, вплоть до птичьего молока, — только пиши.

И все-таки Андрей недоволен. Его обескураживает чисто практический, плакатный подход Машерова к искусству.

— Хочу написать ему письмо. Там он и слова не дал сказать... Говорит, говорит...

Продолжение следует.

«Культурное сотрудничество — выражение наших коренных связей»

Беларусь и Польшу разделяет граница протяженностью без малого 400 километров. Или, наоборот, объединяет? Конечно, с точки зрения филологии, граница объединять не может, а вот с точки зрения истории и связанных с ней людских судеб… Вспомним тех же Радзивиллов, Тадеуша Костюшко. Вспомним Адама Мицкевича, Элизу Ожешко, Ивана Хруцкого, Владислава Сырокомлю, Наполеона Орду, Станислава Монюшко… Эти, как и другие прославленные имена, одинаково дороги и белорусам, и полякам. Имена, которые, едва мы вспоминаем их, заставляют нас говорить или, по крайней мере, думать о том, что объединяет наши народы.

Впрочем, эта беседа, которая недавно состоялась в Посольстве Республики Польша в Республике Беларусь, больше касалась дня сегодняшнего. А главный смысл ее — нам надо больше сотрудничать, в том числе и в области современной культуры, находя те точки соприкосновения, которые помогут нам больше узнавать друг о друге, больше понимать друг друга. И роль СМИ в этом процессе очень важная и долгосрочная.

Алесь Бадак, главный редактор журнала «Нёман»: За последние десятилетия в политической и экономической жизни Польши произошли большие, судьбоносные изменения. Из социалистической страны она превратилась в страну с рыночной экономикой, стала членом НАТО и Евросоюза. Как все это сказалось на психологии гражданского общества?

Витольд Юраш, Советник — Глава политического отдела Посольства Республики Польша в Республике Беларусь: Долгое время поляки задавали себе постоянно один и тот же вопрос: являюсь ли я патриотом? При этом патриотизм понимали исключительно как ответ на вопрос: готов ли я погибнуть за Польшу? Постепенное сближение с другими странами Европы и, наконец, вступление в Евросоюз привели к некоторым изменениям в менталитете народа. С одной стороны, люди, как раньше, так и сегодня, смотрят на собственную страну с глубокой любовью. С другой стороны, поляки начали задавать себе вопрос: что мы можем сделать лучше и чему мы можем научиться у наших друзей, у наших партнеров, в том числе и у тех, с кем у нас были сложные периоды в истории, как можем более современным способом понимать патриотизм. Мне кажется, что на психологическом уровне это главное достижение. Кроме того, несмотря на то, что основные политические события Польши, конечно же, происходят в Варшаве, центр влияния на самые различные стороны жизни общества перешел из столицы в воеводства, благодаря чему смена правительства не влияет на экономический рост государства. В итоге наша страна была единственной из стран — членов Евросоюза, которая в 2009 году имела экономический рост.

Алесь Бадак: Часто можно слышать, что стирание границ, глобализация негативно влияют на национальную самоидентификацию стран, приводят к утере культурных особенностей… Чувствуется ли это на примере Польши?

Витольд Юраш: Я думаю, еще преждевременно говорить, что они стираются. И, мне кажется, отчасти это все-таки миф, поскольку… Ну вот посмотрите на северную Ирландию: разве там не существует различие между католиками и протестантами? Конечно же, существует. И то, что мы сейчас входим в такую международную структуру, как Евросоюз, не заставляет нас забывать о собственном происхождении. Я не вижу угрозы для национальной идентичности.

Алесь Бадак: Белорусско-польские отношения в последнее время развиваются достаточно динамично по многим направлениям. Что можно выделить в первую очередь, если говорить об экономике?

Витольд Юраш: Я хотел бы отметить, что все-таки мы находимся в начале пути, и пока преждевременно говорить о том, что мы перешли какой-то Рубикон, после которого они могут развиваться в исключительно правильном русле. Нам бы очень хотелось, чтобы они развивались позитивно. Да, если говорить о политике, между нашими странами, не секрет, были разные моменты, но в последнее месяцы, скажем так, нет причин, по которым мы не сможем хорошо сотрудничать, нет причин, из-за которых мы не можем быть очень близкими. В экономическом плане есть несколько серьезных проектов, и мы надеемся, что они сработают, что контракты будут подписаны. Конечно, было бы слишком оптимистичным считать, что экономическое сотрудничество может решить все политические проблемы, но, с другой стороны, было бы такой же наивностью считать, что оно не влияет вообще.

Алесь Бадак: О каких конкретно совместных проектах идет речь?

Витольд Юраш: Это строительство Зельвенской угольной электростанции мощностью 960 МВт, которое планируется при участии польской компании «Кульчик холдинг» и «Белэнерго». Также стороны планируют создать трансграничную линию электропередачи со вставкой постоянного тока, соединяющей белорусскую энергетическую систему с польской энергетической системой. Есть еще проект инвестиций компании, которая занимается сотовой связью. Есть проекты по страховым компаниям…

Алесь Бадак: Один из самых важных показателей экономического сотрудничества — товарооборот. Каким он был в 2010 году между нашими странами?

Витольд Юраш: Товарооборот с января по сентябрь составил 2 миллиарда долларов, что больше, чем в 2009 году, а учитывая последствия кризиса, можно считать, что это неплохие показатели, хотя динамика могла быть больше.

Алесь Бадак: Часто говорят о том, что сегодня во всем мире культура переживает не лучшие времена. Что музыку захлестнул шоу-бизнес. Что уходят в тень яркие личности — в искусстве, в литературе, которые даже для соседей — я имею в виду соседние страны — остаются неизвестными или малоизвестными. Оглядываясь на недавнее прошлое и вспоминая тех, кто своим творчеством пришел к нам в то время, мы, белорусы, называем Анну Герман, Марылю Родович, Чеслава Немена — если речь идет о музыке. Польское кино для нас — это Анджей Вайда, Кшиштоф Занусси, литература — Станислав Лем и так далее. А вот новые имена назвать не так-то просто…

Павел Марчук, Первый секретарь Посольства Республики Польша в Республике Беларусь: Что касается более-менее новых имен в музыке, то у нас, например, есть джазовая певица Анна Мария Йопек. Она, кстати, дебютировала на «Славянском базаре в Витебске» в 1994 году, а сегодня хорошо известна далеко за пределами Польши.

Витольд Юраш: Я бы сказал, что мы в своих взглядах на культуру, может быть, несколько консервативны. То есть, на официальном уровне мы не занимаемся так называемой попсой, не занимаемся массовой культурой, хотя тут, наверное, нельзя однозначно ответить — плохо это или хорошо. Если учитывать нынешнюю ситуацию в мировой музыке, то мы, может быть, должны больше заниматься наиболее популярными жанрами, поскольку это способствовало бы усилению наших позиций в мире. В политике всегда есть краткосрочная, среднесрочная и дальнесрочная перспектива. Культура всегда связана с дальнесрочной или, по крайней мере, среднесрочной перспективой. Говоря о польско-белорусских отношениях в этой области, я не вижу здесь какого-то переплетения сугубо политических моментов. Это, скорее всего, выражение наших коренных связей.

Алесь Бадак: Но хотелось бы, чтобы эти коренные связи помогали нам лучше узнать друг друга нынешних…

Эльжбета Щепаньска-Домбровска, Советник Посольства Республики Польша в Республике Беларусь: Такая ситуация касается не только области так называемой попсы, но, к сожалению, и других областей культуры. У нас просто не хватает информации друг о друге и в области современного театра, и в области современной литературы. И мне кажется, в этом и заключается наша цель — как Польского института в Беларуси, который занимается продвижением польской культуры, так и Центра белорусской культуры в Польше. Большую роль в этом призваны играть и посольства обеих стран. И то, что рассказывает сегодня на своих страницах журнал «Нёман» о польском театре, — это результат прошлогодней поездки белорусских критиков в Польшу на театральный фестиваль. Это их взгляд на современный польский театр. Надеюсь, что белорусский читатель сможет взять для себя что-то интересное.

Павел Марчук: В 2010 году в варшавском театре «Рампа» состоялась премьера спектакля «Пинская шляхта» по пьесе Винцента Дунина-Марцинкевича, поставленного Николаем Пинигиным. Роль станового пристава Крючкова исполнил заслуженный артист Республики Беларусь Виктор Манаев. А польский перевод сделала Барбара Кшыжаньска-Чарновейска — праправнучка Дунина-Марцинкевича. Не исключено, что это начало более постоянного сотрудничества двух театров — Купаловского и «Рампы». Может быть, в будущем будут показаны постановки театра «Рампа» в Минске.

Алесь Бадак: Насколько мне известно, в этом году в Минске на V Международном фестивале театрального искусства «Панорама», возможно, мы как раз и увидим «Пинскую шляхту» в постановке «Рампы», а также польское кабаре.

Павел Марчук: Замечательно. Хочу добавить, что интерес к белорусскому театру в Польше большой. Несмотря на то, что сегодня театр, увы, уже не массовое искусство.

Алесь Бадак: Сколько в Варшаве театров?

Павел Марчук: Около двадцати. Но у нас появились театры на коммерческой основе. И самое интересное, что они самоокупаемые. То есть, можно поста-

вить пьесу, заработать на этом деньги и содержать театр. Между прочим, «Пинская шляхта» в Варшаве была поставлена на коммерческой основе. То есть, был задействован частный капитал, но все было рассчитано на самоокупаемость.

Алесь Бадак: Насколько в Польше ныне востребована книга?

Павел Марчук: С первого января 2011 года у нас введен налог на печатные издания, то есть, книга станет немного дороже. Но развитие книжного бизнеса остается на стабильном уровне, позволяющем удовлетворить читательский спрос. Притом, что у нас практически все издательства работают на коммерческой основе. Есть определенные книжные отрасли, которые поддерживает государство, но их совсем немного.

Эльжбета Щепаньска-Домбровска: Проведенные статистические анализы показывают, что введение налога на книгу, на печатную продукцию само по себе не ведет к уменьшению количества читателей. Другое дело, что книги, особенно серьезная литература, становятся духовным вегетарианством.

Витольд Юраш: Сидящие за этим «круглым столом» — люди, относящиеся к одному поколению. Наше поколение в качестве читателей отдает предпочтение бумажным версиям. В связи с тем, что Интернет получил очень широкое распространение, молодые, к сожалению, все чаще читают с экрана монитора. На самом деле, я считаю, это ужасно.

Алесь Бадак: К сожалению, в Беларуси мало знают современную польскую литературу. То есть, мы, конечно же, знакомы с творчеством Чеслава Милоша, Виславы Шимборской или той же Йоанны Хмелевской, но, естественно, современная польская литература не ограничивается только этими именами. С другой стороны, и польский читатель недостаточно хорошо знаком с современной белорусской литературой. Это касается даже некоторых наших так называемых «живых классиков», уже не говоря о среднем поколении литераторов. Мне кажется, что в этом направлении можно было бы многое сделать и на уровне литературных периодических изданий.

Эльжбета Щепаньска-Домбровска: Среди других изданий, у нас есть очень интересный журнал «Nowe Książki», где печатаются самые интересные произведения современных авторов. И если белорусская сторона выражает заинтересованность в этом, мы могли бы поспособствовать творческому сотрудничеству между ним и «Нёманом». Кроме того, в Польше есть государственное учреждение — Институт Книги с центром в Кракове, входящий в структуру Министерства культуры. Он финансирует как перевод польской литературы на другие языки, так и авторские права.

Витольд Юраш: Желательно, чтобы мы нашли компромисс между нынешним, очень коммерческим отношением к культуре и традиционным, тем более, когда речь идет о так называемой высокой литературе. И главное, чтобы мы не потеряли все то хорошее, что связывает польский и белорусский народы.

Подготовил Алесь Малиновский.



Жизнь, гротеск, ирония…

Заметки о польском театре

На белорусской сцене современная польская драматургия практически отсутствует. Возможно, потому, что у нас другие театральные традиции. Театр абсурда и гротеска, доминировавший в Польше во второй половине XX века, не привлекал белорусских режиссеров и актеров, прошедших школу психологического реализма. Мы мало знаем о польской театральной жизни, поэтому предложенные белорусскими театральными критиками статьи о своих впечатлениях от поездки на международный театральный фестиваль в Польшу, думается, будут интересны нашим читателям.

КРИСТИНА СМОЛЬСКАЯ

Современный польский театр: серьезный и ироничный одновременно

Первая ассоциация, которая возникает при упоминании польского театра, — актуальность и открытость. Актуальность — это острая современная драматургия, это знаковые режиссерские имена — Кшиштоф Варликовский, Гжегож Яжина, Кристиан Люпа, Ян Клята; это классические пьесы, приобретающие новый смысл, это тонкая самоирония наряду с патриотизмом. Открытость — это способность воспринимать новое, это open mind и возможность диалога с другими культурными пластами.

Современный польский театр разный. Сложно подобрать для него одно определение. В первую очередь, это театр, живо реагирующий и осмысливающий произошедшие за последние 10 лет перемены в польском обществе.

Театр в Польше всегда играл особенную роль. Еще в XIX веке он выполнял особую миссию — создавал независимое пространство в обществе, лишенном свободы. Юлиуш Словацкий и Зыгмунт Красинский выражали стремление к свободе и сохраняли национальную культуру. Театр перестал играть исключительную роль после изменения политической ситуации в 1989 г. Независимые СМИ и демократические институты более эффективно отражали настроения в обществе. Театр стал одним из множества развлечений. Затем стали появляться произведения, сводившие счеты с тоталитарным прошлым и отражающие ситуацию капиталистических новообразований Польши. В пьесе «Ночь Гельвера» Ингмара Вилькиста (поставлена в театре-студии Е. Мировича БГАИ, в Могилевском областном драматическом театре) главным героем явился умственно отсталый юноша во времена тотального террора. Острым становится вопрос толерантности — найдется ли в новом обществе место инвалидам?

Известный польский критик Роман Павловский пишет: «Ключевым моментом в новейшей истории польского театра стало 18 января 1997 года. В этот вечер в двух варшавских театрах — «Розмаитости» («TR») и «Драматическом» («Teatr Dramatyczny») — состоялись премьеры двух молодых, еще неизвестных режиссе-

ров — Гжегожа Яжины и Кшиштофа Варликовского. В обоих спектаклях наряду с новой тематикой присутствовал и новый театральный язык». Театр вновь стал общественно важным местом, где зритель мог не только отождествлять себя со сценическими героями, но и участвовать в горячих дискуссиях на волнующие его темы. Появилась целая плеяда молодых драматургов, поднимающих темы отчужденности, коммуникативной разобщенности, ослабления эмоциональных связей, кризиса семьи, триумфа потребительства, угрозы насилия и т. д. Дорота Масловская — один из таких драматургов, точно и талантливо отображающих современные реалии. Автор экранизированного и инсценированного бестселлера «Война польско-русская под бело-красным флагом» активно использует сленг и жаргоны поп-культуры.

Спектакль по ее пьесе «Двое бедных румын, говорящих по-польски» в театре «Розмаитости» — это история о двух героях — парне и девушке, приехавших в Польшу из Румынии в поисках лучшей жизни. Постановка, полная юмора и гэгов, — это путешествие героев по Польше, встреча с различными персонажами. Смешное здесь постепенно превращается в трагическое и становится универсальным обобщением. Он — неудавшийся актер, играющий ксендзов в сериалах, она — брошенная мать-одиночка. Они вместе отправляются в странное путешествие, пытаясь забыть, кто они на самом деле, о собственных неудачах и страхах. Убежать от себя им, конечно, не удается. Люди на их пути — непосредственное отображение их самих. Гротесковая реальность превращается в трагедию в финальной сцене самоубийства героини.

Капиталистическая действительность современной Польши является острой темой в театре. В программке к спектаклю «Ожидая Турка» Анджея Стасюка в Национальном Старом театре в Кракове ставится вопрос: «Когда Польша вошла в пространство Шенгена, границы исчезли, и появилось ожидание НОВОГО, но наверняка ли ЛУЧШЕГО? И все ли встретили радостно произошедшие перемены?»

Новый театр в Кракове возник как альтернатива известному Старому театру. Ориентируясь на современную драматургию, для постановок сюда охотно зовут режиссеров-дипломников, устраивают концерты и перформансы. Один из таких перформансов был вызван прекращением финансирования проектов театра Министерством культуры. «В поле зрения нашего министерства существуют только большие театры, а про меньшие оно и не хочет помнить, тем не менее мы создаем интересные проекты и нуждаемся в государственной поддержке», — говорит директор театра. И Новый театр нашел способ обратить на себя внимание… устроив собственные театрализованные похороны 29 марта 2009 г. По телевидению передавали праздничные речи по поводу Международного дня театра, говорили о предстоящей премьере в Старом театре и… о «похоронах» Нового театра. После такого невербального жеста деньги нашлись.

Для польского театра характерна самоирония, тонкая и многозначимая. Поляки на удивление совмещают серьезный разговор со зрителем с иронией.

Спектакль «Свадьба графа Оргаза» известного польского режиссера Яна Кляты (Старый театр, Краков) по мотивам романа Романа Яворского — пример постдраматического театра. Творчество Романа Яворского (1883—1944), одного из наиболее ярких модернистов польской литературы, долгое время оставалось забытым. «Свадьба графа Оргаза», — роман на грани двух реальностей. Речь в нем идет о кризисе европейской цивилизации, который жаждут преодолеть два эксцентричных американских миллиардера. Один из них Дэвид Йетмейер намерен завоевать европейский рынок с помощью великолепного товара. А что продается лучше всего? Духовность, вера, ритуалы, выдумки и фантазии. Поэтому он приезжает в Толедо, давнюю духовную и интеллектуальную столицу Испании, чтобы открыть апокалиптический дансинг, в котором должны произойти преобразование человека, танец смерти и символическое убийство. И все это планируется осуществить по сценарию картины Эль Греко «Погребение графа Оргаза».



Сцена из спектакля «Свадьба графа Оргаза».

Ритуал будет совершен при соблюдении двух условий. Первое — виталистическая хореография. Ее должен поставить дьявол танцевального искусства, кумир эпохи, последователь Вацлава Нижинского (танцора-легенды) и Сергея Дягилева (демоничного антрепренера, организатора «Русских сезонов» в Париже) Игорь Францевич Подрыгалов. Второе — умершего графа должен сыграть главный враг Йетмейера, миллиардер, коллекционер и архивариус Хавемейер. Его символ веры и согласие умереть должны стать началом новой эпохи. Роман написан в форме абстрактного, философского диспута. Бороться за нового, настоящего, более глубокого человека? Человека, неустанно стимулирующего свои чувства, готового на крайние поступки? А может, лучше оставить его в покое, позволить ему стать зрелым, дать возможность созерцать, хранить наследие и извлекать уроки из прошлого? На чью сторону становится Клята в этом конфликте? Его склеенный из цитат спектакль — это реконструкция. На шахматной доске пола (сценография Юстыны Лаговской) постоянно возникают фантастические визуальные эффекты, появляются все новые призраки поп-культуры. Беглецы с картин Гойи, великий инквизитор, кардинал де Гевара с известного портрета Эль Греко. Слышится «Strawberry Fields Forever» в исполнении «Битлз». Зрители еще в фойе становятся свидетелями спора великих противников: ринг, аляповатые костюмы и серия жутких приемов. Границы между театром и жизнью напрочь размываются.

Клята превращает скучную борьбу концепций в удивительное экспрессивное зрелище. Его Йетмейер и Хавемейер то напоминают ковбоя и крестного отца или героев фильмов и комиксов, то богов, склоняющихся над моделью мира. Однако во второй части режиссер начинает «собирать камни». Танец смерти осуществляется под музыку в темпе «silent disco», которая звучит в наушниках танцоров. Хавемейер зарезан. Сюжет картины Эль Греко сыгран — жертва принесена, но новый человек так и не «родился».

Кристиан Люпа — знаковая фигура современного польского театра. Режиссер имеет множество престижных театральных наград. В их числе: польская Высшая театральная премия имени Конрада Свинарского, польская Театральная премия имени Шиллера, призы многочисленных международных фестивалей, Гран-при за спектакль «Лунатики» как за лучший иностранный спектакль, показанный во Франции в сезоне 1998—1999 гг. Кристиан Люпа награжден фран-

цузским орденом Почетного легиона. В 2001 г. получил австрийский Почетный крест 1-й степени «За выдающиеся заслуги в области науки и искусства». Обладатель престижной премии «Европа театру-2009», автор театрального манифеста «*зависшего театра*», исследующего сферу подсознания, автор книги «Утопия и ее обитатели». Театр Люпы — это уникальная возможность самопознания и совершенствования человеческой личности, это театр философской и экзистенциальной рефлексии, в центр которого поставлен современный человек, мучительно ищущий свое место в мире, который становится все более бесчеловечным. В одном из интервью режиссер говорит: «Меня интересуют пограничные области между литературой и театром: неполного театра и перетекающей в театр литературы. Меня давным-давно не интересует чистое искусство. Я не хочу до конца делать из литературы драму. В романе открытия на тему диалога не сводятся только к самому диалогу. Они проявляются в сосуществовании диалога и определенного лирического контекста, тихого шепота, простирающегося над ситуацией. Я делаю театр, который заражен литературой и не может целиком от нее освободиться. И, одновременно, является чем-то совершенно другим, может быть, даже противоположным театру слова».

Последняя премьера мастера «Персоны. Мэрилин» (Старый театр, Краков), входящая в его триптих, посвященный идолам XX века, это не попытка отобразить биографию актрисы, а фантазии и представления режиссера об известной поп-диве. Трагедия Мэрилин в том, что ей так и не удалось сыграть глубокие психологические роли, к которым она так стремилась. Грушенька из «Братьев Карамазовых» — одна из таких ролей. Постановка завораживает и удивляет глубиной откровенности, как эстетической, так и психологической. Люпа раскрывает драму талантливой актрисы, которой так и не довелось раскрыть и показать свой талант. Поп-культура создала и полюбила свой образ Монро, абсолютно наплевав и растоптав Монро настоящую. Невероятная атмосфера и энергетика спектаклей Люпы — это как вхождение в медитативный транс, путешествие в свое подсознание.

Польский театр ведет активный диалог со зрителем. Варшавская «Лаборатория драмы» под руководством Тадеуша Слободзянека помимо показа спектаклей по пьесам современных польских авторов, устраивает читки новых пьес, выступления зарубежных театроведов, общественные дискуссии по поводу увиденного и услышанного зрителями. В театре «TR», который возглавил 12 лет назад Г. Яжина, театральные педагоги проводят работу с юным зрителем. Но это отнюдь не наставническое зомбирование сознания, что есть хорошо и что плохо и как следует воспринимать каждый отдельно взятый спектакль. Это попытка показать молодым зрителям специфику и эстетику театрального искусства как такового.

Современный польский театр впитывает в себя различные западные концепции, но при этом сохраняет национальную самобытность. Он ведет серьезный разговор со зрителем, но активно использует иронию. И самое главное — он открыт для диалога.

АНДРЕЙ ВАСИЛЕВСКИЙ

Польша театральная

Несмотря на тесное географическое соседство наших стран, польский театр до сих пор малоизвестен широкому белорусскому зрителю. Давайте приблизимся к театральной традиции Польши на рубеже XX—XXI веков.

В середине XX века польский театр играл особую, очень важную социально-политическую роль. Он был инструментом политической борьбы. Самые

важные моменты польской истории всегда находили свое отражение на театральных подмостках. Театр представлял собой островок свободы, был одним из немногих социальных институтов, пытавшихся сохранить национальную традицию, призвать к независимости и выразить стремления и чаяния польского народа. Известно, что в 1968 году из театра ушла первая демонстрация против коммунистического режима. Студенчество, а затем и профессиональные актеры проводили подпольные спектакли, которые были своеобразной формой протеста существовавшему в то время политическому режиму. Пожалуй, одной из самых знаковых фигур в этой среде стала неформальная творческая группа «Помаранчова альтернатива» из Вроцлава. Она проводила массовые представления, высмеивающие официальные польские институты.

Своими достижениями того времени польская сцена обязана постоянному творческому поиску, в основе которого лежали философские размышления представителей романтизма в литературе, в первую очередь Адама Мицкевича. Эксперименты культового мастера польской режиссуры Ежи Гротовского, который разрабатывал технику «актерства-священнодействия», до сих пор притягивают внимание театроведов. Его Театр-лаборатория представлял необычные сценические решения, а такие его спектакли, как «Акрополь» или «Стойкий принц», по праву считаются вершиной театрального мастерства XX века. Широкую известность в театральных кругах также получили исследования Гротовского, связанные с созданием особой драматической структуры, способной воздействовать на зрителя подобно религиозным обрядам.

Тесно сотрудничавший с Гротовским режиссер Влодзимеж Станевский известен своей методикой актерской работы под названием «экология театра», которая считается одной из важнейших в XX веке. Свою методику режиссер реализует в Центре театральной практики «Гардзенице» под Люблином, основанном им в 1977 году. «Метаморфозы», «Электра» и другие спектакли Центра отличаются динамичностью, пластической выразительностью действия, музыкальной насыщенностью, народными песнопениями.

Политические изменения в Польше, начавшиеся в 1989 году, принесли в театральное искусство радикальные изменения. Театр внезапно перестал быть единственным мессией демократии. Его сменили средства массовой информации, что положило начало соперничеству польского театра с кино- и телеиндустрией. В поисках зрителя театр обратился к западной культуре развлечений. Однако и это не принесло ожидаемых плодов — театр переживал кризис.

В этот период польский театр продолжал бороться с призраками прошлого. Постановки зачастую носили антикапиталистический и антивоенный характер. Театральной Меккой, наряду с Краковом и Варшавой, становится Вроцлав и его театры «Восьмого дня» и «Бюро путешествий». Самым известным в мировом масштабе достижением последнего является спектакль «Carmen Funebre» («Печальная песнь»), представляющий собой протест против межэтнических конфликтов и ситуации в бывшей Югославии. Будучи по сути антивоенным, спектакль представлен в виде притчи, повествующей о войне и мире, добре и зле.

В конце 90-х годов XX века польский театр ощутил приток свежих сил. Такие молодые режиссеры, как Анна Аугустынович, Петр Цепляк и Збигнев Бжоза стремились создать современные спектакли, отражая насущные проблемы сквозь призму нового поколения, нового этапа развития культуры и цивилизации. Лидером этого направления считается варшавский театр «Розмаитости», который также известен как «самый быстрый театр города». Наиболее заметными фигурами здесь стали Кшиштоф Варликовский и Гжегож Яжина, взявший псевдоним Гжегожа Хорста д'Альбертиса. Их постановки отличаются новаторскими режиссерскими находками и с успехом проходят как на отечественной сцене, так и за рубежом. Среди наиболее выдающихся спектаклей Варликовского выделяют инсценировку древнегреческой трагедии «Электра», а также «Укрощение строптивой», «Гамлет», «Перикл» в «Piccolo Teatro» в Милане, «Зимняя сказка»

и «Буря» в «Stadt-Theater» в Штутгарте. Яжина в своих работах обращается к современной и классической драматургии: «Тропический бзик» С. И. Виткевича, «Ивона — принцесса Бургундская» В. Гомбровича, «Неопознанный труп» Б. Фразера, «Идиот» Ф. Достоевского, «Доктор Фауст» Т. Манна. Эти постановки направлены на выявление кризиса человеческого сознания и культуры, разочарования в прошлой жизни.

В современном польском театре представлены новые направления польской драматургии, такие как неореализм и постдрама. Для представителей первого направления характерен возврат к реалистической традиции отображения окружающего мира. Используя факты, документальные сведения, разговорную речь, они обращаются к проблемам нового общества. Их героями становятся социальные отщепенцы и изгои.

Эта тенденция развития польского театра нашла свое отражение в проекте «Скорый городской театр» (2002—2005 гг.), который осуществлял свою деятельность при театре «Выбжеже» в Гданьске под руководством Павла Демирского. За годы своей работы проект представил ряд документальных спектаклей по публикациям польской прессы, посвященным проблемам безработицы, войны в Ираке и т. п. Такие спектакли отличались не только выбором темы, но и местом их проведения. Их можно было увидеть в приюте для бездомных, ночлежке, частной квартире, что придавало им большую аутентичность.

«Лаборатория драмы», основанная Тадеушем Слободзянеком, предложила неореалистам создать театр для среднего класса, где они могут увидеть и критически оценить себя со стороны. Одной из самых известных и коммерчески успешных постановок, отвечающей предложенной формуле, является комедия «Тирамису» по пьесе Иоанны Овсянко, пользующаяся огромным успехом у зрителей. «Тирамису» — это микс театрального ток-шоу и социальной исповеди. Пьеса стала реакцией молодого драматурга на собственный опыт работы в одном из рекламных агентств Варшавы и способом показать зрителю механизмы манипуляции сознанием масс. Спектакль был поставлен в частном театре «Студио Буффо» в Варшаве в 2005 году и в течение четырех сезонов был сыгран более 200 раз.

Приверженцы второго современного направления польского театра — постдрамы — стремятся уйти от стандартных композиционных форм. Речь героев представляет собой разрозненные реплики, несвязные диалоги. В этом ключе работает проект TR/PL варшавского театра «Розмаитости». Наиболее известны такие его постановки, как «Поверхность» Шимона Врублевского (2004), «Зона военных действий» Михала Баера (2006), «Двое бедных румын, говорящих по-польски» Дороты Масловской (2006).

Регулярно присуждаемые польским экспериментальным театрам международные премии говорят о признании достижений польского театрального искусства.

Одним из самых популярных театральных жанров настоящего времени продолжает оставаться драма. Именно в этом направлении работает «Народовы» (Национальный) театр в Варшаве. В его репертуар входят современные и классические пьесы как польских, так и зарубежных авторов, где режиссеры разрабатывают насущные проблемы дня сегодняшнего. В своих постановках театр неустанно экспериментирует. Наиболее характерным отражением этих традиций являются спектакли Ежи Гжегожевского, представляющего на суд зрителей собственное сценографическое и содержательное прочтение произведений классики. Постоянный эксперимент позволяет театру «Народовому» оставаться актуальным на протяжении более чем двухвековой истории его существования.

Национальный театр «Стары» в Кракове демонстрирует больший консерватизм в поиске театральных решений и продолжает традиции Конрада Свинарского, Ежи Яроцкого и Анджея Вайды. Один из ярчайших спектаклей этого театра последнего времени — «Свадьба графа Оргаза» в постановке Яна Кляты по мотивам романа польского модерниста Романа Яворского. Спектакль метафо-



Сцена из спектакля «Пинская шляхта».

рически рассказывает зрителю о кризисе европейской культуры после Первой мировой войны: Испания, Толедо, 1921 год. Культурные ценности разрушены, а религия превращена в балаган. Абсурдные идеи спасения цивилизации ни к чему не приводят. Постановка изобилует философскими размышлениями, диалоги оригинальны и полны неологизмов. Режиссер превращает спектакль в фантастическое зрелище, полное визуальных эффектов и современных атрибутов поп-культуры.

Среди выдающихся режиссеров этого театра также называют Кристиана Люпу. Польские и зарубежные критики неизменно отмечают специфику его философско-онтологических размышлений в инсценировках немецкой и русской литературы — произведений Бернгарда, Рильке, Мусила, Броха, Достоевского, Булгакова.

Неизвестный широкому зрителю, но, тем не менее, горячо любимый своими преданными поклонниками театр «Rampa» в Варшаве с недавних пор может считаться послом белорусской культуры в Республике Польша. 30 сентября 2010 года в театре прошла премьера спектакля «Пинская шляхта» в постановке Николая Пинигина, главного режиссера Национального академического драматического театра им. Я. Купалы. Белорусско-польский актерский состав с успехом выполнил сверхзадачу, поставленную перед ним режиссером спектакля — напомнить друг другу о тесной связи наших народов и общности наших культурных традиций.

Все большую популярность в Польше приобретает театр классического и современного танца, музыкальный театр и театр пантомимы. Интерес у зрителей вызывает деятельность кукольного театра, театра фигур и теней, театра рисунка и даже театра огня и бумаги. В Польше также существует большое количество любительских театров.

Особого внимания заслуживает польский Театр Телевидения, который несколько раз в неделю транслирует театральные спектакли, снятые в рамках телевизионных студий или непосредственно в помещениях действующих театров. Театр Телевидения наследует традиции польского радиотеатра, который также дает возможность жителям даже отдаленных уголков страны прикоснуться к искусству Мельпомены.

Примечательно, что спектакли радиотеатра не только приобщают массового зрителя к театральному творчеству, но и участвуют в различных театральных фестивалях. Так, в 2010 году три радиопостановки («Agata szuka pracy», «Emile Cioran — z życia permanentnego samobójcy» и «Trash story») стали конкурсантами фестиваля «Prapremier», проходившего с 1 по 17 октября в городе Быдгощ. Ежегодно самые известные польские театры привозят на фестиваль свои последние премьеры. Представленные в 2010 году спектакли затрагивали многие проблемы современности и проблемы, которые остаются вне времени. «Вавилон» («Babel») быдгощского театра представляет собой протест против войны и насилия. «Песня о матери и родине» («Utwór o matce i ojczyźnie») в постановке щецинского театра затрагивает проблему антисемитизма. Тема взаимозависимости бизнеса, политики и средств массовой информации раскрывается в спектакле «Getsemani», представленного на зрительский суд театром им. Богуславского из города Калиш.

Заметим, что фестивальное движение занимает значительную часть театральной жизни Польши. Фестивали дают возможность театрам со всего мира продемонстрировать свои новинки и обменяться творческим опытом. Например, международный театральный фестиваль «Варшава Центральная», организатором которого является варшавский театр «Драматычны», стремится сделать Польшу пространством фантасмагории, смешения разных культур и народов, местом встречи «варварского» Востока и «цивилизованного» Запада, «языческого» Севера и «культурообразующего» Юга. Представительность фестиваля впечатляет. В 2010 году в его работе приняли участие театры Голландии, Германии, США, Франции, Израиля, Швеции, Польши.

Ноябрь для польских театралов проходит под знаком Фестиваля современной польской драматургии в Гдыни, организованного Городским театром им. Гомбровича. Это фестиваль современного польского искусства и одновременно конкурс на получение Гдыньской драматургической премии. Частью фестивальной программы также является презентация спектаклей, инсценирующих современную драматургию. В фестивале принимают участие театры из Быдгоща, Легницы, Люблина, Щецина, Варшавы и некоторых других городов.

Краковское бюро фестивалей представляет международный театральный фестиваль «Божественная комедия». В первую очередь, он нацелен на знакомство иностранных специалистов с наиболее интересными тенденциями в польском театре.



Сцена из спектакля «Getsemani».

Новый фестиваль РЕТРО/ПЕР/СПЕКТИВЫ объединяет коллективы, работающие в жанре «ищущего» театра. Наиболее заметным событием фестиваля в 2010 году стал спектакль «Гротовский — попытка переосмысления» театрального общества «Chorea» из Лодзи, организованного членами авангардного коллектива «Гардзенице» Томашем Родовичем, Доротой Поровской и Эльжбетой Роек. Этот спектакль стал для театра своего рода подведением итогов работы. Актеры размышляют о своих достижениях и ожиданиях, о понимании сути актерской профессии.

Нельзя не упомянуть международный театральный фестиваль «Мальта». Более 15 лет он гостеприимно распахивает свои двери перед коллективами молодых альтернативных театров из Польши и из-за рубежа. Проводится фестиваль на берегу Мальтанского озера, которому он обязан своим названием, и в некоторых других районах Познани. Театральные труппы, среди которых были «Зона тишины», «Уста-уста», «Похитители тел», «Бюро путешествий», «Island Dance Company» и некоторые другие, ежегодно борются за главный приз фестиваля — «Орфей».

С 1997 года в Гданьске проводится ежегодный Международный Шекспировский фестиваль, в котором принимают участие театральные коллективы из Великобритании, России, Германии, Венгрии и других стран. В течение недели театры демонстрируют свои интерпретации всемирно известных трагедий Уильяма Шекспира.

Одним из самых популярных польских театральных фестивалей продолжает оставаться международный фестиваль «Контакт», проходящий на протяжении уже почти 20 лет в Торуни. Организованный Театром им. Вильяма Хожицы, фестиваль принимает конкурсантов из ближнего зарубежья — Литвы, Эстонии, Беларуси, а также стран Западной Европы и даже Азии и Австралии. В частности, в последнем фестивале участвовали Вильнюсский Малый театр, театр «Виктория» из Бельгии, Московский театр юного зрителя, Драматический театр им. Ежи Шанявского из Варшавы.

Среди других польских театральных фестивалей можно отметить краковский фестиваль «Дедикации», варшавские «Споткания», «Конфронтации театральне», «Краковскую балетную весну», Бьеннале кукольных театров в городе Бельско-Бяла, «Краковские театральные реминисценции», фестиваль актерского мастерства «Калишские театральные встречи», международный фестиваль «Искусство улицы», международный фестиваль уличных театров в Еленя-Гуре и многие-многие другие.

Растущее количество фестивалей и жанровое многообразие театрального искусства в Польше красноречиво говорят о том, что польский театр — это живой, многогранный, постоянно и динамически развивающийся организм. Он находится в состоянии постоянного эксперимента и поиска собственной неповторимой формы, создания своей уникальной атмосферы.

АЛЕКСЕЙ СТРЕЛЬНИКОВ

Театр — плавильный котел общественной жизни

Дух трагедии

Польский режиссер Гжегож Браль уже двадцать лет проводит театральные мастер-классы по всей Польше и не только. Неслучайно он и его театр «Песнь козла» обосновались во Вроцлаве, городе, который помнит традицию театра Ежи Гротовского. Сам Браль говорит о том, что, как и Гротовский, стремится к театру «небанальному». В самих отношениях партнеров на сцене должно произойти нечто важное, нечто сокровенное — из этого появляется спектакль.

Спектакль «Макбет» удивляет ясностью и точностью режиссерского решения. Что может быть проще? Перенести действие пьесы из условной Шотландии в условную Японию — и вот готово новое видение знаменитой пьесы.

Героев не просто переодевают в кимоно. Вооруженные деревянными палками, они движутся, как японские самураи, сосредоточенно, каждое их движение выверено. И хоть этим и ограничивается японская экзотика, спектакль приобретает своеобразную упругость и понятность.

Английская речь звучит в устах польских актеров уверенно и точно. Но звучит она очень музыкально. Спектакль начинается с того, что текст трагедии Шекспира читается артистами, сидящими в кругу, нараспев. Под аккомпанемент самодельного струнного инструмента этот шекспировский мотив приобретает действительно самобытное звучание. Артисты будто произносят реплики движением тела. Их руки волнообразно повторяют мелодию, возникающую из шекспировского текста. В этом чувствуется первородность сценического искусства, что-то родственное камланиям древнегреческих жрецов.

Слабым моментом спектакля поначалу кажется исполнитель главной роли. У Габриэля Гавина нет данных трагического актера — голоса, темперамента. В итоге спектакль не становится историей преступной страсти — в нем мало зловещего и мистического.

Персонаж Леди Макбет (хотя ее играет Анна Зубрицки, один из основателей театра «Песнь козла») также находится будто бы на периферии сюжета, таким эпизодическим персонажем. Но ближе к финалу становится понятно, что искушение властью интересно в этом спектакле как испытание человеческого характера. Макбет Г. Гавина изначально обречен на поражение. В нем чувствуется изумление от того, что фортуна избрала его в качестве своего любимчика.

Режиссеру интересно «преступление» Макбета только с точки зрения его дальнейшего «наказания». В спектакле напрочь отсутствует мотив разочарования Макбетом его окружения, их постепенное отпадение от новоявленного короля, как раз того, чему Шекспир уделяет так много внимания. Основное внимание режиссера направлено на антагониста Макбета, ему вручает он карающий меч.

Дорога для молодых

В Польше любят говорить о театре. Для разговоров о театре выбирают красивые места. Вот, к примеру, нас, группу белорусских театральных критиков, с распростертыми объятиями приняли в Институте театра, организации, которая занимается изучением и популяризацией польского театрального искусства. Директор Института театра Мачек Новак увлеченно рассказывал о предмете своей деятельности. Польский театр был нам представлен плавильным котлом общественной жизни этой страны. Творческие устремления мастеров сцены всегда легко находили отклик в самых широких массах. В театрах люди искали и находили ответы на самые злободневные вопросы повседневности. После спектакля мог возникнуть митинг. Даты важных премьер театральные люди помнят как даты важных социально-политических потрясений.

Одной из таких дат Мачек Новак назвал 17 января 1997 года. В этот день в двух разных театрах Варшавы свои дебютные спектакли поставили Гжегож Яжина и Кшиштоф Варликовский, два наиболее важных польских режиссера последнего десятилетия.

Стоило бы обратить на этот факт более пристальное внимание. Ведь, по сути, что произошло? Два молодых режиссера удачно поставили свои спектакли на профессиональной сцене. Явление интересное, но в целом заурядное. Вряд ли мы сможем назвать дату дебютов спектаклей наших молодых режиссеров, даже если они были очень успешными. У нас не получится без исторической справки назвать дату премьеры важных спектаклей последних десятилетий. Вот когда

была премьера «Тутэйшых»? И вообще первый спектакль Пинигина? Когда свой первый спектакль поставили Раевский и Луценко? Для польских театроведов такие даты стали предметом для разговоров. История стала чем-то более действенным. И это при том, что в 1990-х гг. театр вряд ли играл ту же общественную роль, что во времена Польской Народной Республики, когда он во многом компенсировал отсутствие реальной политической жизни. И тем не менее, высоким осталось внимание общества к тому, что происходит в театре, и театральные люди осознавали важность происходящего.

Польская театральная молодежь растет и развивается под этим пристальным вниманием. Первый театр, который мы посетили, был театр «Полония», фактически это частный театр, возглавляемый известной актрисой Кристиной Яндой. Этот театр, конечно же, ориентирован на вкусы публики. В нем мы увидели спектакль «Shirley Valentine», который сама Янда блистательно исполняет уже второй десяток лет. Но вот в репертуаре стоят «Три сестры», что для частного театра, ориентированного на антрепризный репертуар, уже удивительно. «Наверное, поставила какая-то знаменитость?» — спрашиваю я. Выясняется, что это режиссерский дебют. Неудачный, как мне потом рассказывают, самой Кристине Янде потом пришлось доводить дело до конца.

Это опять-таки факт, требующий отдельного осмысления. Культурная резервация для молодых белорусских режиссеров — современная пьеса. У нас в голову никому не придет дать молодому режиссеру поставить классику — ведь он, конечно, не справится. А ведь речь идет о частном театре, где за провал расплачиваются деньгами! Получается, поляки готовы идти на эти траты?..

В Кракове мы побывали в двух театрах — Старом и Новом. Краковский Старый театр является в чем-то аналогом наших национальных театров. Это академическая площадка, в которой происходит актуализация польского культурного наследия. У театра очень тесные связи с Краковской театральной школой, самой известной в Польше. Именно из нее вышли Кристиан Люпа и Гжегож Яжина, которые олицетворяют польский театр сегодня.

Меня удивил спектакль, который мы увидели на академической сцене Старого театра. «Свадьба графа Оргаза» Романа Яворского — не самый известный образец драмы абсурда. На сцене были чудные актеры, выразительные, в которых чувствовалась закваска классического театра. Но действие напоминало школьный утренник. Молодой, но уже известный режиссер Ян Клята смело поигрался с формой, нарядив известных актеров в вызывающие наряды, устраивая на сцене то клоунаду, то перформанс с фейерверком. Я бы не назвал этот спектакль выдающимся произведением театрального искусства, учитывая, конечно, тот факт, что абсурдистская эстетика нам чужда. Поэтому слова директора театра Миколая Грабовского о том, что он доверяет своему ученику (Я. Клята учился в Краковской театральной школе как раз у него) и рад его успехам, воспринимались как должное.

Даже на респектабельной академической площадке находится место для ярких дебютов и экспериментов. Весь польский театр будто отдан на откуп молодым. В краковском «Театре новом» это ощущение не то чтобы подтвердилось, во всяком случае, окрепло. Наконец-то увиделось что-то знакомое. Зал на 70 мест, отдаленность от культурного центра города, экспериментальный репертуар — все напоминает наши театральные студии, какими они были в начале 90-х годов, современные «подвальные» российские площадки, наш минский Центр белорусской драматургии. Молодые создатели или устроители театра Петр Сиклуцки и Лукаш Блазиевски встретились с нами в кафе, рассказали о трудностях финансирования, о проектах с зарубежными партнерами. Многочисленные талантливые выпускники Краковской театральной школы, рассказывали наши собеседники, как правило, уезжали из города. И только последние пять лет ситуация начала меняться — в этом и заслуга основанного «Театра нового». В помещении, подаренном меценатом театра, была устроена экспериментальная площадка, цель которой дать возможность дебютировать молодым режиссерам. «Мы никогда не

знаем, войдет спектакль в репертуар или мы только сыграем премьеру, — говорит Л. Блазиевски. — Много за эти годы было провальных спектаклей, однако именно эта площадка стала стартовой для таких известных режиссеров как Радек Рихцик и Шимон Качмарек».

Развитию театра способствуют многочисленные возможности международного сотрудничества. Режиссеры, актеры театра активно сотрудничают с немецкими театрами. Радек Рихцик вместе с немецкими режиссерами и актерами поставил спектакль «Versus» по пьесе Б. Брехта «В джунглях городов», с которым театр объездил многие фестивальные площадки мира.

Как и у нас в Беларуси, польская молодая режиссура в основном реализуется на поле современной драматургии. Девять лет назад самой свежей постановкой в Кракове была пьеса Мрожека, сейчас даже Старый театр активно сотрудничает с молодыми авторами. Жалуются на польское правительство, мол, три четверти грантов на постановки уходит шестнадцати крупнейшим театрам, на остальные двести проектов, среди которых и Новый театр в Кракове, остается что-то в районе миллиона долларов. Бюджет театра гораздо скромней. На ставки для самых необходимых сотрудников, аренду помещения уходит около пятнадцати тысяч долларов ежегодно. Все актеры и режиссеры на контрактах для конкретных постановок. Своего актерского штата в «Театре новом» нет. При всех скромностях театр работает себе в убыток. Билеты не могут стоить больше десяти долларов — зрители просто не пойдут. Приходится постоянно искать внешнее финансирование.

Практикой стало приглашение на отдельные постановки польской театральной звезды. Приглашенный может себя реализовать в неожиданной ипостаси. Театр таким образом заинтересовывает публику и имеет возможность поднять цены на билеты.

В интонации моих собеседников было что-то близкое к тону речи Миколая Грабовского. В них сквозила уверенность в завтрашнем дне. Что бы ни случилось, эти молодые ребята все равно продолжат заниматься театром. Если что, они смогут начать сначала — один раз у них уже получилось. В знак протеста они уже даже устраивали похороны своего театра, в качестве медийной акции с целью привлечь внимание к независимым культурным инициативам. «В какой-то момент у нас просто закончились деньги даже на аренду, — рассказывает Петр Сиклуцки. — Мы заказали поминальную имшу в костеле, было много представителей телевидения. Нам даже звонили из властных структур, спрашивали, почему мы не обратились сразу к ним. Мы обращались. Коренным образом это ситуацию не изменило. Но театр приобрел более широкую известность, появились новые спонсоры».

Молодежь в польском театре не живет иллюзиями. Они знают, что никто не принесет им на блюде, но если попросить, можно рассчитывать на помощь. Они цепко хватаются за любой удобный случай. И знают, что лучшая возможность — это та, которую ты создал для себя сам.

Разговор с краковским «Театром новым» закончился тем, что нас спросили о белорусском театре: «Мы ничего о нем не знаем, как вы думаете, с кем мы можем посотрудничать?»

КОМТА

Современная польская драматургия: между элитой и маргиналами

Современная польская драматургия являет собой удивительное и крайне интересное явление. В отличие от белорусской действительности, в Польше на сегодняшний день существует мощная волна молодых драматургов, пришедших

в литературу в XXI веке и уже активно заявивших о себе произведениями, отражающими не только реалии, но и дух нового времени, радикально иного, чем еще два-три десятилетия назад.

Если говорить о тех современных драматургах, чье творчество знакомо белорусским театралам, в первую очередь всплывают имена Ингмара Вилквиста и Тадеуша Слободзянека. Но если имя Тадеуша Слободзянека стало известно благодаря международным фестивалям, и в частности «Белой веже» в Бресте, где несколько лет назад «Teatro Tatro» из Словакии представил блистательный спектакль по его пьесе «Илья-пророк», то с драматургией Ингмара Вилквиста белорусские режиссеры работали непосредственно. Его «Ночь Гельвера» привлекла внимание таких белорусских режиссеров, как Александр Гарцуев, Владимир Петрович, Тимофей Ильевский, а спектакль по этой пьесе Могилевского областного драматического театра стал лауреатом ряда международных театральных фестивалей не только у нас в стране, но и за рубежом.

Пытаясь осмыслить современные тенденции и настроения в обществе, оба этих автора в своих пьесах активно обращаются к приему конструирования иной реальности. Слободзянек в этом качестве использует приемы средневековых моралите, что особенно ярко проявляется в его пьесах «Катигорошек», «Царь Николай» и «Илья-пророк». В первой из них, в духе инситного сказочного повествования, родители продают дьяволу своего ребенка, для того чтобы он искупил их грехи. Во второй, в жанре трагигротеска, рассказывается история появления в деревне мнимого царя Николая II, чудом спасшегося от рук большевиков, в третьей же простые мужики, доведенные до отчаяния нищетой и безнравственностью, решают спасти мир, распяв местного православного пророка, считавшегося вторым Иисусом. По сути, во всех пьесах Слободзянек показывает нам мир на грани своей гибели. И, стоя на этом сказочно-трагически-мифологическом краю света, автор вместе со своими героями пытается найти рецепт, хоть некую самую тоненькую соломинку для того, чтобы удержаться и не свалиться в пропасть самому, а также удержать и некий, хотя бы минимальный баланс сил в мире. Чтобы языком аллегорий выказать и обозначить те жизненные доминанты, которые трагически пошатнулись вследствие наступления «нового мира».

Ингмар Вилквист, черпая вдохновение из скандинавской психологической драмы и даже взяв скандинавский псевдоним, в своих пьесах создает некую не существующую, как бы параллельную реальность в виде промышленных городов и небольших северных курортов. И населяет он свои пьесы, которых на сцене за несколько лет появилось более десятка, персонажами, которых принято называть «иными»: одни из них умственно отсталые («Ночь Гельвера»), другие — больны неизлечимыми болезнями («Без названия»), третьи — нестандартной сексуальной ориентации («Анаэробы»)… Сталкивая нас, зрителей, с подобными персонажами, драматург в первую очередь ставит нас перед вопросом: кто из двух «лагерей» являет собой настоящий пример человека — мы, те, кто привык считать себя «нормальными» и единственно имеющими право на место под солнцем, или те, кто по разным причинам отвергнут современным миром успеха и благоденствия, однако любит эту жизнь не меньше нас?

По сути, Слободзянек и Вилквист стали первыми ласточками-драматургами, попытавшимися осмыслить новую общественно-социальную реальность. И за ними вслед буквально на протяжении нескольких лет взросло целое поколение авторов, для которых проблема осмысления дня сегодняшнего стала, пожалуй, магистральной темой в творчестве. Интересно проанализировать, какими путями новые авторы приходили в драматургию. Целая плеяда перекочевала из журналистики, что обеспечило их произведениям остроту ощущения современности и человека в обществе. Среди таких имен можно назвать Анджея Сарамановича («Тестостерон», «Тело», «Идеальный парень для моей девушки») и Магдалену Фертач («Пыль», «Абсент»), Павла Демирского («From Poland with love», «Не удивляйся, когда придут поджигать твой дом»), а также кинодокументалиста

Павла Салю («Теперь мы будем хорошими», «Mortal kombajn», «Темно повсюду»). Другой «источник» авторов для театра — социально активные личности вроде Пшемыслава Войцешека («Убей их всех», «Made in Poland»), который пришел в театр из независимого кино, где снимал фильмы об анархистах, рок-музыканта Томаша Манна («Больная катарактой», «Хорошо») или пацифиста Анджея Стасюка (самые известные — «Мухи» и «В ожидании турка»). А также — представители «смежных» творческих профессий, как Кшиштоф Бизё («Токсины», «Отбросы»), архитектор, чье сотрудничество с театром началось по причине того, что его офис находился в одном здании с театром, Михал Вальчак («Путешествие внутрь комнаты», «Песочница»), который начал писать драматургические произведения еще учась на режиссерском отделении Варшавской театральной академии, или же искусствовед Дорота Масловская, работающая в жанре театрального бестселлера.

Среди тем, которые волнуют современных польских драматургов, можно выделить три, определяющие направление творческих поисков. Одна из них, пожалуй, самая многочисленная — попытки осмысления и анализа тех процессов в современном обществе, которые привели к появлению огромного количества маргиналов, людей асоциального поведения. Мир бомжей и наркоманов — теперь он не только становится параллельным нашему привычному миру, но и активно, а часто очень даже агрессивно врывается в него, переворачивая все с ног на голову, разрушая привычные и уютные будни, заставляя думать о необходимости постоянно быть начеку.

Тесно связана с предыдущей тематикой и категория пьес, где драматурги анализируют современного человека и то, что с ним стало под воздействием новых социальных стандартов и ценностей. Как меняются понятия и представления о том, что такое мужчина и женщина, что значат семья, любовь, дружба, как и из каких «семян» вырастают новые люди, внешне успешные, но совершенно пустые и бесплодные в душе. И, являя собой, по сути, визуализированные сеансы психоанализа, эти пьесы пытаются возродить человека как личность.

В отличие от третьей категории драматургических произведений, в которых человек предстает перед нами в качестве некоей функции, составной части сложного (или, наоборот, показательно простого) пазла под названием «Жизнь». Это пьесы, обнажающие сущность нового социального уклада, стремящегося снивелировать окружающую действительность до уровня телевизионных репортажей и глянцевых журналов, навязать единственно возможный «правильный» образ жизни, который, с одной стороны, освобождает человека от необходимости постоянно думать и осмысливать окружающую его реальность, но в то же самое время — атрофирует его человеческую природу.

Сравнивая ситуацию в польской современной драматургии с белорусской, приходишь к заключению, что, в отличие от нашей страны, где большинство режиссеров предпочитает ставить классику, ища в ней «вечные темы», в Польше театры очень и очень заинтересованы в появлении в их афишах по-настоящему новых, актуальных пьес. Становясь трибуной для разговоров со зрителем о дне сегодняшнем, о том, что окружает его на улице, дома, на работе, театральная практика постановок создает тот самый интерактив, который, с одной стороны, практически в реальном времени проявляет все достоинства и недостатки драматургического материала, а с другой, благодаря такой возможности «проверки» себя на зрителях стимулирует авторов к написанию все новых и новых пьес. К тому же, большой пласт драматургических произведений обретает жизнь в Театре Телевидения и в виде радиопостановок, что также дает дополнительные возможности для выхода пьес за пределы авторского стола. Что ж, вероятно, именно такой общественно-социальной активности как раз и не хватает нашему белорусскому театру для того, чтобы новая драматургия в его афише перестала быть экзотикой, а превратилась в полноправного партнера, а возможно, и в законодателя «моды».

Режиссура как образ мышления

Когда разговор заходит о современной польской режиссуре, непременно на первый план выплывают «три кита»: Кристиан Люпа, Кшиштоф Варликовский и Гжегож Яжина. Их спектакли снискали громкую славу не только у себя на родине в Польше, но и далеко за ее пределами. Сегодня каждый из них является фигурой, заметной в пространстве европейского театра, и своеобразным законодателем театральных направлений и тенденций. Однако было бы несправедливо смотреть на современный польский театр лишь сквозь призму трех этих безусловно талантливых и неординарных личностей. Поскольку режиссерская «популяция» в Польше гораздо более многочисленная и разнообразная.

Анна Аугустинович являет собой, пожалуй, одного из самых любопытных на сегодняшний день польских режиссеров, поскольку ей, оставаясь как бы на втором плане, удается не упускать имидж фронтмена. Каждая ее премьера сопровождается в театральных кругах неподдельным интересом и широким резонансом. И за Аугустинович прочно закрепился имидж не просто глубокого, каждый раз неожиданного режиссера, но, в первую очередь, — мощного театрального лидера. Являясь на протяжении многих лет художественным руководителем театра «Вспулчесного» в Щецине, она смогла не только сплотить вокруг себя труппу, но и определить магистральную творческую линию, определяющую репертуарную афишу театра.

В то время, когда польские театры голодали от отсутствия новой, актуальной и острой современной драматургии, она отыскивала и ставила «Молодую смерть» Гжегожа Навроцкого, «Магнификат» Владимира Штурца, три пьесы Стига Ларсона: «Главный», «Братья и сестры», «Возвращение обреченного», «Люблю, нас трое» Марка Котерского, и, пожалуй, одна из самых скандальных ее постановок — «Мои внутренности бессмысленны» Вернера Шваба, которая спровоцировала целую волну негативных рецензий, обвиняющих режиссера в излишней провокативности и перегибании палки в показе неприглядных сторон современной жизни, описанных драматургами. Безусловно, Аугустинович использует приемы жесткого театра, однако цель ее лежит вдалеке от примитивного стремления к эпатажу зрителей. Активно внедряя в свои постановки приемы современной масскультуры, она таким образом стремится разрушить, пробить стену эмоциональной невосприимчивости современного зрителя к проблемам дня сегодняшнего и, перейдя на его язык, завести об этом бескомпромиссный разговор.

Однако не стоит думать, что сфера режиссерских интересов Аугустинович ограничивается современной драматургией. С не меньшим успехом в то время, когда новые пьесы шествуют по театрам, она обращается к классике: «Балладина» Юлиуша Словацкого, «Мораль пани Дульской» Генриетты Запольской, «Ивонна — принцесса Бургундская» Витольда Гомбровича. При этом рассказывает классические истории современным, живым, острым языком действия и сценической метафоры. И, говоря о театре Аугустинович, критики практически единодушно говорят о том, что он может быть всяким и разным, и лишь одно для Аугустинович как для режиссера неприемлемо — развлекать зрителя.

Последняя премьера Анны Аугустинович — спектакль «Гефсиманский сад» по Дэвиду Хеа, созданный в копродукции с театром имени Богуславского (Калиш) был показан на Международном фестивале польских прапремьер в Быдгоще осенью этого года и вызвал неподдельный интерес со стороны не только зрителей, но и практиков театра. Используя в качестве основного популярный в западном театре прием психотерапевтического сеанса, когда пространство сцены организуется через круг «горячих» стульев, на которые в разное время усаживаются те или иные действующие лица спектакля (сценография Марека Брауна), она помещает в центр внимания «историю» правительственного кризиса: шестнадцатилетняя девочка, мать которой занимает пост министра внутренних дел, оказывается уличенной в употреблении наркотиков и участии в групповом

сексе, один из участников которого — журналист — готовит в печать разоблачающую статью. Как замять историю и, выйдя сухими из воды, остаться при этом принципиальными и бескомпромиссными? Режиссер пытается понять, возможно ли в наше время отделить работу от нравственности; что важнее: собственная принципиальность или рейтинги? И, следуя за автором, говорит — возможно все, однако за все нужно платить соответствующую цену. Для Аугустинович герои спектакля — политики — не демоны и мрачные носители зла, они такие же люди, как и все другие, вот только торговля идеалами и коррупция подломили их души, и теперь они, как искореженные растения, продолжают жить, неся на себе печать морального «урагана». Таков ее, Анны Аугустинович, Гефсиманский сад.

Если Аугустинович принадлежит к поколению режиссеров, которые уже прочно утвердились в современном театральном пространстве, то Ян Клята — типичный представитель поколения молодых, которые стремительно ворвались на сцену и с первых же своих шагов заявили об отношении к театру как к месту активных социальных дискуссий на актуальные современному дню темы. При этом — на основе классического, можно даже сказать, канонического театрального материала. Такими были первые постановки Яна Кляты: «Ревизор» Николая Гоголя в Драматическом театре в Вальбжихе, «H» — по мотивам шекспировского «Гамлета» и «Fanta$y» — по мотивам произведений Юлиуша Словацкого в театре «Выбжеже» в Гданьске, и, пожалуй, самая известная его постановка — «Орестея» Эсхила в Старом театре имени Хелены Моджеевской в Кракове.

Последняя премьера Яна Кляты — спектакль «Свадьба графа Оргаза» по мотивам произведения Романа Яворского — появилась в рамках проекта Старого театра по возвращении на сцену польских модернистов.

Сравнивая такие разные личности, как Анна Аугустинович и Ян Клят, и признавая за каждым из них свой неповторимый авторский стиль, очевидно и то, что обоих их сближает стремление к театру интеллектуальному и вера в то, что зритель в зале должен не развлекаться, а — думать, жить вместе с актерами и их персонажами на сцене. И быть активным соучастником театрального действа.

ИОСИФ ТИМКОВСКИЙ

Очищение трагедией

4 октября 2010 г. жюри «Газеты Выборчей» (Польша) и Фонда Агоры объявило победителя премии NIKE-2010.

Премия NIKE — это награда за книгу года. Присуждается ежегодно в октябре за лучшую книгу года предыдущего. Целью награды является продвижение польской литературы, в особенности повести**.**

«Наш класс. История в XIV уроках» Тадеуша Слободзянека — это первая пьеса, которая получила NIKE за всю четырнадцатилетнюю историю этой награды. Случай небывалый. Чем же руководствовалось жюри? Почему именно драматург стал лауреатом этой престижной награды?

Ведь выбор у жюри был более чем широк и разнообразен.

Председатель жюри профессор Гражина Борковская сказала: «Мы награждаем Слободзянека не за то, что он взял на себя смелость говорить о сложной теме, где преступление распадается на тех, кто его совершил, но также и на тех, кто был свидетелем, кто видел и молчал, и на тех, кто не хотел ни видеть, ни знать, ни помнить. Мы награждаем автора за то, каким образом он об этом говорит, за форму драмы, с помощью которой он необычайно просто и одновременно крайне продуманно вырисовывает историю палачей и жертв, убийц и убитых».

Материалы к «Нашему классу» Слободзянек начал собирать еще в 2001 г., вскоре после раскрытия правды о погроме в Едвабне (Восточная Польша). Закон-

чил работу над драмой в 2008 г. Уже через год в Национальном театре в Лондоне состоялась ее мировая премьера.

«Мы не можем как нация признавать только то, что это нам причиняли страдания. Я хотел поделиться историей о том, как мы сами можем заставлять других страдать», — говорит Тадеуш Слободзянек.

Помнить нельзя забыть

Действие происходит в Едвабне (подобные ситуации случались во время войны и в других городках Польши, например, в Радзилове), где 10 июля 1941 г. евреев согнали в овин и подожгли.

В ПНР вину за это преступление возложили на немцев.

В 2001 г., уже после выхода книги Я. Т. Гросса, Польша признала, что именно поляки уничтожили евреев. Преступление совершили соседи евреев, точнее, одноклассники. После почти годового обсуждения этой темы на всех польских Интернет-форумах и в СМИ, в стране произошел катарсис.

Эта пьеса о ксенофобии. «Мы» (свои) лучше, чем «Они» (чужие). Ксенофобские настроения всегда провоцировались ослаблением государственной власти, духовной и экономической отсталостью региона, низким материальным уровнем жизни, уровнем образования. Социальное неблагополучие играет существенную роль в формировании ксенофобии. Наличие в стране сильного среднего класса может гарантировать социальную стабильность. Ненависть — это открытая атака на толерантность и правила хорошего тона.

Ненависть необходимо останавливать добрыми делами.

Ненависть — это атака на Вашу деревню, район, город.

«Группы ненависти», прикрывающиеся «патриотической риторикой», стремятся разделить людей. Их взгляды фундаментально антидемократические. Ненависть не запрещена законом.

Ксенофобы имеют право проводить мирные демонстрации.

Что необходимо делать, чтобы добиться социальной стабильности?

Усилия должны быть сосредоточены на организации акций, которые пропагандируют терпимость.

Необходимо доказать, что ненависть разрушает, а единство — помогает миру и процветанию. Ненависть не приходит со стороны, она взращивается рядом с Вами. Она приобретает силу в обществах, граждане которых бессильны и безголосы, где различия — причина страха, а не предмет для гордости.

Главное средство борьбы с ненавистью — воспитание людей, которое начинается с самого себя.

Толерантность — это личное решение. Она приходит в результате обучения и принятия принципа, что все люди полезны и равны.

Слободзянек как-то сказал: «Моя книжка — это формулировка вопросов, а не ответов. Меня самого это удивляет, интересует, мучает, болит. И об этом я пишу в этой пьесе, как бы предлагая зрителям, читателям принять участие в разговоре на эту тему».

Слободзянека интересует такой театр, который не был бы предложением для пресыщенных горожан, чем-то между рестораном и телевизором, а местом поиска смысла жизни.

Он верит в творческую силу конфликтов, так их заостряет, чтобы освободить энергию в коллективе. Ему это может быть необходимо, но не всем это нужно. Его брутальное отношение к людям определенно берется из потребности создания драматических ситуаций. Придумывает, обостряет, добавляет людям какие-то самые плохие черты, смешивая фикцию с действительностью. В своих пьесах

Слободзянек обнажает механизм возникновения мифов и легенд, сам являясь большим мифотворцем. В то же время о нем говорят, что Тадеуш — это сочетание брутальности с отзывчивым сердцем.

Режиссером польского спектакля выступил словак Ондрей Спишак.

Он долго не соглашался на постановку спектакля. «Наш класс» показался мне однозначным, представлял собой памфлет, указывающий пальцем на поляков, какие они страшные, — рассказывал Спишак. — То есть это история, в которой заранее известно, кто виноват и кто жертва, и трудно не встать на сторону жертв, а я приезжаю из Словакии и должен на кого-то показывать пальцем? Отказался. Через год Слободзянек приехал ко мне. Убеждал так долго, что я согласился. Посмотрел на пьесу его глазами — в каждой из личностей есть что-то хорошее и в каждом из них есть что-то отрицательное, но мы здесь их не судим, не обвиняем, рассказываем историю обычных людей, одноклассников».

Спишак брутальным, натуралистическим образом показывает, как произошла трагедия в Едвабне. Актеры рассказывают, как поляки разрезали на куски подгоревшие и перемешанные тела евреев, т. к. необходимо было спрятать все следы убийства.

Создатели спектакля показали послевоенные судьбы поляков, которые сожгли одноклассников. И еврея, у которого сожгли семью, и он записался в госбезопасность, чтобы мстить.

Никакие слова не могут заменить спектакль, который надолго запал в сердца зрителей. Спектакль, который без лишнего реквизита, сценографии и музыки показал, как быстро и легко дружба может перерасти в ненависть, а игра в преступление. В этой наглядности и сопереживании колоссальное преимущество театра перед книгой, радио и другими видами искусства. В этом как раз и содержится ответ на вопрос, почему именно драма стала бесспорным лауреатом конкурса NIKE-2010.

Польский зритель увидел простую историю о трагедии, которую не удастся вычеркнуть из польской истории.

Слободзянек и Спишак создали постановку, которую врачи должны прописывать полякам в качестве рецепта.

Представление очищает от боли, залечивает раны, заставляет задуматься.

Фото Андрея Василевского.



ЗОЯ ЛЫСЕНКО

Есть примадонна — значит, есть театр

В январе нынешнего года исполняется 40 лет со дня открытия первого театрального сезона в Государственном театре музыкальной комедии БССР, который в последнее десятилетие изменил свой статус, получил звание академического и сегодня именуется Белорусским государственным академическим музыкальным театром. Известно, что у самых истоков создания этого творческого коллектива стояла Наталья ГАЙДА — народная артистка Беларуси, имя которой все эти десятилетия является визитной карточкой белорусской музыкальной комедии. Из всех солисток, пришедших вместе с этой артисткой во вновь образованный театр, только она так уверенно и искристо засверкала на подмостках, став истинной королевой оперетты, и только она одна из того первого поколения работает здесь по сей день. Так что по творческой биографии примадонны можно отследить все этапы становления и развития самого театра.

Бесспорно, творчество Натальи Гайды уже стало вокальной и актерской классикой жанра, даже более того — национальным достоянием, которым гордится не только музыкальный театр, но и все белорусское искусство. Трудно представить, как развивался бы в целом жанр музкомедии в Беларуси, если бы в нем не было этой артистки.

А ведь оказалась в Беларуси Наталья Гайда, можно сказать, случайно. После окончания Уральской консерватории она работала в Свердловском театре оперы и балета — одном из лучших в России. Там же работал и ее супруг Юрий Бастриков — ныне народный артист Беларуси. Но в 1969 году Государственный академический Большой театр оперы и балета Беларуси объявил конкурс на баритона, и Юрий Бастриков его выиграл. Так супруги оказались в Минске. «Меня взяли солисткой белорусской оперы даже без прослушивания, как приложение к мужу, — говорит Наталья Викторовна. — Минск очаровал нас своей красотой и ухоженностью, ведь промышленный Свердловск не был тогда так благоустроен, как нынешний Екатеринбург. Придавало гордости и осознание того, что мы стали солистами Большого театра и гражданами союзной республики, имеющей самостоятельное членство в Организации Объединенных Наций».

Так во второй раз Его Величество Случай по-крупному вмешался в судьбу Натальи Гайды. А в первый раз он помог в начале творческой карьеры — когда ей пришлось круто поменять судьбу. Ведь вначале она закончила Свердловский юридический институт и работала юрисконсультом…

У самых истоков

Родилась Н. В. Гайда в 1939 году в Свердловске — столице Урала. Свою звучную фамилию, необычную, но легко запоминающуюся, она получила от деда по отцовской линии — венгра, родившегося в Будапеште и попавшего к русским в плен в Первую мировую войну. От рождения он носил имя Ференц Иохан Гайда, но в Советской России стал Францем Ивановичем, сохранив без

изменения фамилию. Он жил с семьей в Семипалатинске, работал закройщиком в обувной артели, и о его стахановских достижениях по перевыполнению плана даже писали в газетах.

Отец Натальи Викторовны, по профессии геолог, со своей семьей жил в Свердловске. Здесь же, в Уральской консерватории, в довоенные годы училась ее мать. Не став оперной певицей, так как закончить обучение помешала война, она в последующем была солисткой филармонии. Вернувшегося с войны отца вскоре направили на работу в Караганду, а затем — в Семипалатинск, куда и перебралась семья.

Наталья Викторовна хорошо помнит школьные годы, проведенные в Семипалатинске, где жили также ее дед и бабушка, широкие просторы Иртыша, на котором стоит город. Но заканчивать 10-й класс ей довелось уже в Иркутске, куда переехала семья вслед за отцом, которого направили туда работать. А здесь — величественная Ангара и город, расположенный на обоих ее берегах, величие и красота сибирских просторов…

Именно в Иркутске Наталья впервые попала в Театр музкомедии и воочию познакомилась с жанром, который покорил ее навсегда. Страсть к сцене жила в ней с самого детства. Еще в Семипалатинске она занималась во Дворце пионеров в двух студиях — сольного пения и драматического мастерства; с большим увлечением, не просто как рядовой зритель, посещала местный драматический театр (музыкального театра там не было). В Иркутске эти занятия она продолжила.

Однако нужно было получать серьезное образование. И на тот момент самым правильным для Натальи казалось выбрать солидную профессию, например — юриста. И она уехала в свой родной город, где без труда сдала вступительные экзамены в один из самых престижных вузов — Свердловский юридический институт. С началом студенческой жизни начались (вернее — продолжились) ее занятия в институтских и городских творческих студиях. Многолетние занятия вокалом накапливали ее мастерство, развивали музыкальную культуру, что позволяло исполнять классический репертуар — ведь у нее был полный диапазон. И все студийные педагоги удивлялись, почему она, имея такой голос, учится в юридическом институте…

Свердловск, будучи одним из крупнейших центров театральной и музыкальной культуры России, представлял столько возможностей: Театр оперы и балета, который был основан еще до революции, один из старейших в Союзе Театр музыкальной комедии, Уральская консерватория… Наталья Гайда знала не только весь репертуар двух музыкальных театров, но могла на память воспроизвести партии многих героинь любимых спектаклей, особенно из театра музкомедии. В ней подспудно жила тяга к этому синтетическому виду искусства, где можно было выразить не только вокальный, но в целом свой многогранный артистический дар. Ведь Наталья Гайда от рождения наделена универсальными артистическими способностями и относится к числу тех немногих артистов, которых называют органичными. Если бы она пошла учиться в театральный институт, то стала бы большой величиной в драматическом театре, если бы начала профессионально заниматься хореографией — стала бы великолепной танцовщицей. Но на тот момент в ней больше всего было развито вокальное мастерство, и все вокруг твердили, что нужно бросать юридический институт и поступать в консерваторию. Но Гайда сделала мудрее — не бросая юридического, она поступила в консерваторию и умудрилась закончить оба вуза.

Этот перелом в судьбе произошел на третьем году учебы в институте, когда будущая артистка решилась пойти на прослушивание в консерваторию. Поступив на вечернее отделение консерватории, Наталья параллельно училась в двух вузах, а закончив юридический, еще год работала юрисконсультом, продолжая учебу в консерватории. Но рано или поздно развязка должна была наступить. В консерватории, начиная с четвертого курса, ее перевели на стационар, и с карьерой юриста пришлось распрощаться навсегда. А вскоре ее, студентку четвертого курса, пригласили в труппу оперного театра.

На оперной сцене

17 января 1965 года состоялся дебют Натальи Гайды на оперной сцене — она исполнила партию Бьянки в опере В. Шабалина «Укрощение строптивой». А вскоре — партию Мюзетты в новом спектакле «Богема» Пуччини. Далее последовали партии Марфы в «Царской невесте», Джильды в «Риголетто», Людмилы в «Руслане и Людмиле», Фраскиты в «Кармен»... За четыре сезона работы в Свердловской опере Наталья Гайда исполнила 15 партий, и только две из них — небольшие.

— Меня взяли в театр совсем зеленой, и петь на профессиональной сцене я стала практически после трех лет обучения, — рассказывает Наталья Викторовна. — Мой первый театр дал мне очень многое в плане профессионального становления, и я благодарна его руководителям — директору Максу Ганелину, главному режиссеру Марку Минскому, главному дирижеру Кириллу Тихонову — за поддержку и веру в меня. Невзирая на мою неопытность, мне сразу стали доверять ведущие партии. А после окончания консерватории меня пригласили преподавать здесь же вокал на отделении хормейстеров. И это тоже способствовало моему профессиональному становлению, так как при этом я и сама продолжала совершенствоваться.

В 1966 году Свердловский театр оперы и балета гастролировал в Москве, спектакли проходили на сцене Кремлевского Дворца съездов. Наталья Гайда исполняла партию Мюзетты в опере «Богема» Пуччини. А после спектакля к ней в гримерку зашел сам Иван Семенович Козловский и с восхищением воскликнул: «Вы — шампанское!» Ну что еще могло быть выше этой оценки? «Я, конечно, ничего подобного даже в мечтах предположить не могла, — говорит Наталья Викторовна. — Ведь я только что получила диплом об окончании консерватории и незадолго до выезда на гастроли стала полноправной солисткой труппы». Наталью Гайду заметили тогда и московские критики — вскоре в «Советской культуре» под рубрикой «Новые имена» вышла большая статья с эффектными фотоснимками, рассказывающая о перспективной молодой солистке Свердловской оперы.



Н. Гайда в оперетте И. Кальмана «Королева Чардаша».

Великий Козловский практически одним метким словом охарактеризовал самую яркую черту артистического и вокального дарования Натальи Гайды. Ее лирико-колоратурное сопрано, легкое и в то же время насыщенное, отличающееся светлым серебристым тембром и богатое на оттенки, сразу вызывает оживление и приподнятость чувств, а плюс к этому — обворожительная непосредственность и яркая эмоциональность, искристый взгляд и грациозная живость движений. Внимая голосу и игре этой артистки, как будто ощущаешь чистоту хрустального звона и радужные сверкания искорок шампанского. И все это — на фоне тонкого понимания артисткой законов жанра, исполнительского такта и безупречного художественного вкуса.

И хоть на оперной сцене у Натальи Гайды все складывалось более чем успешно, однако полной внутренней убежденности в том, что это ее единственное призвание, все же не было. Душу бередили два основных противоречия. Первое заключалось в том, что с ее высоким легким сопрано в опере у нее всегда будут только лирические, изредка лирико-драматические партии. А ее творческая сущность жаждала истинного драматизма. «Я завидовала певицам, обладающим драматическим сопрано, — признается Наталья Викторовна. — Для такого голоса композиторы пишут очень выразительные вокальные партии, воссоздающие на сцене яркие и сильные образы. Поэтому весь накал музыкальной драматургии в опере — не для моих лирических героинь. Я, например, никогда бы не смогла спеть Аиду…» А второе противоречие крылось в невозможности выразить в опере синтетичную природу своего сценического дарования — определенная статичность этого жанра обуздывала ее искристый талант. «Мне хотелось на сцене и петь, и танцевать, и говорить, хотелось плакать и смеяться, но все это присуще больше оперетте и музыкальной комедии, — признается сегодня артистка. — При моем поступлении в консерваторию вечерняя форма обучения существовала только на оперном отделении, но если б у меня была возможность выбора, то, наверное, я поступала бы на отделение музыкальной комедии. Ведь все равно, став студенткой, я по возможности посещала занятия на этом отделении. Но по-настоящему разбередил мне душу главный режиссер свердловской оперетты Владимир Курочкин, который дважды приглашал меня в свой театр. В 1967 году на Свердловской телестудии с участием Центрального телевидения снимали музыкальный фильм «Званый вечер с итальянцами» по оперетте Оффенбаха, и меня пригласили на исполнение партии Эрнестины, где требовалось лирико-колоратурное сопрано. Вот тогда, увидев меня в жанре оперетты, Владимир Акимович пригласил меня в первый раз. А во второй раз — когда собирался ставить музыкальную комедию Дунаевского. А я, работая в опере, все не осмеливалась сделать решительный шаг…»

В 1969 году супруги переехали в Минск и стали солистами Академического Большого театра оперы и балета Белорусской ССР. Юрий Бастриков сразу вводился в спектакли на ведущие партии баритонового репертуара, а вот Наталья Гайда на протяжении всего сезона исполняла только две партии из своего прежнего репертуара: все ту же Мюзетту в «Богеме» и Фраскиту в «Кармен». К новым постановкам в театре пока не приступали. «В те годы в белорусской опере практически весь репертуар лирико-колоратурного сопрано исполняли две признанные солистки — народная артистка СССР Тамара Нижникова и народная артистка Белорусской ССР Людмила Златова, — вспоминает Наталья Викторовна. — И я, конечно, понимала, что быстрого признания у меня здесь не будет».

Вскоре, в 1970 году, на Свердловской киностудии приступили к созданию все того же музыкального фильма по оперетте Оффенбаха, который ранее снимался на телевидении, и Наталью Гайду снова пригласили для участия в съемках. А когда через несколько месяцев она вернулась в Минск, то узнала, что Правительством республики издан Указ о создании Государственного театра музыкальной комедии БССР. «Это судьба!» — сказала она себе и мужу.

Театр, ставший судьбою

Решение было принято. Оставалось уладить организационные вопросы. В то время главным дирижером Белорусского театра оперы и балета являлся заслуженный деятель искусств России Кирилл Тихонов, который незадолго до этого был главным дирижером Свердловского театра оперы и балета и, естественно, прекрасно знал Наталью Гайду. Знал он и о том, что ее приглашали в свердловскую оперетту и что в этом жанре она может проявить себя великолепно, поэтому предложил оформить ее просто переводом во вновь создаваемый театр. Но Наталья Викторовна решила наряду с другими претендентами принять участие в прослушивании. Сегодня она вспоминает: «Мне хотелось показать членам комиссии, что я умею не только петь, но и танцевать, говорить, хорошо двигаться по сцене, одним словом — играть, поэтому я выбрала динамичные номера из двух разноплановых спектаклей — пела и танцевала «Карамболину» из «Фиалки Монмартра» Кальмана и исполняла ариозо Тони из «Белой акации» Дунаевского. После прослушивания ко мне подошел один из членов комиссии — известный белорусский композитор Юрий Семеняко — и сказал: «Спасибо вам за Дунаевского».

Разумеется, что на прослушивании Гайда была вне всякой конкуренции. Вместе с ней в труппу нового театра вошло некоторое количество артистов из накануне расформированного Могилевского областного театра музыкальной комедии, который базировался в Бобруйске, а также несколько артистов, приехавших из России. Свою творческую жизнь вновь созданный коллектив начинал в трудных условиях, не имея собственного помещения (которое получил лишь через 10 лет), и репетировать, а впоследствии и давать спектакли приходилось на разных сценических площадках города. К открытию театра готовили три разноплановых спектакля: классическую оперетту, советскую оперетту и белорусскую музыкальную комедию. Дирижером-постановщиком всех трех спектаклей был штатный дирижер Петр Кирильченко.

Церемония торжественного открытия театра состоялась 17 января 1971 года с показом героической музыкальной комедии Юрия Семеняко «Поет жаворонок», главную роль в котором исполняла, конечно же, Наталья Гайда. В этом произведении, построенном на белорусской национальной тематике, рассказывалось о борьбе партизан и подпольщиков против немецко-фашистских оккупантов. Центральным персонажем спектакля была подпольщица Ирина, она же — певица Ирэн, выступающая в немецком кабаре. Таким образом, неожиданно для самой себя артистка в первой же постановке нового театра столкнулась с тем самым драматизмом — и в тексте либретто, и в музыкальной драматургии, — к которому так стремилась ее творческая сущность. Музыкальная характеристика образа Ирины была полна динамики, напряжения и остроты, и вместе с тем проникнута лиризмом и полнотой чувств. От артистки требовалось умение гибко трансформироваться, быть одинаково убедительной и в той, и в другой ипостасях. И это ей удалось превосходно, о чем свидетельствуют восторженные публикации тех лет. Режиссером-постановщиком этого спектакля был Владимир Ожерельев, которого Наталья Гайда хорошо знала по Свердловскому театру музыкальной комедии. «Он был очень ярким характерным актером, которому превосходно удавались комические роли, — вспоминает Наталья Викторовна. — В Белоруссии он оказался раньше меня, работал в Бобруйском театре, где был и актером, и главным режиссером. А потом вместе с группой актеров этого театра был включен в труппу вновь созданного театра музкомедии в Минске. В поставленном им спектакле Ожерельев сыграл также одну из характерных ролей — деда-партизана, бесстрашного в борьбе с врагом, и балагура-шутника».

Вторым спектаклем нового театра была оперетта «Вольный ветер» Дунаевского в постановке Александра Барсегяна, режиссера Киевского театра музкомедии (который впоследствии довольно много сотрудничал с Минским театром). В этом спектакле образ Стеллы в исполнении Натальи Гайды был соткан из

тонкого лиризма, переплетающегося с силой духа и даже мужеством героини. В течение первого месяца существования театра была показана и оперетта Кальмана «Фиалка Монмартра», воссоздающая атмосферу жизни парижской богемы, блеск и нищету сословий, где Гайда в образе Виолетты воплотила все самые сильные качества классической героини. Ставила этот спектакль первый штатный режиссер театра Вацлава Вербовская.

Таким образом, с первых же спектаклей нового театра Наталья Гайда громко заявила о себе не только как певица, но и как многогранная актриса. В жанре музкомедии, синтетическом по своей природе, она получила возможность более широкого самовыражения и в то же время привнесла в него сильные качества оперного искусства — высокую вокальную технику, безупречное владение голосом, интонационную чистоту, а также образно-эмоциональную окраску в раскрытии характеров своих героинь (без малейшего оттенка поверхности и формальности исполнения, чем иногда грешит оперетта).

Для солистки музыкального театра всегда очень важно иметь подходящего партнера, и особенно — в спектаклях классического репертуара, где их несоответствие по каким-то параметрам может испортить восприятие всего спектакля. Первым партнером Натальи Гайды в этом театре был Вил Бурцев — выпускник ГИТИСа, с которым у нее получались довольно органичные дуэты. «Около трех лет Бурцев был моим партнером практически во всех постановках, — вспоминает Наталья Викторовна, — однако в 1973 году он уехал в Магаданский театр оперетты. Но в этот период в театре появились Константин Лосев и Владимир Линкевич, ставшие моими партнерами в партиях баритонового репертуара, а также Виктор Баженов — в теноровых партиях».

С первых лет деятельности театра в его репертуаре значительное место стали занимать советские произведения — музыкальные комедии Дунаевского, Милютина, Птичкина, Фельцмана, Баснера и других авторов, а также оперетты корифеев жанра — Кальмана, Легара, Штрауса, Оффенбаха. И во всех этих разноплановых спектаклях блистала Наталья Гайда. Ее сценические героини, разные по характеру и социальному статусу, отличались внутренним благородством, и главное, — глубиной чувств, что является основным признаком мастерства исполнителя как в драме, так и в опере. Гайда привнесла эти ценные качества в белорусскую музкомедию. При этом она блестяще демонстрировала и специфические черты жанра — без штампов и так называемых опереточных швов при переходе от пения к танцу, а потом к диалогу. Такую органичность выработать на сцене невозможно — она является отличительной чертой всесторонне одаренных артистов. И именно этот жанр безжалостно высвечивает ее отсутствие у того или иного исполнителя.

Конечно, были в театре и другие солистки, выступавшие в амплуа героинь, — Дина Иванова и Нина Белоусова, выпускницы Белорусской консерватории Виктория Мазур и Валентина Петлицкая, которых тоже можно причислить к артистам первого поколения. Все они обладали своими достоинствами, все внесли определенный вклад в развитие театра, но звездой оперетты и королевой чардаша сразу и навсегда стала одна Наталья Гайда.

Именно она создала также полнокровные образы национальных героинь в произведениях белорусских авторов. Юрий Семеняко, работая над своей следующей музыкальной комедией «Павлинка» по мотивам одноименной комедии Янки Купалы, партию главной героини писал с расчетом на возможности этой артистки. Сложность работы над постановкой заключалась в том, что образ Павлинки уже давно стал академическим. Одноименный спектакль является визитной карточкой Государственного академического драмтеатра имени Янки Купалы. И чтобы воплотить этот хрестоматийный драматический образ на музыкальной сцене, исполнительнице необходимо было проникнуться белорусским национальным духом, постичь его колорит, что, в свою очередь, помогало внутреннему восприятию интонационного склада музыкального материала, базирующегося на белорусском народном мелосе. Необходимо было в достаточной мере овла-



Н. Гайда и Г. Харик в мюзикле А. Журбина «Пенелопа».

деть и белорусским языком, что для артистки не составило особенного труда. Большая ценительница драматического искусства, Наталья Гайда начала ознакомление с театральным Минском именно с Купаловского театра, которому верна до сегодняшнего дня. Конечно, не один раз она смотрела здесь и знаменитую «Павлинку», не предполагая даже, что вскоре сама столкнется с этим драматургическим материалом. Главным для артистки было овладеть мелодикой и интонационным строем языка, чему в определенной мере способствовала ее врожденная музыкальность, ну и конечно, в этом ей помогали театр, белорусское радио и телевидение, а также непосредственное общение с белорусскими литераторами и просто с носителями языка.

Премьера «Павлинки» состоялась в 1973 году. В этом спектакле Наталья Гайда играла со своим первым партнером Вилом Бурцевым. Дирижером-постановщиком спектакля был Михаил Фотин, а режиссером — заслуженный деятель искусств России Семен Штейн (впоследствии — народный артист Беларуси, который поставит еще не один спектакль в этом театре). Семен Александрович приехал в Белоруссию в 1970 году и являлся штатным режиссером оперного театра. До этого он работал в оперных театрах России и Наталью Гайду знал еще студенткой консерватории, бывая по творческим делам в Свердловске. И вот их пути-дороги пересеклись в Минском театре музкомедии.

Этот спектакль стал событием в культурной жизни белорусской столицы. В нем сильны были все компоненты — и музыкальная драматургия, и режиссура, и исполнение. И самое главное — не разрушился академически целостный образ Павлинки, являющийся доминантой всего произведения. Более того, он приобрел новые красочные штрихи благодаря многообразию выразительных средств жанра. В этой яркой постановке, основанной на комических коллизиях, артистке удалось четко провести и драматическую линию, более того — уловить и выразить со сцены тонкий нюанс в характеристике своей героини, а именно — ее шляхетность. «Павлинка» принесла Наталье ее первое почетное звание — заслуженной артистки БССР, которого она была удостоена вскоре после выхода спектакля.

На протяжении 1970-х годов было осуществлено еще несколько белорусских постановок с участием Натальи Гайды. Юрий Семеняко создал для этого театра два новых произведения — «Неделя вечной любви» и «Степан — великий пан», которые снова поставил Семен Штейн. «Это тот режиссер, который безумно любит актера, ценит его индивидуальность и стремится реализовывать его сильные качества, — говорит Гайда. — Но если он видел, что какой-то исполнитель не в состоянии выполнить его режиссерскую задачу, он не пытался переломить его актерскую природу, как это делают некоторые другие постановщики. В то же время Семен Александрович был строг, всегда очень четко выстраивал репетиционный процесс и уверенно шел к осуществлению своего художественного

замысла. Ведь он был признанным мастером оперной сцены — ставил спектакли и в Москве, и в Ленинграде, и за рубежом».

Вторым режиссером, с которым у артистки сложилось наиболее плодотворное сотрудничество и который поставил не один спектакль именно на нее, был Борис Второв, приехавший в Минск из Пензы во второй половине 1970-х годов. Следует отметить, что здесь этот разноплановый режиссер больше всего поставил спектаклей именно по произведениям белорусских авторов. Так, одной из ярких постановок этого периода была народная музыкальная комедия «Нестерка», созданная композитором Григорием Сурусом по пьесе Виталия Вольского, в которой Наталья Гайда создала запоминающийся национальный образ и в очередной раз проявила свой драматический дар. Ее героиня Настя — девушка с чистым сердцем и открытой душой — находит силы противостоять родителям, отстаивая свою любовь. (Кстати, запись этой постановки, созданная в 1979 году, и сегодня транслируется по Белорусскому радио.) Вместе с тем, Борис Второв поставил в этом театре и первый мюзикл — «Мост мечты» В. Лебедева, где Гайда предстала в роли трогательной девчонки-старшеклассницы.

Таким образом, к концу 1970-х годов артистка создала целую галерею разноплановых образов в спектаклях разных жанров и стилей: в классической оперетте и советской музыкальной комедии, в мюзикле и произведениях, основанных на белорусском национальном мелосе. Она исполнила десятки заглавных партий в самых разнообразных спектаклях, покоряя зрителя блеском своего таланта и отточенным мастерством. И меломанов, и рядовых зрителей завораживал ее яркий полетный голос, звучащий одинаково легко во всех регистрах, отличающийся при этом гибкостью, пластичностью и богатством оттенков. И эта чуткая музыкальность сочеталась в ней с завидным актерским мастерством, позволяющим посредством фразировки сделать нужный акцент, раскрыть подтекст, а нередко заретушировать и смягчить банальность либретто. Плюс ко всему этому — естественно-завораживающая грация и свобода сценического существования. Поэтому не удивительно, что Наталья Гайда уже воспринималась не иначе как абсолютная героиня, а ее имя стало символом белорусской музыкальной комедии.

Кроме того, эту артистку знали практически во всех уголках Беларуси благодаря ее активной концертной деятельности, ее голос звучал в теле- и радиопередачах. Знали Наталью Гайду и за пределами республики, ведь театр ежегодно на два, а то и на три месяца выезжал на гастроли и побывал в самых различных городах Союза. Заслуги Натальи Викторовны были признаны на правительственном уровне: в 1976 году она была награждена орденом «Знак Почета», а в 1880-м удостоена звания народной артистки Белорусской ССР. По диапазону деятельности и масштабу личности имя Натальи Гайды в Беларуси стали сопоставлять с именем Татьяны Шмыги в Москве.

Помимо работы в театре у артистки были также плановые сольные выступления в филармонии и частые поездки в составе филармонических бригад по многим городам Союза, притом, с различным репертуаром — от камерного до эстрадного. В Москве с оркестром Всесоюзного радио были сделаны записи из классического опереточного репертуара. Более того, артистка представляла искусство нашей республики в городах США и Канады: в 1982 году в честь 60-летия образования СССР по линии общества «Родина» была создана авторитетная союзная бригада деятелей культуры и искусства, в которую она вошла как представительница Беларуси. А в 1983 году Гайда в составе группы артистов гастролировала по городам Греции.

С начала 1980-х годов труппу театра стали пополнять молодые солистки, выпускницы Белорусской консерватории, которых режиссеры зачастую назначали на ведущие партии наряду с Натальей Гайдой. Но она с не меньшим молодым задором продолжала блистать на сцене и оставалась непревзойденной. Репертуар театра пополнялся классическими опереттами, а также произведениями советских авторов в постановке различных режиссеров. Особенное признание

зрителей получил мюзикл «Моя прекрасная леди» Ф. Лоу (по комедии «Пигмалион» Б. Шоу) в постановке Семена Штейна. Это была первая, и притом, удачная попытка воплощения классического западного мюзикла на белорусской сцене. В отличие от оперетты, мюзикл, как правило, имеет серьезную литературную основу и более раскованную, не связанную определенными канонами, музыкальную драматургию, что является благодатной почвой для постановщиков и исполнителей. И разумеется, в этом спектакле, где есть и драма, и комедия, и фарс, Наталья Гайда получила возможность более широко проявить свой чисто актерский, драматический дар, очень органично вплетая его в общую эстетику постановки и жанра в целом. Ее героиня Элиза Дулиттл, воспитанная улицей и по-мальчишески дерзкая, совершенно натурально и естественно превращается в благородную даму, и самое главное, в исполнении Гайды это выглядит абсолютно убедительно!

Из постановок первой половины 1980-х годов особо выделялась и «Ночь в Венеции» Штрауса, режиссером которой был также Семен Штейн. Музыка этой оперетты, отличающаяся танцевальностью, где кроме присущего композитору венского вальса звучат мелодии и ритмы Италии, требовала от исполнителей утонченной музыкальности и особой танцевальной пластики. И Гайда в роли Аннины была неотделимой от музыкальной стихии произведения. Примечательно, что этот спектакль все в той же постановке не сходит со сцены театра вот уже 27 лет, претерпев за время своего существования смену нескольких поколений исполнителей.

В целом 1980-е годы были наиболее насыщенными в творческой биографии артистки. В этот период у нее появился постоянный партнер — выпускник Белорусской консерватории Григорий Харик, и их дуэт в этом театре остался непревзойденным до настоящего времени. Харик стал входить в основной репертуар с конца 1979 года, вместе с Гайдой играл в классических опереттах, в мюзикле «Моя прекрасная леди», других постановках, но особенно запомнились их совместные работы в спектаклях второй половины 1980-х годов. В это время белорусский композитор Андрей Мдивани написал для театра героическую музыкальную комедию «Денис Давыдов», постановку которой осуществил Борис Второв. Романтический образ бесстрашного гусара и поэта воплотил Григорий Харик, который наиболее силен был в лирико-героическом амплуа. Это музыкально-сценическое полотно жанрово менее всего напоминало гусарский водевиль, в нем четко прослеживалась драматургическая линия. И одной из наиболее сложных в спектакле была роль Агнессы — самолюбивой особы, жаждущей только внешнего блеска и далекой от понимания глубины человеческой души, которую очень мастерски сыграла Наталья Гайда.

Вскоре в театре появилось еще одно произведение белорусского композитора — музыкальная комедия «Миллионерша» Евгения Глебова, созданная по одноименной пьесе Бернарда Шоу. Автором либретто и режиссером-постановщиком этого спектакля была Ольга Иванова. Глебов, будучи крупным симфонистом, создал это произведение в стиле симфоджаза, и по принципу постановки спектакль приближался к мюзиклу-драме, где большое значение придавалось литературной основе. Для постановщиков спектакля главным было убедительно показать остроту характеров и ярко высветить созданный из парадоксов образ Эпифании. И Гайда, выступившая в этой роли, с блестящим мастерством использовала благодатный драматургический материал и выразительные музыкальные средства, рисуя яркий и сильный образ самодостаточной женщины, которая, однако, понимает, что для полноты жизни ей необходима любовь. Достойным партнером в этом спектакле ей был Григорий Харик. Сила их дуэта заключалась в гармоническом сочетании литературной и музыкальной стихий при создании характеристик своих персонажей, а также в сохранении необходимой для музыкальной комедии легкости при раскрытии серьезной проблематики произведения.

Во второй половине 1980-х годов главным режиссером белорусской музкомедии являлся Вячеслав Цюпа, ныне работающий в России. Поставленные им спектакли, своей эстетикой резко отличающиеся от всех когда-либо поставленных

здесь, составляют особый пласт в истории этого театра. Участие в этих постановках стало наиболее яркой страницей и в творческой биографии Натальи Гайды.

В 1985 году Цюпа поставил здесь первый свой спектакль — «Сирано» на музыку Станислава Пожлакова (по мотивам комедии Э. Ростана «Сирано де Бержерак»), который он назвал музыкальной фантазией. Главным достоинством спектакля был мастерски найденный художественный синтез драмы и музыки. Сложный, незабываемый образ Сирано, созданный Григорием Хариком, удивительно натурально сочетался с образом Роксаны — поначалу своевольной выдумщицы, превращавшейся на глазах у зрителя в женщину с драматической судьбой. Вместе они создали незабываемый лирико-драматический дуэт, а постановка в целом убедительно свидетельствовала о том, что новаторские поиски в режиссуре не противоречат высокой драматургии.

Вскоре вышел второй спектакль В. Цюпы — «Играем в принца и нищего» по мотивам повести Марка Твена на музыку Александра Журбина, жанр которого постановщик определил как феерический аттракцион для взрослых и детей. Вообще о чистоте жанра применительно к постановкам Цюпы говорить не приходится — его творчество как раз и отличалось смелым межжанровым поиском. Обобщенно эстетику этого спектакля можно было назвать эксцентрикой на грани циркового гротеска. «Мне тогда было уже далеко за сорок, а я играла Тома, — в голосе Натальи Викторовны слышны ностальгические нотки, — в процессе репетиций приходилось даже в цирке тренироваться, осваивать акробатические трюки». А ведь на эти творческие эксперименты Н. Гайда пошла, будучи примадонной театра, которая могла бы и в позу встать (как некоторые из ее коллег). Но она, как истинная творческая натура, была открыта к эксперименту, к поиску новых выразительных средств.

А потом последовала постановка классической оперетты — «Сильвы» Кальмана, где Цюпа не побоялся применить электронное музицирование (правда, только в последнем акте). И хоть режиссера немало ругали и упрекали в излишнем новаторстве, однако он, при всем своем экспериментаторстве, не нарушил природу оперетты и не лишил ее самых специфических черт, зато привнес в нее необыкновенную динамику и дух современности. Поэтому и дуэт Гайды с Хариком в этом спектакле был с одной стороны традиционным, а с другой — полным неожиданных находок и ярких нюансов.

И вершиной творческого эксперимента Цюпы в этом театре стал спектакль «Клоп» по мотивам произведений В. Маяковского на музыку Владимира Дашкевича, жанр которого был определен как фольк-опера. Это поистине спектакль-триумфатор. Он был признан лучшим спектаклем 1988 года в Беларуси и стал лауреатом двух международных фестивалей. Это был не просто комедийный спектакль, а острая сатира на музыкальной сцене. Шаржированность и гротесковость этой постановки могла соперничать с лучшими образцами клоунского искусства. Естественно, что режиссер применял и чрезвычайно выразительные средства воплощения



Н. Гайда в мюзикле Дж. Германа «Хелло, Долли!».

своего художественного замысла: в сценический антураж органично вписались цирковая лестница и даже батут. Как метко подметил один из московских критиков, в этом спектакле парили в воздухе не только предметы реквизита, но и персонажи — как на картинах Шагала.

Наталья Гайда создала в этой эксцентрической постановке гротесковый образ Мадам Ренессанс — невозмутимой хищницы с претензией на интеллигентность. Артистка, благодаря своему драматическому дару, исполнительскому такту и художественному вкусу, сумела выразить всю низость и вульгарность натуры этой мадам, не прибегая к вульгарно-упрощенным выразительным средствам. Но при этом, в соответствии с фантасмагорической формой спектакля, ей довелось выполнять нелегкие трюки и даже совершать прыжки на батуте. «Работать с Цюпой было непросто, но очень интересно, — говорит Наталья Викторовна, — участие в его постановках давало мощный всплеск творческой энергии, способствовало поддержанию тонуса и хорошей формы, что всегда необходимо артисту, особенно в нашем жанре. Не все принимали эстетику этого режиссера, но разве «Клопа» можно было поставить традиционно? Ведь именно благодаря режиссерскому новаторству этот спектакль завоевал такое признание публики и специалистов».

В театре в тот период ставили спектакли, конечно, и другие режиссеры. Так, в 1989 году Семен Штейн осуществил здесь свою последнюю постановку — оперетту Кальмана «Принцесса цирка». Вспоминая ощущения тех лет, Наталья Викторовна говорит: «В первые годы работы в театре я считала, что откажусь от амплуа героинь в 40 лет, но к моменту выхода этого спектакля мне было уже 50. И когда год спустя я все же отказалась от роли Теодоры, многими это было воспринято как каприз примадонны. Но ничего подобного — просто пришел тот час, когда мне стало неинтересно показывать лирико-романтический образ героини, который в классических опереттах является все же определенным типажом. Мне хотелось глубоких драматических коллизий, столкновения характеров, хотелось создавать неординарные женские образы…»

И такой час для Натальи Викторовны настал. Белорусский композитор Владимир Кондрусевич написал специально на нее мюзикл «Джулия» по мотивам романа С. Моэма «Театр», который был поставлен Борисом Второвым в 1991 году. К тому времени это произведение приобрело особую популярность благодаря одноименному фильму с Вией Артмане в главной роли, однако это не помешало успеху спектакля. В нем было то, к чему так стремилась артистка — острота коллизии, заложенная в литературном источнике, и развернутая музыкальная драматургия. Композитор наделил главную героиню мюзикла очень сложным и ярким соло с элементами джазовой импровизации, в то же время в постановке было много развернутых монологов, что способствовало созданию целостного образа Джулии — непревзойденной актрисы и непостижимой женщины. В этом спектакле Наталья Гайда в лице своей героини красноречиво доказала, что истинная Актриса способна служить искусству в любом возрасте.

Через некоторое время Владимир Кондрусевич создал еще один мюзикл с расчетом на Наталью Гайду — «Стакан воды» по одноименной пьесе Э. Скриба, постановку которого осуществил также Борис Второв. И снова — острота интриги, столкновение характеров, безудержная страсть… Гайда — в образе властной герцогини Мальборо, которая ни перед чем не остановится ради достижения своей цели. В этом спектакле артистка блистала не меньше, чем в классическом репертуаре, где играла молодых героинь, но здесь у нее была возможность гораздо шире использовать свой творческий диапазон, а именно — драматический дар.

На протяжении 1990-х годов была поставлена целая череда и других спектаклей, в которых Н. Гайда исполняла центральные характерные роли. Например, к ним относится американский мюзикл «Хелло, Долли!» Дж. Германа в постановке Вячеслава Цюпы. Яркость и зрелищность этой постановки не оттеснила на второй план драматургическую линию произведения. Образ Долли, как будто

специально созданный для артистки, очень выгодно подчеркивал ее творческую состоятельность. Она показала неувядаемый шарм состоявшейся женственности и как будто приоткрыла непостижимую тайну женской силы, вытекающей из ее слабости…

Переход на качественно иной уровень творчества оказался для Натальи Гайды не болезненным (как это случается с ведущими солистками музыкального театра), а наоборот, обогатил ее творческую палитру высокой приметой драматического искусства. В ряду таких спектаклей особо выделяется мюзикл Марка Самойлова «Дорогая Памела» по пьесе американского драматурга Дж. Патрика, поставленный Борисом Второвым в 1998 году. Этот спектакль отличался определенной камерностью, сочетанием драматических и острохарактерных моментов и ставился в расчете на творческую индивидуальность актрисы. И хоть произведение названо мюзиклом, однако по форме постановки это не классический мюзикл, так как в нем нет развернутой музыкальной драматургии, и акцент сознательно переносится на литературную основу. Этот спектакль по форме и содержанию скорее можно было отнести к мелодраме в ее лучшем проявлении. Психологически точно раскрыть образ Памелы, в котором предстала Наталья Гайда, — дело нелегкое даже для драматической актрисы. Тем более что все действие, весь накал эмоций вращаются вокруг этого персонажа. И она одна, полунищая пожилая женщина, создающая впечатление блаженной в своем возвышенном одиночестве, без никаких внешних примет борьбы побеждает компанию дельцов, молодых и энергичных людей. А в финале действия Памеле удается даже выполнить миссию спасительницы человеческих душ — она в очередной раз предотвращает «несчастный случай», который готовят ей дельцы, и тем самым не позволяет им взять на себя смертный грех. И даже в этой роли, по своей сути возрастной, Наталья Гайда показала женщину, молодую душой и полную внутренних сил.

Что касается классической оперетты, то в 2003 году Борис Второв поставил, опять-таки специально на Гайду, «Королеву чардаша» Кальмана. По существу, это та же «Сильва», но с несколько иной сюжетной линией. Наиболее распространенным в этой оперетте является либретто М. Мишина и Я. Фрида, а Борис Второв использовал либретто Ю. Шишмонина, созданное по мотивам венгерских авторов. Музыкальный материал произведения остался таким же, как и в традиционной «Сильве», за исключением двух вставных номеров, рассчитанных специально на Наталью Гайду. В этой постановке параллельно развивались две сюжетные линии: перипетии любовных отношений Сильвы и Эдвина и ретроспектива жизни Цецилии, матери Эдвина — бывшей «красотки кабаре», а ныне княгини. Таким образом, на сцене были две главные героини, воплощающие, в сущности, один и тот же образ. Прошло не так уж много лет, как со сцены театра сошла «Сильва» в постановке В. Цюпы, и многие помнили примадонну в образе главной героини, поэтому и в «Королеве чардаша» ее воспринимали в этой же ипостаси. Таким образом, получалось, что на сцене было две Сильвы: нынешняя (в исполнении молодой солистки) и непреходящая (невозможно сказать бывшая) в исполнении Натальи Гайды.

«Это моя последняя классическая роль, где я играла, пела и танцевала, не будучи молодой героиней», — говорит Наталья Викторовна. Сегодня в постановках классического и современного репертуара артистка исполняет характерные роли, создавая неповторимо колоритные и запоминающиеся образы, например, Каролины — хозяйки ресторана «Зеленый попугай» в «Принцессе цирка» Кальмана, Доньи Лауры в «Дон Жуане в Севилье» Самойлова, Семеновны в «Бабьем бунте» Птичкина, мисс Петинктон в музыкальной комедии «Моя жена — лгунья» Ильина, довольно эксцентричной Бабушки в детском мюзикле Алексея Рыбникова «Красная Шапочка. *Поколение next»,* тетушки Джахан в музыкальной комедии У. Гаджибекова «Аршин мал алан».

Сегодня, уже не будучи столь загруженной основным репертуаром, Наталья Гайда плодотворно сотрудничает с двумя академическими драматическими

театрами: в Купаловском она совместно с народной артисткой Беларуси Марией Захаревич играет в трагикомическом спектакле «Я не покину тебя» по пьесе М. Саймона, а в Театре имени Максима Горького — в спектакле «Валентинов день» по пьесе И. Вырыпаева совместно с народной артисткой Беларуси Беллой Масумян. А впереди — новые постановки со звездным составом разножанровых актрис белорусской сцены.

Преподавательская и общественная деятельность

В консерваторском дипломе Натальи Гайды указано: «Оперная, концертная певица, преподаватель сольного пения». И преподавать она начала еще в Свердловске, сразу после окончания консерватории. Однако во время работы в белорусской музкомедии у артистки времени на преподавательскую деятельность не хватало — на ней, как на ведущей солистке, был весь репертуар плюс насыщенная концертная деятельность. Но в 1990-х годах, когда Наталья Викторовна отошла от амплуа героинь, у нее наконец появилась возможность всерьез заняться педагогикой, и что очень важно — она могла передавать молодым свой бесценный опыт. «Преподавать мне нравится, у меня бесспорно есть педагогическая струнка, — говорит Наталья Викторовна, — но я считаю, что мне не хватает педагогической выдержки. Из-за своей эмоциональности я зачастую бываю нетерпеливой, поэтому во время занятий я себя постоянно осаживаю. Порой не понимаю, почему некоторые ученики не могут быстро освоить какую-то простую вещь». С 1992 года Н. Гайда начала вести камерный класс в Белорусской академии музыки, а также преподавать вокал в Белорусской академии искусств. А когда в 1996 г. в Академии искусств открылся курс «артист музыкального театра», который вел Б. Второв, то Наталья Викторовна, естественно, стала преподавать на этом курсе вокал. И сегодня в ее родном театре работает плеяда солисток, в профессиональное становление которых она вложила свои силы. А в последние годы Наталья Викторовна преподает вокал и в Белорусском университете культуры. Так что ее учеников можно встретить в очень многих учреждениях культуры и искусства страны.

Вклад народной артистки Беларуси Натальи Гайды в развитие национального искусства отмечен высокими наградами: орденом «Знак Почета» и медалью Франциска Скорины, Почетными грамотами Верховного Совета БССР. Наталья Викторовна является первым лауреатом национальной премии имени народной артистки СССР Ларисы Александровской, которая присуждается артистам и постановщикам музыкального театра. Она удостоена также высшей награды в области театрального искусства Беларуси — «Хрустальной Павлинки».

Н. Гайда входит в число наиболее именитых представителей белорусского искусства, которые во многом определяют направление его развития. Она является членом Президиума Союза театральных деятелей, членом Государственного комитета по Государственным премиям, членом Совета по культуре Совета Министров Республики Беларусь, членом исполнительного комитета Белорусского центра Международного института театра. Имя Натальи Гайды значится во всех отечественных энциклопедиях, в издании «Кто есть кто. Деловой мир СНГ» и даже во всемирном справочнике «Who is Who», куда вошли имена самых знаменитых женщин мира.



ТАТЬЯНА ШАМЯКИНА

О «Тайне драмы» и двух друзьях

Воспоминания об Андрее Макаёнке

Иван Шамякин познакомился с Андреем Макаёнком еще до моего рождения — в 1947 году. Встречаться они стали часто по переезде обоих в Минск. Моя старшая сестра Лина Ивановна вспоминает: «На Логойском тракте снимали комнаты Андрей Макаёнок, Петр Василевский, Алексей Кулаковский. Папа с ними сдружился. Они приходили к нам. В теплое время беседовали в вишневом садике о политике, экономике страны, писательских делах. Когда случались холода, шли к кому-нибудь из них, поскольку у нас было очень тесно».

Я, естественно, не помню первых своих лет, не помню и нашу первую минскую квартиру — мы ее тоже снимали, как и папины друзья, но мои родители рассказывали, что Андрей Егорович любил играть со мной, маленькой, и считал как бы своей крестницей. Мой отец в своей искренней и проникновенной книге «Тайна драмы (Повесть о друге)» писал: «Через полтора месяца после приезда в Минск у нас родилась Татьяна. Андрей очень привязался к малышке и начал приходить не только по воскресениям, но и в будние дни» [Перевод с белорусского мой. — **Т. Ш**.]. Своеобразным моим опекуном он оставался до конца жизни, кстати, и мужа моего любил, и старшую дочь Машу.

Первые мои воспоминания связаны с проживанием на улице Комсомольской, в доме, где сейчас книжный магазин «Центральный». Знаю, что Макаёнок захаживал к нам нередко, но помню его смутно. Реальная память осталась о нашей квартире на улице Карла Маркса, в так называемом «писательском доме» под № 36. Там мы прожили пятнадцать лет. Тогда Андрей Егорович приходил к нам особенно часто. Уже начались у него нелады с женой Еленой Сергеевной, а в то же время пришла и слава драматурга, комедиографа.

Макаёнок был человеком очень харизматичным, по-настоящему обаятельным. В любом коллективе, в любой компании он выделялся и внешней красотой, и темпераментом — бурным, взрывным. К тому же — замечательный актер. Когда в России широко пошли его пьесы, он завел тесную дружбу с актерами Московского театра сатиры. Восторгался актерским мастерством многих, особенно Андрея Миронова. Помню, он показывал, как Миронов играет некоторые роли, как он в них двигается, как перевоплощается в персонажей, как интонирует произнесение реплик. При этом у самого Андрея Егоровича получалось не хуже. В нашем Государственном академическом театре имени Я. Купалы он всегда сам читал свои новые пьесы, и это оказывалось настолько захватывающим, поучительным и вдохновляющим, что актерам при подготовке спектакля значительно легче было работать над ролями. И. Шамякин в «Тайне драмы» — книге в память о друге — рассказывает о розыгрышах Макаёнка, в частности, об одном особенно удачном — в маске кавказца, привезенной М. Лыньковым из США. Я хорошо помню этот остроумный, хотя и несколько грубоватый, розыгрыш, на который поддались многие работники редакций и издательств («Номер не удался с Ильей Гурским и Янкой Брылем», — замечает Шамякин). «Номер не удался» и с моей мамой: Макаёнок в маске заявился к нам, мама ему открыла и тут же узнала. Однако говорил он с грузинским акцентом удивительно естественно, то есть без

всякого шаржа — именно так, как и говорят кавказцы. Со смехом рассказывал у нас дома, как кто на его великолепную игру реагировал. В писательской среде еще долго вспоминали этот розыгрыш. Часто разыгрывал он по телефону некоторых приятелей — обычно под Новый год или 1 апреля. Несомненно, он бы мог стать незаурядным актером.

Талантливый человек талантлив во всем. Так и Макаёнок отличался многими дарованиями. Шамякин пишет: «…Было у Андрея хобби — резьба по дереву, вообще работа с деревом. Когда ни придешь — он с рубанком, мастерит новую полочку, переделывает сарайчик, дровницу… Он мог потратить месяц работы, до кровавых мозолей на руках, чтобы вырезать из осинового полена… фигу. Дуля вышла высокохудожественная. «Это моим критикам».

Лежала деревянная фига так, что на нее обращали внимание сразу. Сколько было шуток! Гости, восхищаясь мастерством хозяина, весело смеялись. Объясняю, что дело происходило на даче. К сожалению, многие вырезанные из дерева произведения Макаёнка, а также его мастерски, психологически точно нарисованный автопортрет, сгорели вместе с дачей. Это случилось по всегдашней доброте Андрея Егоровича: он пустил пожить на даче знакомую семейную пару, они включили зимой электрообогреватель и уехали в Минск. Макаёнок на свои огромные гонорары построил новую дачу — во всем новаторскую, по эксклюзивному проекту. Нам, Шамякиным, она не нравилась — неуютная. Но мы не высказывали своего мнения другу семьи.

Бьющие через край эмоции, талантливость, артистизм, остроумие неизменно привлекали к Макаёнку людей. Особенным успехом пользовался он у женщин. Умел прекрасно обходиться и с детьми. В то же время он сам нуждался во внимании и поддержке. В каком-то смысле они с моим отцом были антиподами: Макаёнок — эмоциональный и порывистый, Шамякин — спокойный и осторожный. В течение многих лет Макаёнок приходил к нам буквально каждый день, чтобы выговориться и впитать, как мне сегодня видится, атмосферу нашего дома, что создавалась мамой — доброй и мудрой женщиной. Такой же атмосферы в семье самого Андрея Егоровича не сложилось. Он белой завистью завидовал другу. Кстати, я от него самого слышала это не раз. Отношение же моей мамы к Макаёнку было сложным. С одной стороны, он ее явно раздражал, многое в нем она органически не принимала, полагала, что он портит ее довольно наивного и мягкого по характеру мужа, скажем, знакомит его с разбитными, навязчивыми актрисами. С другой стороны, маме не могло не льстить, что Андрей Егорович ее безмерно уважал и даже преклонялся перед ней. Она, конечно же, признавала его ум, талант, старалась с ним дружить, и сколько я помню, никаких конфликтов у них никогда не возникало. По-человечески она и жалела его, и одновременно в душе осуждала, особенно в последние годы жизни Андрея Егоровича, когда он женился вторично. Макаёнок любил с женой друга поговорить, и я видела, что ему хотелось выглядеть перед ней лучше, чище, серьезнее. Впрочем, он не выглядел, а в самом деле был таким — второй стороной своей натуры.

В 50-е годы Макаёнок приходил к нам со своей первой женой Еленой Сергеевной. Она считалась первой красавицей среди жен писателей, и это мнение, безусловно, было справедливо. Однако даже мне, ребенку, не то, что маме, много пережившей в военные и послевоенные годы, молоденькая жена Макаёнка казалась довольно легкомысленной. Я видела, что мама с трудом поддерживает с ней разговор о каких-то сугубо женских вещах — нарядах, косметике. Маме не удавались такие разговоры. Однако через несколько лет, после рождения детей, Аллы и Сергея, Елена Сергеевна совершенно избавилась от своего несколько наивного, извинительного девичьего кокетства. Одно время моя старшая сестра Лина работала с ней вместе в 86-й школе. Педагогом жена Макаёнка оказалась хорошим, и ее любили.

В 60-е и 70-е годы Андрей Егорович никогда уже с Еленой Сергеевной к нам не приходил. У них были частые ссоры. Мои родители обсуждали дела посто-

ронних людей, да и родственников, всегда наедине, между собой, и очень заботились, чтобы нас, детей, не касались перипетии, часто не совсем чистые, чужих отношений. Но все же какие-то сведения до нас доходили. Сейчас очень сложно сказать, кто виноват в семейной драме. У моего отца сложилась собственная версия, в которой он неизменно, стараясь быть объективным, все же становился на сторону друга, полагая, что Елене Сергеевне не хватило чисто женского умения, тепла, «умного сердца», чтобы удержать такого сложного человека, как Андрей Егорович. Я же думаю, что, чтобы ужиться с большим талантом, нужно самой быть талантливой. Талантливой именно в понимании другого человека. Моя мама сумела. Андрей Егорович разглядел в ней это и очень ценил, радовался за друга.

Да, мне приходилось видеть обычно всегда веселого дядю Андрея и грустным, и задумчивым, и изливающим друзьям — Ване и Маше — свою тоску — по уютному дому, понимающей жене. Однако и от него требовалось немалое умение — ведь жену, младше его по летам, можно было «воспитать». Я помню, она старалась угождать. Помню потому, что виделись мы в самом деле нередко. В 50-е годы часто семьями ездили покататься на машинах — обычно по Московскому шоссе. Мы, дети, всегда с нетерпением ожидали таких вылазок. На возвышенностях вдоль дороги тогда установили гипсовые скульптуры оленей и медвежат — мы с братом Сашей на них взбирались и любили так фотографироваться. Как мало нужно было тогдашним детям для развлечения! Однако и у взрослых мужчин, прошедших войну, оставалось много ребяческого в характерах. Самое удивительное воспоминание об этих поездках — перегонки Макаёнка и Шамякина на их «Победах», причем, с полными салонами пассажиров. Каждый старался обогнать другого. Жены увещевали, упрашивали — ведь дети в машинах! — но вошедших в азарт отцов семейств и маститых писателей, оказывалось, очень сложно урезонить. Я и сейчас помню выражение лица — лукаво-восторженное — моего папы, когда он обходил машину приятеля-соперника. А потом друзья, остановившись, друг над другом подшучивали и с большим удовольствием обсуждали все перипетии гонки.

Отъезжали от Минска довольно далеко — ведь бензин стоил копейки, а движение по шоссе тогда было минимальное. Весной ездили смотреть ледоход на реках — Березине, Немане, а также собирать подснежники и удивительные цветы-колокольчики, которые мы называли «сон». Осенью — «третья охота», грибы, и очень часто просто поездки на природу — посидеть у костра, поесть печеной в золе картошки, поджаренного на палочках сала. Часто ехали большой компанией — еще и семьи Кулаковских и Василевских. Помню, что Андрей Егорович любил подшучивать над Кулаковским — сухарем и формалистом, как он полагал (в то время Алексей Николаевич был секретарем партийной организации Союза писателей). А просто у Кулаковского был совсем иной темперамент, чем у Макаёнка. Впрочем, и у нас дома о Кулаковском говорили с легкой иронией, думая, что мы, дети, ее не замечаем. Я полагаю, потому, что когда родители еще жили вместе с Кулаковскими в одной квартире, Алексей Николаевич занудно всех учил праведности, высокой морали, но однажды мама, будучи с дочерью Линой в кино, увидела соседа с другой женщиной — не с женой, кроткой и милой Ниной.

С Петром Василевским, кстати, своим земляком, однокашником, Андрей Егорович часто вступал в перепалку. Оба они острые на язык, хотя эрудицией тогда больше блистал Василевский. Однако и Андрей Егорович быстро набирал знания. В 60-е годы они рассорились — как я понимаю, из-за фильма «После ярмарки» по пьесе Я. Купалы «Павлинка», где сценарий писал Макаёнок, а режиссером был Василевский. Андрей Егорович не мог простить другу провала, по его мнению, фильма, который задумывался им совершенно иным. Однако когда сегодня смотришь эту искрометную комедию и сравниваешь с современными скороспелыми, более чем сомнительными, поделками, то не можешь не удивляться профессионализму советских киноработников, а тогдашнюю якобы неудачу воспринимаешь чуть ли не шедевром.

Мне было жаль, что рассорились такие умные люди. Правда, Шамякин и Василевский остались добрыми приятелями, но уже не встречались так часто, как раньше. О прошлой дружбе четверки в своей мемориальной повести не так давно написала Галина Онуфриевна Василевская.

Свой взрывной, цыганский характер сам Макаёнок любил и в себе его ценил. Нельзя сказать, что он лез в драку по любому поводу, но, бывало, брал за грудки, например, Анатоля Велюгина. Кстати, за то, что тот, случалось, обижал Шамякина, а мой отец всегда от грубости и наглости терялся, не мог ответить подвыпившему задире. Не таков был Макаёнок. Впрочем, на следующий день они с тем же Велюгиным уже запросто обнимались, да и Шамякин на Велюгина никогда не сердился. А чем ближе к старости, тем больше они все начинали чувствовать особенную теплоту друг к другу. Шамякина тянуло к близким по возрасту коллегам — к тому же Велюгину, Приходько, Панченко, Брылю, Науменко. Только с Быковым не сложились приятельские отношения. В своей «Тайне драмы» Шамякин вспоминает людей, с которыми дружил Макаёнок, и это известнейшие писатели Советского Союза — Петро Глебка, Петрусь Бровка, Михаил Лыньков, Максим Танк, Пимен Панченко, Василий Быков, Александр Прокофьев, Александр Корнейчук, Олесь Гончар, Николай Зарудный, Василий Казаченко, Афанасий Салынский, Мустай Карим, Расул Гамзатов, Василий Субботин, Борис Можаев, Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский. Белорусы, русские, украинцы, кавказцы… Отец почему-то не включил в книгу некоторые интересные эпизоды отношений Макаёнка с коллегами из других республик, — то, что помнится мне. Однажды в Москве, в дружеской беседе за неизменным коньяком в Центральном Доме литератора, выяснилось, что у Евтушенко — белорусские корни, кажется, дед по матери белорус. Андрей Егорович, как всегда, загорелся — найти малую родину знаменитого русского поэта. Действительно, Евтушенко, всегда легкий на подъем, приехал в Беларусь, и Макаёнок долго возил его по Могилевской и Гомельской областям, и они таки нашли дальних родственников Евгения Александровича. О белорусском драматурге доброжелательно вспоминал известный русский писатель Владимир Солоухин, тоже из тех, как и Макаёнок, кто всегда шел наперекор любому официозу.

У нас дома друзья — Шамякин и Макаёнок — часто обсуждали коллег по перу. Не злословили, а именно обсуждали — и плохие, и хорошие стороны каждого. Их оценки в 60-е годы, как я поняла уже позже, оказались в целом справедливыми. Причем, Шамякин не любил ничего рассказывать детям — все более или менее существенное из писательской жизни я узнавала или из разговоров двух друзей, которые слышала через стенку папиного кабинета, или непосредственно от Андрея Егоровича, сообщавшего новости моей маме, а когда я стала студенткой — уже и мне. Шамякин в то время руководил Союзом писателей — был первым секретарем (М. Танк — председателем). Отцу приходилось решать множество текущих дел, общаться с огромным количеством людей, поэтому он часто задерживался на работе. Макаёнок приходил к нам несколько раньше конца рабочего дня и сидел, ожидая друга, в нашей всегда многолюдной квартире (дети, их друзья, сестры мамы, ее племянницы). Я очень любила его рассказы — это был настоящий университет. Правда, некоторые сведения, услышанные от него, я и сегодня не могу озвучить по причине их деликатности, проще говоря, это чужие тайны. А некоторые стали прочным фундаментом моего филологического образования. Уже когда я училась в университете, Андрей Егорович говорил мне: «Ты пока — «кастрюля», в тебя набивают и набивают знания, как продукты для борща, но борща не будет, пока кто-то не зажжет огонь и не позаботиться о готовке». Думаю, в нем жило стремление как раз разжечь в своей крестнице такой огонек — творческий. Я ценила серьезность его бесед со мной. Пришел он, кстати, и на защиту моей кандидатской диссертации в 1975 году. Это было какое-то удивительное действо, которое я тогда по молодости толком не поняла и не оценила. Ведь моим руководителем был академик Иван Науменко, первым

оппонентом — известнейший писатель Алесь Адамович, сочувствующими зрителями — такие асы-профессионалы, как Иван Шамякин и Андрей Макаёнок, а также мои коллеги по кафедре — сами замечательные литераторы и ученые: Михаил Ларченко, Олег Лойко, Степан Александрович, Дмитрий Бугаёв, Григорий Семашкевич. С трибуны Науменко и Адамович говорили, собственно, для них, зрителей, — получился удивительно интересный разговор о литературе, который продолжился за банкетным столом у нас дома, на новой квартире, — уже не на улице Карла Маркса, а символически — на улице Янки Купалы.

Особая тема — разговоры в квартире Шамякина о политике. И мама, и ее родственники, и я часто просили Андрея Егоровича разъяснять нам некоторые происходящие в стране и мире события, а это было богатое на них время: в 1956 году XX съезд КПСС и оглушительный доклад Хрущева на нем, в 1957 году осуждение «антипартийной группы» Молотова, Маленкова и Кагановича (все — бывшие соратники Хрущева), в 1962 году — Карибский кризис, а в 1964 году лишился высокого поста и сам «дорогой Никита Сергеевич». Взгляды писателей на социальные процессы в то время отличались удивительной широтой понимания и прозорливостью. Однако была и другая сторона их политических воззрений. Так, все они очень любили слушать и рассказывать анекдоты на злобу дня. Тот же Макаёнок каждый день приносил новый, а часто и не один. Огромное их количество появлялось тогда. Правда, через десятилетия Андрей Егорович говорил мне, откуда они брались и берутся: на Западе существует не менее двухсот научно-исследовательских институтов, работающих на информационную войну, занимающихся идеологической обработкой населения СССР и стран социалистического содружества. Естественно, тогда я восприняла его слова с юношеским скептицизмом. Уже в 90-е годы, через много лет после смерти моего крестного и ликвидации, не без внешнего воздействия, СССР, я и сама прочитала о деятельности этих институтов: кроме сочинения антисоветских анекдотов они эффективно работали с нашей же прессой, извлекая из нее нужные сведения, и особенно — что удивительно — гонялись за настенными газетами разных организаций и учреждений. Нам бы поучиться тогда (хотя бы по деятельности «радиоголосов») такой идеологической работе — у нас в стране она все больше хирела, засушивалась и угнетала думающих людей своим догматизмом. Против этого и восставали писатели, об этом и вели нескончаемые разговоры. Хорошо видели Шамякин и Макаёнок суть деятельности определенной части творческой элиты, которая работала на разрушение, на понижение нравственных критериев, эталонов красоты. Всё видели. С начинающимся регрессом могли бороться только одним — своим словом…

Имена некоторых деятелей звучали в разговорах писателей постоянно, и даже мне, маленькой, западали в память. Шли бесконечные обсуждения Сталина и Хрущева. Часто подключались наши соседи-писатели: Ян Скрыган, сам только что вернувшийся из Сибири, Янка Брыль, у которого братья пострадали, Иван Мележ, Иван Науменко, Петро Глебка. Причем, Шамякин, понимая ошибки и глупости Хрущева, все же его неизменно оправдывал, потому что, по мнению моего папы, главное достижение Никиты Сергеевича перекрывало все его грехи — «не допустил репрессий, реабилитировал невиновных». И это при том, что и Шамякин, и Макаёнок от русских и украинских писателей знали об участии самого Хрущева в репрессиях — ведь руки у того были по локоть в крови. Поэтому Макаёнок, в целом соглашаясь с Шамякиным, все же постоянно по конкретным историческим периодам и делам политиков вступал в яростные споры. Не потому, что любил спор как таковой, а потому, что надеялся на прорыв истины в этих бесконечных спорах и разговорах, ожидал извлеченного из слов собственного понимания невероятно сложных перипетий истории. Вообще идеи у него вызревали в процессе говорения. Конечно, ни он, ни Шамякин, ни другие писатели не думали о разрушении Советского Союза — тогда он казался мощным как никогда. Однако они видели постепенное обывательское перерож-

дение, нравственное гниение партийной и государственной верхушки, которая разлагала и народ. Они ощущали, а в начале 80-х уже и знали, что добром это не кончится. Не боясь уничтожения государства (об этом и помыслить не могли), они боялись увядания в людях чувства патриотизма, долга перед страной, ликвидации национальной идентичности народа. Я помню, как решительно выступал Андрей Егорович против идеи Суслова о «советском народе». «Не может быть такого понятия — «советский народ»! — горячился Макаёнок. — Есть белорусский народ, русский, украинский, польский, грузинский… Идея «советского народа» нужна, чтобы всех нас нивелировать, подвести под один стандарт — ведь одинаковой массой легче управлять…» Правда, сейчас мне кажется, что имелось в этой идее рациональное зерно — понятие советскости нас объединяло, хотя, конечно же, прав был и Макаёнок. Я хорошо помню и обсуждение политических событий после падения Хрущева. Меня, подростка, потрясло тогда, что писатели не только знали о личных, человеческих качествах вождей, но и прекрасно представляли, «кто за кем стоит», говорили, например, о том, кто конкретно «посадил на престол» Брежнева. В начале его правления он считался абсолютно никчемной, несамостоятельной фигурой. В огромной степени свои сведения белорусские писатели черпали от русских коллег, с которыми общались тогда очень активно — часто ездили вместе в командировки, в том числе за границу (о чем и вспоминал В. Солоухин), встречались на писательских пленумах, съездах, разных семинарах, «круглых столах», в издательствах. Макаёнок буквально поглощал эти сведения, впитывал в себя.

Но вообще-то Андрей Егорович считал себя очень ленивым. Да, он много ездил и очень охотно общался с людьми. Но он мог год вообще не писать, а потом садился и создавал пьесу за две недели. Причем, сам процесс писания, в отличие от Шамякина, не любил. Написать статью или предисловие к книге коллеги, а тем более доклад на пленуме, допроситься его было невероятно сложно. Ему нравилось «прокручивать» диалоги и реплики в голове или же озвучивать их перед слушателями. Но Макаёнок очень серьезно работал над собой — много, можно сказать, ненасытно читал. Причем, круг его чтения с годами становился все более рафинированным. Помню, один раз он у нас просил Болеслава Пруса (у нас было собрание сочинений), другой раз — сборник Франца Кафки, потом Сэлинджера, и так без конца. Брался и за философов, очень увлекался историками. По воспоминаниям Шамякина: «На столе развернутый том Геродота. — Скучно? — Но мудро». Это Макаёнок ответил: «мудро». От него я впервые услышала, скажем, имена Н. Бердяева, А. Тойнби. В библиотеки никогда не ходил — читал всегда дома или на даче. Читал вдумчиво и увлеченно обсуждал прочитанное. Вообще любил говорить. В диалогах друзей Шамякин говорил мало. И никогда не спорил. Что-то высказывал, а дальше слушал бесконечный макаёнковский монолог, не возражая. После ухода Макаёнка, бывало, высказывал мнение, противоположное только что услышанному. Мы, его близкие, удивлялись: «Почему же ты не сказал этого Андрею?» — «Не хотел обижать». Не хотел он обижать друга и тогда, когда тот выбрал не совсем подходящую ему по взглядам, пристрастиям, интеллектуальному уровню вторую спутницу жизни — Любу. Мы уже выросли, и родители не раз обсуждали с нами ситуацию с дорогим семье человеком. Мама неизменно занимала сторону первой жены Елены Сергеевны и их общих детей. Кстати, в этом ее горячо поддерживала Ядвига Павловна Науменко. Сам Иван Яковлевич Науменко и Шамякин, к этому времени тоже хорошо сдружившиеся, придерживались нейтралитета, хотя настоящее мнение отца о Любе я, конечно же, знала. Снисходительное отношение писателей, как я сейчас понимаю, было где-то оправдано. Во-первых, оба они были по-белорусски толерантны, рассуждали: «Если другу так лучше, то и пусть себе», во-вторых, уже как писатели полагали, что жизнь непредсказуема, в ней все возможно, и все что угодно случается, и нужно относиться к этому по-философски. Так и относились. Однако после внезапной смерти Макаёнка в 1982 году неизменно соглашались, что вторая женитьба жизнь ему сократила.

Шамякин в своей «Повести о друге», созданной сразу после смерти Андрея Егоровича, очень многое вычеркнул даже уже после написания, и оценку Любови Ивановне дал достаточно сдержанную: «…Вторая жена его — женщина своеобразная, возможно, даже уникальная. Прежде всего, до невероятного противоречивая: в ней как бы воплотились все черты многих эпох и многих социальных пластов — от крестьянской патриархальности, суеверности до рафинированной психологии определенной части ультрасовременной интеллигенции». Насчет «рафинированности» писал отец не без иронии: имел он в виду махровое мещанство людей, причисляющих себя к интеллигенции, то явление, которое Александр Солженицын назвал «образованщиной», хотя и сам-то… А Шамякин и Макаёнок очень хорошо различали в людях обывательскую психологию, всю жизнь боролись с ней в своем творчестве и, кстати, в себе изживали, как могли сопротивлялись ее «ползучему» проникновению. Не всегда удавалось, нужно честно признать, — главным образом, под влиянием окружения, в том числе семейного. Но у нас в семье — очень поздно, в последние годы жизни родителей. Мне было горько это видеть: он все прекрасно понимал, но уступал по всегдашней мягкости характера — не хотел конфликтов. Назвать характер Андрея Егоровича мягким никак нельзя, но и он уступал: скрипел зубами и уступал. Часто приезжал к нам на дачу, чтобы, выговорившись, успокоиться: видно было, что кипел. Рассказывал о постоянных просьбах новой жены: устроить очередного родственника, купить ковер, шубу, бриллианты… Кстати говоря, когда Макаёнок развелся с Еленой Сергеевной, она ни на что не стала предъявлять права — ни на машину, ни на дачу, сразу согласилась на сумму, которую муж предложил давать на детей, хотя, если бы алименты шли официально, то она от его фантастических гонораров получала бы во много раз больше. А вот Любовь Ивановна судилась с детьми Макаёнка после его кончины. Моя мама и Ядвига Павловна Науменко выступали свидетельницами в суде — естественно, на стороне детей. И таки ж выиграли дело: хотя бы дача досталась первой семье.

В личном общении Любовь Ивановна была даже своеобразно обаятельной, скорее — забавной. Я помню, как она рассказывала мне о методах воспитания и образования ее Андреем Егоровичем. В их двухкомнатной квартире он повесил на стене около телевизора политическую карту мира. Как только в «Вестях» называли какую-то страну, он поднимал с дивана Любовь Ивановну и гнал ее к карте — показывать эту страну. Не знаешь — иди за энциклопедией. Нужно сказать, очень правильный образовательный метод. В своей книге Шамякин писал и о том, что в начале знакомства она — врач лечкомиссии — понятия не имела о таком драматурге — Макаёнке (в театры не ходила), а о Шамякине слышала, как о каком-то начальнике. Однако уже через год после начала жизни с Макаёнком прекрасно разбиралась в отношениях актеров между собой, их же — с режиссерами, драматургами и вообще во всей театральной «кухне».

Действительно, Шамякин и Макаёнок говорили не только о творческих проблемах, но и о личных, дружбе, конфликтах с актерами, режиссерами, — а она все впитывала. Моя мама как раз такие разговоры воспринимала вполуха. Шамякин в «Тайне драмы» много пишет о творчестве — писательской манере Макаёнка, концепциях пьес, вызревании замысла. Однако я не могу не остановиться на моменте, вокруг которого сейчас появилось много спекуляций — в Интернете и некоторых изданиях. Речь о запрещении пьес Макаёнка. Действительно, случалось, что сначала его произведения ставились в Москве, вообще в России, затем в Беларуси. Шамякин отмечает: «Петр Машеров не все принимал в комедиях Макаёнка. Но критиковал он драматурга по-хозяйски и часто давал разумные и удачные подсказки, особенно когда обсуждалась пьеса о селе. Машеров любил поговорить с драматургом. У него была слабость: при собеседнике, глядевшем ему в рот, он больше говорил сам. Макаёнок с ним спорил, и Петр Миронович ценил это, ему было интересно с человеком, не признающим «табели о рангах». Из этого небольшого отрывка виден и демократизм Машерова, действительно

любившего беседовать с Макаёнком, но, кстати, и с Шамякиным, а также и характер Макаёнка, отстаивавшего свои взгляды, невзирая на лица. Но запреты таки были. Что тут сказать? Как видим, не со всем в пьесах драматурга соглашался глава республики, и, возможно, он бывал прав. Прав с точки зрения хозяйственника, экономиста, политика, знающего свое огромное хозяйство широко и полно. Однако и драматург прав, поскольку писателя всегда больше интересует человек, а не экономика, или же, скажем так: человек в экономике — то, что, бывает, чиновник, даже такой широты взгляда на вещи, как Машеров, не учитывает, упускает из виду. Играл свою роль в судьбе пьес Макаёнка и наш провинциализм, страх прогневить высшее союзное руководство. Все же Петр Миронович, во многом самостоятельный в пределах республики, был зависим, и мы об этом также должны помнить. В Москве очень охотно ставили пьесы Макаёнка, но москвичам просто: с интеллигенцией там власти заигрывали, ей, столичной, позволялось то, о чем мы лишь завистливо мечтали. Ужасно ведь не это: в конце концов, пьесы Макаёнка в Беларуси неизменно шли, и шли с большим успехом. Ужасно то, что их перестали ставить после смерти драматурга. И дело совсем не в политике, хотя доброжелательный к комедиографу Машеров трагически и таинственно погиб за два года до смерти Андрея Егоровича, и пришли другие руководители. Дело и не в творческих вопросах, а всего лишь в пристрастном отношении людей, от которых зависел репертуар белорусского театра, к личности Макаёнка. Вот когда ему припомнили его правдолюбие, непримиримость ко лжи, острый язык. Тридцать лет не ставить лучшего комедиографа не только Беларуси — всего Советского Союза! И это не преувеличенная оценка. Так говорили даже завистливые и язвительные москвичи. Пьесы Макаёнка — настоящая классика, которой стоило бы гордиться. Еще остался зритель, который в состоянии понять и настоящий драматизм макаёнковских не только трагикомедий, но и комедий, и их подводные течения, и второй, третий планы. Ведь персонажи пьес Макаёнка — одновременно и полноценные, живые образы, и аллегории. Хотя бы одна его пьеса должна идти раз в месяц в театре имени Янки Купалы — не только купаловском, но и макаёнковском, учитывая то, **что** он для славы театра сделал. Вместо этого — забвение.

Мало кто помнит сейчас о еще одной стороне деятельности знаменитого драматурга — о его работе на посту главного редактора журнала «Неман». Шамякин пишет на этот счет: «В 1967 году я уговорил Андрея на должность главного редактора «Немана». Редактор он был наилучший — смелый, независимый от литературных группировок, требовательный, свободный от вкусовщины. Но слабые рукописи его раздражали. Если я заставал его за чтением такой рукописи, он встречал меня горячими словами:

— Тебе не икалось в дороге? Я тут склонял тебя… Втянул ты меня в кабалу. Чем я занимаюсь, Иван? На что трачу дорогое время?

— Нужно же что-то делать для общественности?

— А комедии я пишу для кого? Что даст больше пользы? Пьеса моя или то, что я прочитаю вот этот роман, который граничит с графоманством? Даже если я помогу опубликовать его.

Редактором он пробыл тринадцать лет, но последние три года настойчиво просился освободить его. Руководство долго не соглашалось. В конце концов, я пожалел друга и тоже попросил за него А. Т. Кузьмина.

Кстати, я не уверен, что сделал он правильно, покинув редакцию. Не мог он все время писать. Много думал, но мысли его были невеселые: излишне много подбрасывали ему бытовых проблем, решение которых требовало не меньшей энергии, чем работа в редакции, а удовольствия не давало никакого, только раздражало».

Прокомментирую этот небольшой отрывок — то, чего Шамякин не написал. А не написал он о том, что Макаёнок смог поднять тираж журнала сразу в несколько раз — подписчики не только в Беларуси, во всем Союзе гонялись за

ним. Во-первых, здесь шел очень строгий отбор по эстетическим качествам произведений, во-вторых, Макаёнок не боялся печатать острые политические вещи, но в то же время не гнушался и крепко сделанной зарубежной беллетристики, типа Артура Хейли. Он умел видеть будущий успех того или иного произведения у публики. Уверена, что Макаёнок — с его исключительным аналитическим умом, энергией, напористостью — смог бы поднять любое дело, а не только журнал (пожалуй, это даже мелочь для такого зубра). Однако в конце концов он устал, остыл, замучила текучка, отношения с авторами, с чиновниками. К тому же по приведенной цитате видно и осуждение Шамякиным уклонений друга от участия в общественной работе, которая у отца занимала как раз очень много времени. Сейчас я думаю, что каждый человек, во всяком случае, тонко чувствующий человек, как-то нутром ощущает, сколько лет ему отпущено, и потому бережет или не бережет свое время. Шамякин более чем на двадцать лет пережил Макаёнка. Да, тому стоило ценить время и не растрачивать его по пустякам. Но я думаю, Шамякину и не требовалось функционирование приятеля в каких-то областях и общественных сферах, а беспокоило иное. Помню, при мне и отце Андрей Егорович однажды заявил: «Я никому ничего не должен: я воевал, отстоял страну — мне все должны». Отец тогда, как всегда, промолчал, не желая вступать в спор. Но, видимо, почувствовав, что я внутренне согласилась с Макаёнком, всячески впоследствии старался вытравить у меня это убеждение: неоднократно горячо доказывал, что таких счетов — кто кому больше должен — родина человеку или человек родине — не должно быть в принципе у совестливых людей. Так же и в любви — отдавать нужно, не считаясь, даже не думая об этом. И это были не только слова: я преклоняюсь перед отцом за его поведение во время тяжелой болезни мамы. Однако Макаёнок был человеком другого склада. При всем его патриотизме в нем жила обида на родное государство — та обида, которой мучились тогда очень многие, да мучаются и сейчас, не желая считаться ни с чем — ни с экономическими законами, ни с социальной справедливостью, ни с факторами геополитики, даже, как ни странно это звучит, с климатом. «Мне недодали! Мне!» Пьесы Макаёнка шли в Советском Союзе очень широко — почти в двухстах театрах; в течение целого десятилетия он получал самые большие гонорары в республике. Но тоже был недоволен: возможно, тем, что государство брало слишком большие налоги. При этом он часто говорил о несвободе, как, впрочем, и другие интеллигенты той эпохи. Я не стала бы приписывать им эгоизм и стяжательство: они в самом деле ощущали несвободу. Однако больше, чем советская власть, никакая другая власть людям искусства не дала. Подчеркиваю: людям искусства, а не деятелям попсы и телевизионной тусовки. Получали машины, квартиры, дачи. Но жила неудовлетворенность (не знали, бедненькие, что ждет их впереди!). Кстати, Шамякин до начала 90-х своей судьбой был доволен. Макаёнок — нет. По-видимому, речь здесь должна идти о внутренней свободе. Ее недостаток Макаёнок ощущал, но по закону аберрации переносил на внешние обстоятельства. В сущности, Андрей Егорович не случайно избрал стезю драматурга, то есть рода литературы, в основе которого лежит конфликт, противоречия. Он сам был противоречив по натуре, сложен до невероятности. Но также удивительно интересен.

Однако повторяю: отца волновал в друге все более укоренявшийся в нем эгоизм. В сущности, интеллигенция в СССР, в том числе в Беларуси, как раз и разделилась по этому признаку: гедонистический индивидуализм, который прикрывался высокими словами о свободе личности и гуманизме, и ощущение единства своей собственной судьбы с судьбой народной, неотделимого от нее императива жертвенности и долга. Разделение стало ощущаться очень рано — еще по запомнившимся мне разговорам в 60-е годы. Однако в начале 80-х Шамякин тяжко переживал перерождение, как ему казалось, Макаёнка, начавшийся переход того в другой, противоположный, идеологический лагерь. Правда, отец объяснял это семейными проблемами и, конечно же, всегдашней критичностью

взгляда Макаёнка на состояние бюрократии и в целом общества. А то, что все в государстве прогнило, мы тогда уже видели ясно. И все же сам Шамякин и в жуткие 90-е годы, и в начале двухтысячных оставался верен идеалам юности. Он потерял большую сумму денег, но принял со смирением — не он один, весь народ лишился накоплений, да и не до того папе было после действительно страшной утраты — смерти сына. Но в его повестях критический пафос против обывательщины, против народившейся буржуазии стал более мощным, чем против советской номенклатуры — бородков и гуканов — в ранних романах. Что же касается Макаёнка в последние годы жизни, то его душевное состояние, действительно, было очень тяжелым, но это обусловлено, как я сказала, многими обстоятельствами.

Известный белорусский литературовед Петр Васюченко в юбилейной статье в «ЛіМе» написал, что Макаёнок «любил создавать вокруг себя мифы. Не удивительно, что этим стали заниматься его коллеги, друзья». По-моему, очень неосторожное заявление. Васюченко не знал Макаёнка так, как знала его я. Мифы не сложились — возникли довольно-таки грязные сплетни, как обычно вокруг успешных и неординарных людей. Миф и сплетня — разные вещи. Макаёнок был удивительно органичным, цельным человеком и при этом личностью со многими «подкладками». Кроме того, Васюченко бросил тень на друзей драматурга. Однако более искренне, правдиво, чем Шамякин о Макаёнке, никто о своем друге не написал. В этом смысле «Тайна драмы» — произведение удивительное, уникальное, в должной мере критиками не оцененное. Другое дело, что отец очень многое в разговоре о друге опустил: ограничен был и рамками произведения, и законами жанра, и требованиями корректности. Разного рода условности, как художественные, так и этические, необходимо учитывать. Что же касается содержания повести — то все это было, было… Просто очень многие сегодня не желают знать, что в действительности было, — ведь речь о советском времени, стереотип восприятия которого уже сложился благодаря СМИ, и разбить его невероятно сложно. Вот и кажется мифом. На самом деле сочинили совсем другой миф — противоположный реальности.

Макаёнок и Шамякин — совершенно разные, яркие, неповторимые творческие индивидуальности. Их неповторимость особенно заметна на фоне одинаковых по взглядам, жизненным кредо, путям к успеху современных литераторов. Не менее ценен — для понимания уровня нравственного состояния общества, для целей воспитания населения — опыт человеческой, настоящей крепкой мужской дружбы двух таких своеобразных людей, как Макаёнок и Шамякин.



ПЕТРО ВАСЮЧЕНКО

Литература как демиургия

Предлагаю сумму размышлений о жизни и литературе, годами накапливаемую и обновляемую, рожденную поиском ответа на вопрос: что могло, может, сможет искусство слова в реальном бытии?

Литература — это Слово, прописываемое через Автора, и пусть проповедники постмодернизма похоронили Автора, им можно было ответить словами Янки Купалы: «Никогда я не умирал». И вот появляется «нарратор». Да хоть горшком назови, он есть, он стоит за каждым художественным текстом. Поиск смысла литературы я начинал с поиска автора.

Работа над книгой «Великие писатели XX века» (Москва, 2002) столкнула меня с необходимостью выделить типологический ряд авторов, претендующих на звание «великий».

Типология — это нахождение похожего, общего, но меня поразила как раз непохожесть творческих биографий великих авторов.

Неповторимость писательской личности проявляется уже на уровне избранных творческой манеры, стиля, метода. Один автор — последовательный традиционалист, приверженец доброго старого реализма (Д. Голсуорси), второй — экспериментатор-авангардист, изобретатель новых жанров и приемов (К. Симон), третий — мастер литературного синтеза, пытающийся совместить новацию и традицию (У. Фолкнер).

Одни прожили короткую и яркую, как вспышка молнии, жизнь (А. Блок, С. Есенин, В. Маяковский, Г. Аполлинер, Акутагава Рюноскэ, М. Богданович — в основном поэты), другие проявили жизненное и творческое долголетие; рекордсменом среди последних следует считать Б. Шоу, прожившего девяносто четыре года и сохранившего до конца жизни творческую форму.

Одни создавали романы и эпопеи (Д. Голсуорси, М. дю Гар, Т. Манн, М. Пруст, И. Мележ), другие — повести и новеллы (А. Чехов, О. Генри, Я. Брыль). Один оставлял после себя многотомные собрания сочинений (Л. Толстой), другой — единственную книжку стихов (М. Богданович).

Некие авторы, самоутвердились в сложнейшем жанре философской прозы — Т. Манн, Г. Гессе, Х. Л. Борхес, Ф. Дюрренматт. А иные прославились в так называемых легких литературных жанрах — фантастике, детективе, сказке (А. К. Дойл, А. Кристи, Г. Уэллс, А. Линдгрен, С. Лагерлёф, Р. Брэдбери). Величие мастера проявляется и в большом, и в малом.

Великий писатель представляется мне как носитель особого **знания**, накопление которого предшествует созданию шедевров. Как правило, это знание основывается на негативном жизненном опыте. Счастливчиков, баловней фортуны в литературе прошлого века значительно меньше, чем личностей с драматической, даже трагической судьбой. Многие писатели в молодости пережили ощущение «выбитости» из благополучной жизненной орбиты, а некоторых из них злой рок преследовал до глубокой старости.

Скитания в поисках заработка, жестокая борьба за существование, смена профессий, как правило, неинтеллектуальных и непрестижных, — всем этим

омрачена молодость таких разных писателей, как М. Твен, Д. Лондон, М. Горький, Янка Купала, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Ю. О'Нил и многих других. Иные изведали горечь политической опалы, изгнания, тюремного заключения (В. Маяковский, И. Бунин, Якуб Колас, А. Солженицын, М. Булгаков, Х. Л. Борхес, В. Шойинка, М. А. Астуриас).

Великие писатели редко бывали счастливы в семейной жизни, а многие из них были склонны менять спутниц жизни. В этом направлении рекордсменом является Г. Миллер, женившийся и разводившийся пять раз. Кое-кто (О. Уайльд, А. Жид) искали счастья в однополой любви. Не всегда были счастливы в семейной жизни и однолюбы типа Льва Толстого, пережившего свою семейную драму, — его отношения с Софьей Андреевной были более чем сложными.

Закат жизни великих писателей XX века не обязательно освещен всемирным признанием, славой и комфортом. К Ф. Кафке, «отцу» литературного модернизма, мировая известность пришла после смерти. Некоторые из выдающихся мастеров литературы (например, Л. Андреев) провели старость в бедности, забытые читательским миром.

Опыт перемены профессий, жизненного уклада, взглядов, мировоззрения можно считать устойчивой и характерной чертой литературного классика XX века.

Писатель новейшего времени не брезгует грязью бытия, наоборот, он часто делает из этой грязи литературу. Произведения ряда авторов — М. Горького, Э. Золя, Ж.-П. Сартра, Г. Миллера, отчасти даже Л. Толстого и С. Есенина способны шокировать своей брутальностью или чрезмерной откровенностью.

Когда-то я попытался вывести формулу искусства XX века, которую приведу и сейчас: «Искусство XX века можно сравнить с цветами, которые пробиваются через асфальт, мусор, черепки, камни и грязь; они цветут на пустырях и свалках, но это все же цветы».

Важнейший источник писательского **знания** — образование, сведения, почерпнутые из чтения. Великий писатель XX века — не только мастер пера, но и интеллектуал. Быть интеллектуалом — не значит отдавать все свободное время чтению Канта или Спинозы. Можно иметь ступень доктора философии, а можно — и два класса начальной школы (как Янка Купала) — и быть при этом интеллектуалом. Страсть к чтению, бессистемному, как читали М. Горький или Купала (в этой бессистемности скрывается своя логика) или системному (так читал М. Богданович) способна компенсировать изъяны образования.

Конечно, интеллектуализм был свойственен и писателям далеких эпох. Это справедливо. Но художнику XX века присуща особая форма знания, связанная с пресыщенностью чтением, ощущением кризиса, исчерпанности средств и возможностей литературы. «Все уже написано», — краткая формула этого ощущения. Вспомним высказывание Х. Л. Борхеса из эссе «Четыре цикла»: «Историй всего четыре. И сколько бы времени нам ни осталось, мы будем пересказывать их — в том или ином виде».

Это чувство заставляет писателя XX века суммировать в своем творчестве предшествующий интеллектуальный опыт цивилизации, карабкаться на вершину собственного знания, как литературного Сизифа. «Писатель-библиотека» (Х. Л. Борхес), «писатель-энциклопедия» (Д. Джойс), «писатель-словарь» (М. Павич), «писатель-архив» (А. Солженицын) — характерные писательские типажи новейшего времени.

Писателями создавались новые философии (экзистенциализм А. Камю, Ж.-П. Сартра, В. Быкова, абсурдизм С. Беккета, Э. Ионеско, витализм Б. Шоу и белорусских писателей-«узвышэнцаў»). Опрокидывались былые умственные построения, шло состязание с классиками прежних эпох — Шекспиром, Пушкиным, Купалой (чем занимались, соответственно, Л. Толстой, Б. Шоу, В. Маяковский, С. Есенин, наши «маладнякоўцы»). И этот опыт отрицания имеет положительный интеллектуальный заряд.

Через призму пережитого, прочитанного и переосмысленного писатель всматривается в свое время. Мы привыкли к мысли, что писатель «отражает» мир. Но Великий писатель не только отражает, но и пересоздает действительность. Гениальным можно считать того художника, который преодолевает свою эпоху, пересоздавая ее. Рабле, Шекспир, Сервантес, Гёте, Достоевский, Л. Толстой — все они противостояли своему времени и пространству, в котором находились. Жизнь и творчество нашего Янки Купалы также могут служить примером противостояния и преодоления агрессии двадцатого века.

Демиургия — в этом плане является синонимом литературы. Термин «демиургия», «демиурговость», кстати, активно использовался Андреем Белым, позже — теоретиками литературного объединения

Писатель-демиург творит свой собственный мир, с автономной системой координат, с уникальными временем и пространством.

Художественный хронотоп сохраняет свою тождественность миру реальному. Это доказывают, к примеру, эксперименты У. Фолкнера, который сотворение своей Йокнапатофы начинал с карты, изображенной на стенке печи, а также с реестра придуманных жителей округа. С карты начинают разворачиваться миры Д. Толкиена и его последователей в жанре фэнтези.

Примером имитации реального времени могут служить фиктивные хроники и летописи, в частности, «Комаровская хроника» М. Горецкого.

Но совершенно ясно, что литературное время и пространство не изоморфны по отношению к реальному времени и пространству, в силу своей вербализации.

Среди прочих видов художественного творчества литература наиболее способна к созданию альтернативной реальности. Почему именно она? Потому что живопись, скульптура, архитектура, музыка, театр для создания образов берут природный материал — камень, краски, звук, движение. Мимезис в литературе усложнен, опосредован, потому что материал литературы — слово, реализованное в тексте.

Писатель-демиург поэтому имеет большую степень свободы, когда выстраивает четыре координаты сотворенного им хронотопа. И тут обнаруживаются уже разработанные литературой приемы организации пространства и времени, которые уже не являются профессиональной тайной.

Организация пространства — это, как правило, ее сужение, ограничение. Невербализованный макро- и микромир с его миллиардными галактиками, спиралевидными туманностями, черными дырами, интимной жизнью элементарных частиц и кварков с трудом представляется даже мастерами научной фантастики. Литература учит компактным, доступным для человеческого разума формам пространственных представлений.

В литературе сложились привычные топосы, главные из которых не так трудно и перечислить.

Страна. В литературе это более чем государство, это дом, в котором существует народ, нация. Этот топос особенно актуален для тех литератур, где поиск своего исторического Дома становился самоцелью. В том числе и для белорусской. Белорусоцентризм особенно выявился в творчестве В. Короткевича, который утверждал, что «На Беларусі Бог жыве», и у которого белорусоцентричными получились изображения рая и преисподней.

Регион, край. От регионального к национальному, через национальное к универсальному. Такова закономерность развития великого литературного произведения, до сих пор не опровергнутая практикой. Так, У. Фолкнер постигал судьбу американской цивилизации, показывая жизнь одного округа в штатах Юга. М. Салтыков-Щедрин смог поместить космос России в пределы одной губернии («История города Глупова»). И. Мележ, показывая жизнь «людей на болоте», изобразил не только Полесье, но и всю Беларусь, ее историческую драму, разыгранную во вселенском контексте.

Город. Лондон Ч. Диккенса, Париж Ф. Рабле, О. де Бальзака, В. Гюго, Э. Золя, Петербург Н. Гоголя и Ф. Достоевского, Вильня М. Богдановича и В. Жилки,

Полоцк В. Ластовского, Дублин Д. Джойса, Прага Ф. Кафки. Литераторы не просто воссоздавали жизнь городов, а творили их дубли, в романтической, импрессионистической, модернистской манере. В этом легко убедиться, если сравнить реальную и литературную жизнь городов.

Деревня. Этот топос характерен для белорусской литературы, которая, конечно же, не была полностью деревенской, но вдохновлялась жизнью человека в соседстве и гармонии с природой, работой на земле, устроенным бытом, естественными отношениями между людьми. Деревне посвящались хроники («Комаровская хроника» М. Горецкого, «Полесская хроника» И. Мележа), романы («Деревня» А. Федаренко).

Дом. Великий Франциск Скорина соединил понятия *дома* и *Родины* в предисловии к книге Библии «Юдифь». Эту параллель использовал Я. Брыль в романе «Птицы и гнезда». Образ Дома, воссозданный в литературе, существовал в двух ипостасях: *хата* (поэтическая книга «Дудка белорусская» Франтишка Богушевича, поэма «Яна и я» Янки Купалы, поэмы «Новая земля» и «Рыбакова хата» Якуба Коласа) и *маёнтка* (поэма «Пан Тадеуш» А. Мицкевича, роман «Над Нёманом» Э. Ожешко), что указывает не только на симбиоз белорусско- и польскоязычной традиции в пределах белорусской словесности, но и на единство демократической и аристократической культур, вертикали и горизонтали. Литературный белорус двадцатого века долго не мог освоиться в городской *квартире* (Микита Зносак, герой трагикомедии Янки Купалы «Здешние») и обрел достаточный комфорт в ней в романах И. Шамякина. В целом вектор белорусской литературы можно определить как поиск своего, Белорусского Дома.

Литературное **время**, как мне думается, в большей степени подчинено автору-демиургу, чем пространство, поскольку более субъективно.

Писатель, как властелин времени, может его ускорять или замедлять.

Скорость времени в произведении зависит от количества событий на единицу текста, что можно выразить довольно простой формулой: V = N1 : N2, где

V — скоростоь протекания литературного времени;

N1 — количество передаваемых автором событий;

N2 — количество условных единиц текста (например, страниц).

Стремительно бежит время в детективе, триллере, приключенческом романе. И, наоборт, чрезвычайно и умышленно затянуто в повести А. Чехова «Степь», где везут да везут малого Егорушку учиться в город, а вокруг телеги неспешно проплывает равнинный пейзаж.

Время может быть размеренным и аритмичным. Упорядоченна и мерна поступь эпического времени (Л. Толстой, И. Мележ). Мир Ф. Достоевского лихорадит: временное затишье в любой момент готово смениться обвалом событий.

Возвращаясь к определенной точке отсчета, литературное время образует замкнутый круг, цикл. Воссозданный в тексте годовой цикл породил летопись, хронику, роман-год, поэму-год. Примером романа-года могут служить «Мужики» В. Реймонта. «Извечная песня» Янки Купалы и «Новая земля» Якуба Коласа — примеры поэмы-года.

В XX веке Д. Джойс придумал роман-день, растянутый почти на тысячу страниц, — «Улисс». А. Солженицын создал «Один день Ивана Денисовича».

Сказка — это жанр, в котором время застыло навеки. Курочка Ряба (птица-демиург) несет свое яйцо (сначала золотое, потом простое) всегда.

Легендарное время — это очень и очень давно. Это время Ильи Муромца, Добрыни Никитича и Волха Всеславьевича (былинного двойника нашего Всеслава Чародея). Время, когда происходят события баллад А. Мицкевича «Свитязь», «Свитязянка», «Рыбка». Когда любил, страдал от ревности и сеял муки вокруг себя легендарный разбойник Машека из поэмы Янки Купалы «Могила льва». Историческое время отличается от легендарного своей документальностью, приверженностью к точным датам.

XX — XXI века — эпоха экспериментов с художественным временем. К примеру, Г. Ибсен изобрел аналитическую композицию и опробовал ее в драме «Привидения». Это когда время движется вспять, а автор исследует истоки ключевого события — скажем, ищет причины душевной болезни художника Освальда Алвинга.

Ни авангардизм, ни научная фантастика не обходятся без путешествий во времени, хотя этот мотив древнее самой литературы. Его легко обнаружить в арабских преданиях, ирландских сагах, славянских сказках.

Перемещаясь во времени, видоизменяется весь хронотоп, созданный автором, окончательно отрывается от действительности. Герой совершает мистическое путешествие. Пер Гюнт из одноименной драмы Г. Ибсена, Сам из драматической поэмы Янки Купалы «Сон на кургане».

Наиболее архаичная версия мистического путешествия — странствие в преисподнюю. Гильгамеш, герой самого древнего произведения мировой литературы, отправляется в ад, чтобы встретиться с покойным своим другом, лесным человеком Энкиду.

Древнегреческий Аид посещали Орфей, Геракл, Одиссей. Вслед за Данте чистилище посетил Матей Бурачок, придуманный Ф. Богушевичем.

Но самый поразительный и загадочный эффект происходит тогда, когда альтернативный художественный мир взаимодействует, сталкивается с миром реальным. Вопреки укоренившейся в филологии убежденности в том, что литература происходит из жизни, есть иное мнение. Напомню высказывание О. Уайльда о том, что «не литература подражает жизни, а жизнь подражает литературе», и А. Адамовича о том, что «жизнь начиталась Достоевского».

Евангелие от Иоанна говорит о том, что сначала было Слово. Мир, согласно Корану, был начертан каламом — священным пером, из-под которого появился текст, в котором была прописана судьба человечества от первых дней до последних. Парадигма человеческого поведения, сумма отношений человека к добру и злу в скрижалях Моисея, написанных на Синайской горе. Все, что есть, уже было, все давно записано, и великое знание этого всего порождает скорбь, считал Екклесиаст.

Л. Андреев вообразил Книгу, в которой записаны судьбы всех смертных и которую листает Некто в сером. Якуб Колас, проникая в земную экзистенцию в «Сказках жизни», представляет себе Книгу жизни, в которой записаны и объяснены все загадки хтонического бытия.

Слово — первотолчок к упорядочиванию заотической Вселенной.

Текст — попытка гармонизировать вербальную и невербальную части мира.

Первослово материализовалось в текстах, которые определяли ход цивилизации. Легко назвать суперкниги, которые определили судьбу человечества: Библия, Коран, Упанишады, Ригведа, Авеста.

Книги опрокидывали судьбы континентов, народов, поворачивали движение общества в позитивное или негативное русло, наполняли массовое сознание, программировали будущие глобальные или локальные перемены: «Молот ведьм», «Капитал», «Архипелаг ГУЛАГ», «Дудка белорусская» с ее программным «Предисловием».

Книг боялись больше, чем чумы, войны или ядерной бомбы. Книгофобией заражены были не только инквизиторы. В Беларуси в XVIII веке сожжен был «Тренос» Мелетия Смотрицкого, эта неповторимая апология православия, наделенная колоссальной суггестивной силой. Книги белорусских «нацдемов», классиков и современников изымались из библиотек и уничтожались в 1930-е годы. По приказу Геббельса в Германии устраивали костры из книг Маркса, Фейхтвангера, Томаса Манна и прочих.

Цивилизация сжигала себя на костре из книг и, восстанавливалась, возрождалась в слове и тексте.

Англичане овладели миром и создали свою цивилизацию не при помощи оружия, а благодаря языку и литературе. Не было бы Шекспира и Байрона — не

было бы и Британской империи, в которой солнце не заходило, не было бы и цивилизации англосаксонского типа.

Воздействие слова, текста, литературы на жизнь происходит через систему универсальных взаимосвязей, пока еще почти не изученную. Невидимые нити соединяют слово, текст, космос, звездные туманности, кварки, душу, тело, растения, животных, предметы, минералы, разум, науку, веру, цвета, свет, музыку и т. д.

Литература пересоздает мир, но не посредством воспитания или иным способом общественного воздействия. Это своего рода магия, почти не изученная литературоведением.

Можно лишь смутно догадываться о существовании некоего Канала, по которому вещество литературы перетекает в жизнь. Получается круговорот жизни и литературы.

Воздействие литературы на события человеческой жизни подкреплялось наивной, но до сего времени существующей верой в то, что все начертанное на пергаменте или вышедшее из-под печатного станка — сущая правда. Так, наши предки, жившие в XII веке, верили в реальность сирены, кентавра, единорога, потому, что они были описаны в средневековой энциклопедии «Физиолог».

Сама же эта вера укреплялась многовековыми наблюдениями за книгами и жизнью, подтверждающими ту простую истину, что литературные прогнозы сбываются.

Наиболее часто сбывались научно-фантастические гипотезы, в силу техногенного характера нашей цивилизации, достижения которой нетрудно вычислить. Ж. Верн предсказал изобретение подводной лодки, полет на Луну. Г. Уэллс предвидел появление синтетической еды, ядерного оружия. К. Чапек придумал роботов и продление жизни. Янка Купала предсказывал глобализацию. Ф. Кафка предвидел концлагеря и изощренные пытки. Г. Гессе прогнозировал компьютерные игры. Джордж Оруэлл предсказывал тоталитаризм в его современных формах.

Эти предсказания должны были сбыться потому, что они были не только прогнозами, но и проектами.

В драме «Назад, к Мафусаилу» Б. Шоу мечтал о долголетии будущих жителей Земли. Он считал, что человечество безрассудно по той причине, что люди мало живут и не успевают набраться мудрости. Вот если бы пятьсот лет ошибаться, а потом столько же жить без ошибок!.. Автор и сам пытался жить согласно этому проекту и во многом преуспел, дожив в добром здравии до 94 лет.

Его свершение повторил Кондрат Крапива, написавший фантастическую комедию «Врата бессмертия», герой которой, профессор Добриян, открывает секрет вечной жизни. Кондрат Кондратович тоже прожил без малого сто лет.

Демиурговость как проявление писательского гения может, таким образом, выступать против самого автора. Так случилось с М. Богдановичем. Он так часто подчеркивал болезненность, слабость, приближение смерти у своего лирического героя, что навлек беду на самого себя и укоротил отведенный ему жизненный срок.

В. Ластовский, создавая повесть «Лабиринты», каким-то образом уподобился ее главному герою, Подземному Человеку, и сам исчез навсегда в лабиринтах созданного им мистического мира.

Как чувствует себя писатель-демиург в XXI веке, когда фундаментальные функции литературы (воспитательная, познавательная, дидактическая, эстетическая) почти не выполняются, а культурологи предвещают «близкую смерть» литературы в эпоху глобализации, коммерциализации, виртуализации?

Искусство как будто деградирует.

Но одна из недопроявленных ранее функций искусства сохраняется. Это — функция пересоздания, культурного освоения Вселенной, претворение и оформление аморфной материи.

Возможности искусства в этой сфере неисчерпаемы. Весь человеческий мир по-прежнему остается мало затронутым истинным искусством. Хотя уже были Микеланджело и Шекспир.

Создание эстетической, а не техногенной сферы существования, исправление первородного греха цивилизации, гармонизация отношенний человека и природы — миссия искусства XXI века.

Задача литературы — олитературивание мира.

Сегодняшняя Беларусь творилась по матрицам, созданным Ф. Богушевичем и писателями-демиургами из числа «нашенивцев».

В свое время В. Короткевич стал классиком неоромантизма и пересоздателем Беларуси в абсолютно не пригодных для того обстоятельствах.

Писатель добился для нашей литературы того, что В. Скотт для английской, А. Дюма для французской, Г. Сенкевич для польской: он беллетризовал и романтизировал белорусскую историю.

Автор «Ока тайфуна» стремился проникнуть туда, куда никто до него не заглядывал, добраться до самой неизведанной глуби. Так, в свое время американский романтик Э. По вместе со своим героем добрался до дна Мальстрема и вынырнул на оборотной стороне планеты, в стране антиподов.

Усовершенствовать Беларусь возможно было бы и через литературу XXI века.

Олитературивание мира возможно при одном условии — пора обратиться к обнадеживающим прогнозам.

Главные антиутопии в нашей литературе были уже созданы в прошлом столетии. В этом жанре писали Янка Купала, А. Мрый, В. Быков, А. Адамович, В. Гигевич, О. Минкин, А. Федаренко.

Вывод: XXI век — время реабилитации утопий.

Прогнозируемый хороший финал не должен служить поводом для самоуспокоения. Человечество просто должно понять, что не все потеряно, и найти путь к гармонии. Скажем, к гармонии человека с природой.

Роман о человеке XXI века — это история Ноя, который почувствовал, что его ковчег — это вся Земля, с видовым разнообразием ее флоры и фауны, и каждый вид должен быть сохранен.

Стоит прогнозировать хорошее, а не каркать, и оно состоится.

Прошло столетие, в котором искусство можно было сравнивать с цветами, что прорастают сквозь асфальт, мусор, черепки, осколки и грязь, когда они цвели на пустырях и свалках, оставаясь цветами.

Новое столетие — эпоха борьбы со свалками.

В искусстве XXI века цветы должны быть цветами и расти не только на пустырях.

Литература XXI века должна сбросить лохмотья, в которые рядилась в прошлую эпоху.

Главный мотив романов XX века — расчеловечивание человека цивилизованного, его одичание.

В нашем веке природе человека противопоставлена техногенная сфера, созданная им же самим. Техника развивается по законам, чуждым органической жизни, имитируя формы последней. Неорганика, грубо говоря, поглощает органический мир.

Судьба человека в XXI веке зависит от его способности к творчеству как единственному способу отстоять позиции живого мира.

Говорят про смерть литературы в условиях глобализации.

Глобализация смешивает в кашу народы, этносы, менталитеты, конфессии. Если что и может не поддаться процессу тотального слияния, так это язык. Язык — примета принадлежности его носителя к роду, семье. Не зря одна из классификационных категорий языков — семья. В глобализованном пространстве сохранятся лишь те народы, которые сберегутся как семьи, со своими языками. И литературами на этих языках.

Говорят про неспособность серьезной литературы соперничать с массовой культурой.

А что такое масскульт?

В киноужасах, где акулы, крокодилы, пауки, тараканы, муравьи, пираньи и различные монстры терзают человеческие тела, сублимируется вина людей перед искалеченной природой, перед братьями нашими меньшими, чьи тела не жалеем мы.

В массовой культуре оживает первобытный страх, боязнь «леса» как воплощения живой природы, который проявился уже в первом произведении мировой литературы.

Когда Гильгамеш, герой одноименного шумерского эпоса, входит в кедровый лес, где живет чудовище Хумбаба, его охватывает первобытный страх: «А кто входит в этот лес, того ужас объемлет» («Эпос про Гильгамеша»).

Не бойтесь масскульта, он сам всего боится.

Говорят, что серьезная литература не выживет в эпоху коммерциализации.

А она сама способна поддерживать бизнес.

Взять, к примеру, культ Ф. Кафки в Чехии. Прага живет Кафкой, его литературной славой, хоть далеко не каждый пражанин его читал. Для Праги Кафка еще и коммерческий брэнд, часть турбизнеса.

Белорусское общество в достаточной степени олитературено. Персонажи книг идут в народ, населяют деревню и город, являют себя в виде скульптурной группы на площади Якуба Коласа.

Чем бы это могло обернуться для бизнеса?

Кафе «Дзікае паляванне караля Стаха» в Минске, где будут подаваться блюда, перечисленные в знаменитом описании банкета у Дуботовка. В шинке «Радзівіл пане Каханку» рекою льется крамбамбуля. В корчме «Тарас на Парнасе», что в Пинске, следовало бы готовить те кушанья и напитки, которыми тешили себя парнасские боги и полесовщик Тарас.

Говорят про неспособность литературы противостоять Сети или виртуальным искусствам.

Так ведь виртуальная реальность сама опирается на текст, на литературу. Потому что цивилизация наша принадлежит к вербальному типу, а есть ли иные во Вселенной — вопрос.

Вербальный мир имеет преимущество над виртуальным уже по причине своего почтенного возраста. По самым скромным подсчетам первые литературные произведения — «Тексты пирамид» и «Эпос про Гильгамеша» — были созданы 5000 лет тому назад.

По сравнению с текстами, написанными на папирусе или глиняных табличках, виртуальный текст вторичен. Он лишь обогащает опыт литературы.

Между вербальным и виртуальным текстом та разница, что виртуальный текст состоит из двух букв (есть ток/нет тока), а вербальный из тридцати двух и более.

Говорят про преимущество визуального искусства над вербальным.

Сравним, однако, литературный текст (вербальный образ) с его иллюстрацией.

Подумаем о величии образов древних мифов и поэм и их тусклых визуальных отражениях.

Греческие боги, богини и герои были таковыми в эпических поэмах и трагедиях, а на чернофигурных вазах они предстают забавными карликами.

Художественный текст, как правило, богаче его экранизации.

Видеокультура не более могущественна, чем литература.

В силу перечисленных причин можно утверждать, что смерть литературы в XXI веке откладывается.



Бабочка на ладони

Мне давно не давал покоя один этический вопрос: хорошо ли поступает поэт, печатая свои любовные стихи? Писать — пожалуйста, пиши сколько угодно, но для чего рассказывать всему миру о своих сугубо интимных чувствах? Ведь любовная лирика, как правило, узнаваема, что ни стихотворение, то конкретный адресат. А если объект поэтических восторгов и завуалирован, то душа нараспашку у воздыхателя, чаще всего мужа и отца. Один поэт признался мне: «Прячу от жены журнал со своей интимной лирикой. Подальше от скандала. Видит же — не она вдохновила. Злится, ревнует. Допрос учиняет». — «Так зачем ты тогда печатаешь? — спрашиваю. — Ведь и дети твои могут прочесть». — «Из тщеславия», — был откровенный ответ.

Известный факт: лишь у одного большого поэта не было конфликтов с близкими женщинами из-за любовных стихов, посвященных другим. У Твардовского. Он просто не писал стихов о любви. Совсем. Перечитайте собрание сочинений — ни одного не найдете. Это, конечно, не выход из положения. Но может быть такой, испытанный задолго до нас: написанный шедевр вручить в руки той, благодаря которой он появился на свет? Как Александр Сергеевич, осчастлививший таким образом Анну Петровну Керн. А из ее рук листок бумаги с гениальными строками нескоро попал в печать, и далеко не сразу узнала о нем суженая Пушкина. Но наш брат скорее голову отдаст на отсечение и разведется дважды-трижды, чем откажется порадовать соотечественников своими любовными подвигами. Если поэт по определению — средоточие благородства, ума и такта, — зачем же он поступает так, причиняя боль всем своим постоянным и переменным любимым: ведь каждая из них считает поэта королем своего сердца. Ну и пусть бы оставалась в этом приятном заблуждении. Жестокие сердца у нежных певцов красоты, ох жестокие!

И вот в издательстве «Литература и Искусство» выходит книга Раисы Боровиковой «Сад на шляпке возлюбленной: любовная лирика».

Я не спешил ее открывать. Думалось: что такое любовная лирика, как не письма? Письма себе и тому, кто всполошил твои чувства, разметал их, как ветер, ввел тебя в состояние сумасшествия, восторга, страдания, уязвления, гордости, уныния, душевного подъема… Боже, да невозможно даже назвать все состояния, в которые ввергает себя любовью человек! Или сказать точнее — влечением, ошеломлением от красоты, вспышкой… Почитаем письма Байрона, Пушкина, Бальзака, Фета, Тютчева и иже с ними великими к своим возлюбленным, и что мы увидим? Это почти стихи, полные страсти, муки и радости. Но они словно недоношенные дети. Одна из любимых женщин Гюго написала ему, что для нее он объединяет в себе «непосредственно формы красоты оперения и песни»! Так вот в любовных письмах больше оперения, чем песни. Никогда при жизни поэт не согласится, чтобы такие письма были опубликованы. Вот сейчас по Москве ходит том интимной переписки Чехова. О бесстыдной публикации своих тайн он и в страшном сне не мог подумать. Разве это не оскорбление памяти великого писателя?

Песня-стихи — это обдуманный, приведенный в порядок (даже если ему умышленно придана вдохновенная иллюзия чувственного хаоса) лад музыки, огня и мысли. Но такие стихи рождаются, когда выдыхается первоначальный хмель любовного напитка, сходит его солнечная пена, когда приходят крепость и спокойная глубина переживаемого или пережитого. И открывается как бы второй горизонт личностного: общечеловеческий. Это и есть совершенная любовная лирика. Я нахожу в ней уроки жизни, мудрость, проверяю себя и свои поступки мыслями и поведением поэта, рассказавшего мне о своем самом-самом сокровенном. Поэт печатает такие стихи, потому что, может быть, именно в них он выразил себя наиболее полно, честно, поднялся на вершину своего таланта. В них нет ничего придуманного, искусственного, созданного воображением. Все — жизнь, с ее правдой, ложью, добродетелью и пороком. Публикация таких стихов — подарок читателю. А жене или мужу поэта? Не знаю. Хочется пожелать им оставаться на высоте любви к своему избраннику. А у того, наверное, как в быту, так и в поэзии, должно быть некое золотое сечение дозволенного и недозволенного, обидного. Поэтический талант — это безукоризненное воплощение чистоты помыслов. За чистоту многое прощается. К таким рассуждениям, обратным тем, с которых начал, слава Богу, подвела меня книга Раисы Боровиковой «Сад на шляпке возлюбленной».

В ней есть одно стихотворение, которое национальная критика еще много лет назад отнесла к знаковым. Опубликовано оно в первой книге поэта «Рамонкавы бераг» в 1974 году. Вначале хочется привести его по-белорусски.

* * *

Няхай гавораць людзі ля кіёскаў,
Што я ў палоне песенных забаў,
Што нада мной вясёлкавай палоскай
Сусед-мастак нябёсы распісаў.

Сяброўкі абсталёўваюць кватэры,
Я п’ю ў лясах на досвітку расу
І незалежна, з выглядам гетэры,
Чыёсьці сэрца ў кошыку нясу!

Этому стихотворению приписывается роль первооткрывателя любовной лирики в современной белорусской литературе. Не берусь утверждать, для этого нужно было бы досконально изучить творчество других поэтесс. Сказать бы лучше не первооткрывателя, а продолжателя этого забытого поэтического жанра. По подсчетам Адама Мальдиса, сегодня известно около 150 любовных стихов-песен, относящихся к 17—18-му векам белорусской словесности. В них вовсе не чувствуется религиозного пуризма на любовь к женщине. Да и девушка, горячо полюбив, готова расстаться со своим «рутяным венком» до свадьбы. Но в застойные семидесятые годы прошлого века советско-партийный взгляд на нравственность был своего рода чадрой на лике интимной лирики. Открывать, мягко говоря, не рекомендовалось. Поэтому в русской литературе начала семидесятых поэтесс «з выглядам гетэры» тоже, кажется, не было, но традиция целомудренности в поэзии, в отличие от белорусской литературы, там была уже преодолена дерзкими усилиями Евтушенко и К°: «А ты шептала шепотом: // А что потом, а что потом?»

Вот и в стихотворении Боровиковой по-хорошему шокирует смелость; ты словно вдыхаешь воздух независимости, свободы, в том числе личной, которую автор более всего ценит в своей жизни. Так и видишь яркую молодую девушку, к которой липнут взгляды; высоко подняв голову, студентка литинститута стремительно вышагивает по московскому проспекту, а в сумочке у нее (ну пусть и в декоративной кошелочке) томится чье-то сердце. В русской версии переводчица И. Винарская превратила героиню Боровиковой в поэтессу, привыкшую собирать сердца (что ее не украшает), но и это не особенно мне мешает воспринимать ситуацию.

* * *

Пусть обсуждают люди у киосков,
что я в плену у песенных услад,
что надо мною радужной полоской
художник небо расписать был рад.

Наводят лоск друзья в своих квартирах,
я на рассвете пью в лесах росу.
Гетера с виду, звонкая, как лира,
в корзинке чье-то сердце вновь несу.

Это «вновь несу» делает героиню несколько похожей на девочек, которых в досточтимые некоторыми адептами прошлого строгие времена всегда можно было встретить возле гостиницы «Метрополь». Что до меня, то и я вижу девушку, фланирующую не в лесу, потому что вряд ли она будет там чувствовать себя гетерой, промокшая от росы, с полной кошелкой боровиков. А впрочем...

Что может одно стихотворение! И впрямь — не делает ли оно Раису Андреевну открывателем сомнительной темы в нашем отечестве? И как только нравственным обликом поэтессы не заинтересовались компетентные в этих вопросах органы. Просмотрели? И разве могли они молчать, если поведение людей порой несовместимо с моральным кодексом строителя коммунизма:

* * *

А оправданий-то рой! —
Занятость, мол, все работа...
Тайно звонишь мне. Не строй
Ты из себя идиота.

Хор над цветами поет,
Радуясь летнему раю...
Я и сама не твое
Имя во сне повторяю.

Пойми меня правильно, дорогой читатель, и автор этих строк (перевод стихотворения его же) вовсе не сторонник выписанных болезненных отношений. Но перед нами же не пошлый адюльтер, а живая драма! Оба персонажа мучаются нелепицей их интимной жизни. Один хочет скрасить разрыв, чтобы не обидеть, обстоятельствами. Другая, подавляя обиду, не выдерживая обмана и срываясь на оскорбления (отсюда этот «идиот»), выводит своего друга на чистую воду. И успокаивает себя, что не его имя повторяет во сне. Это неправда, не верю, что оскорбленная невниманием, ложью женщина может повторять во сне имя того, кого любила прежде, даже, может, и продолжает любить. Но он далеко, он отошел от нее, она свыклась с этим, у нее нет надежды на восстановление прежних отношений. Все мысли ее вокруг новой связи, но тот, которого она встретила, в сущности примитив. Это унижает, раздражает; чтобы спасти себя, она выдумывает память к ушедшему, не ставшему счастьем. И эта новая драма происходит на фоне замечательного благополучия в природе, оттеняющего пустоту, невзрачность происходящего. «Хор над цветами поет, // Радуясь летнему раю...». Так всего лишь в восьми строчках поэт рисует историю женщины, застигнутой бестолочью жизни.

Не раз и не два еще Раиса Боровикова возвращается в книге к похожим ситуациям. Она рисует образ женщины настолько многообразный и — буквально везде — настолько прекрасный в своем величии, в проявлении необыкновенных по красоте черт характера, что мужчину порою, как это ни парадоксально, подавляет. Ну вот, например:

* * *

За притихшими дворами
холодок улегся в лог...
Где ты видел, чтоб у драмы
был счастливый эпилог?

Все хочу остаться прежней, —
счастлив тот, кто страстью смел, —
и... стою с одной надеждой:
хоть бы ты солгать сумел.

Что мне синяя прохлада?
С кем я долю разделю?
Ты не прячь свой взгляд, не надо, —
и таким тебя люблю.

Перевод И. Котлярова.

Ну а если все-таки непоправимое случилось? Не смог солгать люби-

мый и, преданный уже другой страсти, нашел, что легче сказать тяжкую правду, — как в этом случае ведет себя героиня Раисы Боровиковой? Она умоляет? Падает перед милым на колени? Закатывает истерику? Решает строить козни? Как много знаем мы именно таких борцов за свое счастье! Нет, здесь все происходит иначе. И это потрясает:

* * *

Лишил всего, к чему стремилась в жизни.
Просил, чтобы послушною была.
И злая доля цыкала: «Смирись же!
Любимого другая отняла».

Но полыхают яркие закаты,
Река струится и цветут поля.
Зачем советуешь: «Плачь от утраты»,
Когда свободу заимела я...

Перевод В. Гришковца.

Да, свобода вытирает слезы, складывает утраты в чулан, который не хочется открывать, манит новью жизни. Героиня стихотворения еще не столь опытна, не так часто испытывала утраты, чтобы знать все это, и в ее словах «когда свободу заимела я» слышится вызов, брошенный скорее разумом, чем сердцем, он интуитивен, пока это защита от поражения, боль, и все-таки плач... Заметим — для усиления картины поэт использует любимый прием: на фоне драмы предстает безмятежный, оптимистический портрет жизни природы: «Но полыхают яркие закаты, // Река струится и цветут поля».

А до чего психологически правдоподобно выглядит у Боровиковой состояние девушки, давно подумывающей о замужестве. Однако кавалер, с которым она встречается, либо не делает ей предложения, либо, будучи не уверенным в себе, лишь намекает на возможный брак. Девушка не знает, как относиться к затянувшейся неопределенности. Она то злится на своего друга, то в душе прощает его несмелость. Изяслав Котляров тонко передал нюансы оригинала, смену настроений героини, строй ее мыслей.

* * *

Приглашать передумала в гости.
И как только дошли до угла,
распрощались, и, может, со злости
обнадежить ничем не могла.

А по городу — мало ли вздора! —
в дом из дома с той ночи плывет,
будто он непредвиденно скоро
перед Богом своей назовет.

Я же слух свой ничем не неволю,
пусть судачат, — живу не для них, —
и смеюсь над занудной молвою,
и зачем-то стелю на двоих.

Открывая книгу со столь метафорическим названием «Сад на шляпке возлюбленной», я ожидал подтверждения традиции, согласно которой любовная лирика изобилует цветистой декоративностью, контрастностью, парадоксальностью, усложненностью ритмики и строфики, изощренностью риторических фигур. Так, изъясняясь в любви, писали наши предки (достаточно почитать те самые 150 любовных стихов-песен). Боровикова из всего этого набора взяла два приема — контрастность и парадоксальность. Простота ее стилистики ничуть не мешает ей создавать сложные психологические этюды, воздействуя на ум и сердце читателя. Ее метафора чаще всего сквозная. Чтобы проникнуться стихотворением, надо обязательно его дочитать до конца. Такова манера письма. Назову ее классической. И не могу не заметить некоторым критикам, которые не понимают, что такое сквозная метафора. Которые ищут троп, сравнение, ассоциацию уже в первой строфе, полагая, что отсутствие оных — слабость. В коротких стихах, особенно в восьмистишиях, первая строфа часто играет роль проводника, мостика, тропинки, выводящей на опушку; ворот перед домом, передней комнаты перед входом в главную... «Он говорит: // «Ничем я не обязан // Ни современникам, ни старым мастерам, // Я ни с какими школами не связан — // Учиться у кого-то стыд и срам!» // Все это можно изложить и так: // «Никто

не виноват, что я дурак...» («Самородкам», Гете, перевод Б. Заходера). Что мы видим в первой строфе? Ничего, кроме проходных вещей. Скучное изложение позиции недалекого человека. Но все преображают последние две строки. Это поэтическое сальто. Ради него делалась разбежка. У классиков таких примеров сотни.

Парадоксальность («и гений, парадоксов друг») — счастливое свойство лучших стихов Раисы Боровиковой. Не могу не привести в доказательство такое стихотворение (почти все они у нее без названия, под лирическим трехточием):

* * *

И в груди замирает дыханье,
и в устах — мой экспромтный куплет, —
мне назначил сегодня свиданье
самый лучший российский поэт.

Я свидание с ним отменяю, —
может статься, себе на беду, —
торопливо шаги отмеряю:
не пойду, не пойду, не пойду!

Мрачный куст приласкала рукою,
возвратилась, вазон полила...
Сам поэт объяснит мне строкою,
почему я к нему не пришла.

Перевод И. Котлярова.

В книге больше 60 стихотворений. И столько же, не повторяющихся, сцен, сыгранных Женщиной на подмостках жизни. Театр точных, неожиданных психологических положений. За некоторыми — жест, слепок мгновения, улыбка, удивление, шарж... А из всего складывается судьба. Не только автора, но и, наверное, каждой женщины, открывшей книгу. Она увидит в ней свое отражение.

И последнее, о чем нельзя не сказать. Поначалу сад Раисы Боровиковой разместился не на одной шляпке возлюбленной, а на очень многих: он рос на страницах различных белорусских книг и журналов. Лучшие его культуры собрали и взрастили на русской языковой почве поэты-переводчики Раиса Романова, Григорий Куренев, Инга Винарская, Петр Кошель (Изяслав Котляров, Валерий Гришковец и автор этих строк уже упоминались). А скроила новую шляпку с широкими полями замечательный художник Вера Ягодвик. Поля получились похожими на крылышки суперобложки, легкой, как бабочка, о которой у Раисы Боровиковой есть чудесные строки: «Уже не сладко, и не горько — // ни сожалений, ни тоски... // Как у девчонки, что с пригорка // Летит, как бабочка с руки». Только бабочка-книга летит прямо в руки читателю и, хочется верить, надолго задержится в его сердце.

Юрий САПОЖКОВ



В стороне близкой, бобруйской

Прежде чем взяться за анализ с удовольствием прочитанного мною нового исторического романа Натальи Голубевой «На перепутье двух дорог», я, как это бывает почти всегда, да в чем, пожалуй, готов признаться едва ли не каждый рецензент, долго раздумывал, а с чего бы начать свой разговор об этой книге, какой исходный пункт взять. Как вдруг подумалось: а что если, полистав ее, остановиться на отрывке, который тебя «зацепит», а потом, уже как бы отталкиваясь от него, попытаться рассмотреть роман в целом, выяснить те главные мотивы, которые двигали автором при осмыслении далеко не простого периода нашей истории. Конечно, непростого, прежде всего применительно к территории, которая еще каких-то двадцать лет до событий, заинтересовавших писательницу, входила в состав Речи Посполитой.

Итак, сказано — сделано. Открываю книгу примерно посредине, пробегаю по строкам и… По-моему, лучше не придумаешь:

«Зима, лето, осень», — произносила Лиз в такт каждого шага. Год, два вечность. Наверное, и вправду прошла целая вечность. Был Михаил — была одна жизнь, — рассуждала Лиз, медленно переходя от одной аллеи окутанного полумраком парка к другой. — Но он исчез. Ее заставили забыть. Она это сделала, хотя могла поступить иначе. Могла, но не поступила.

Лиз словно обдало холодом. Теперь она задавала себе один и тот же вопрос: «Почему все так произошло? И кто я после всего случившегося: послушная пешка, которая позволила переставлять себя так, как кому-то было удобно в непонятной для меня игре? А может, мной двигал расчет, и я не могла рисковать своим положением? А какое у меня положение?» И тут же появлялся следующий вопрос: «Положение, зависящее от положения того, кто обратит на тебя внимание?» Но в рассуждения, такие рациональные, все время врывались какие-то тревожные импульсы. Они нарастали, постепенно переходя в щемящую боль. «Поймут ли меня, если я все-таки приму это решение? Поймут ли мое состояние, когда сердце и душа испытывают одни чувства, стремятся к другой душе, а разум заставляет поступать иначе? А Серж? — словно опомнившись, Лиз теперь думала о нем».

Удивительно, но приведенный отрывок можно считать как бы ключом, открывающим дверь в мир чувств героев произведения, ибо Лиз, она же Елизавета Петровна Блохина, не просто одна из главных героинь этого романа. Вокруг нее, как, впрочем, и вокруг некоторых других женских персонажей, разворачивается та часть действия, которая касается чувств, взаимоотношений героев. А уже через жизнь личную в определенной степени раскрывается и жизнь общества на переломном историческом моменте, когда многие и в самом деле очутились «на перекрестке двух дорог».

Наталья Голубева, сосредотачивая в своем романе внимание на строительстве Бобруйской крепости, ставшей, как известно, первым стратегическим сооружением, появившимся перед Отечественной войной 1812 года у западных границ Российской империи, исторически точно и правдиво отображает как атмосферу, царившую при возведении этого важного

военного объекта, так и настроение в обществе — от высших эшелонов власти до самой, что называется, глубинки. Она же, эта глубинка, находилась в растерянности, поскольку многие жители бывшей Речи Посполитой оказались перед выбором, как повести себя в непростой ситуации, когда столкнулись интересы России и Франции.

Не было уже не только Речи Посполитой. Исчезла прежняя уверенность в завтрашнем дне. Поэтому местная шляхта и находилась на своеобразном распутье: «…панство по-прежнему горячо обсуждало, как изменился Бобруйск, после того как стал поветовым городом, войдя в состав вновь образованной Минской губернии. Их не устраивало, что его жителям досталось мало льгот, когда они, как и во всей России, стали мещанами. […] Ругали […] установленный городской магистрат, поветовый дворянский суд и нижний земский суд, но больше всего доставалось поветовому маршалку шляхты, который тоже находился в городе».

Недовольных было немало и в других местах. Но, конечно, на первый план выходила иная проблема: отношение к Наполеону. Было немало желающих поддержать его. Находились и те, кто собирался выступить с оружием в руках. Дело понятное, когда находишься «на перепутье двух дорог». Обо всем этом и говорится обстоятельно в романе. Н. Голубева не обходит своим вниманием острые общественные моменты, развернуто показывает расстановку политических сил на территории бывшей Речи Посполитой.

Но поскольку писательница является приверженцем традиционного, классического романа, что уже видно буквально с первых страниц его, она вводит в повествование любовную линию. Правильнее, любовные линии, притом, некоторые из них пересекаются. Происходит как бы своего рода испытание на любовь, и через это испытание должна пройти и та же Лиз. Как и Мишель… Михаил Вержбовский, инженер, строитель. Он из тех, у кого талант от Бога. Но Вержбовский, которого с гордостью называли Изобретателем, оказался своего рода разменной монетой, а поэтому в результате интриг очутился в одной из арестантских рот, занятых на строительстве Брестской крепости.

Все эти персонажи, как и многие другие, — вымышленные, они плод творческой фантазии Н. Голубевой. Однако, как это всегда бывает в талантливом историко-художественном произведении, они настолько правдивы, психологически выверены, что не только не выбиваются из самого документального контекста, но настолько хорошо вписываются в него, что их начинаешь воспринимать как реально существовавших людей.

В частности, тот же Вержбовский в чем-то сродни Теодору Нарбуту, который, как известно, являлся инженером-фортификатором, был одним из проектантов Бобруйской крепости и о котором также упоминается на страницах романа. Пусть себе и эпизодически. Большое внимание Н. Голубева уделяет таким историческим личностям, как российский император Александр I, военный министр Барклай-де-Толли, а также представители белорусско-польской шляхты Михал Клеофас Огинский, Александр Сапега и другие.

В интервью «Каб склаўся пасьянс гісторыі», данном газете «Культура» (2010, № 22, 29 мая — 4 чэрвеня), автор романа «На перепутье двух дорог» признавалась, что она «на падставе вывучэння архіўных матэрыялаў пасяджэнняў ваенных саветаў, іншых дакументаў імкнулася перадаць не толькі агульны настрой таго часу, але ж і манеры, узаемаадносіны, мову. Мне хацелася, каб фігуры мінулых стагоддзяў гаварылі сваімі словамі, каб захаваўся дух той эпохі. Пісьменнік наогул павінен памятаць, што нясе адказнасць за сфарміраванае ўяўленне аб гістарычнай асобе, падзеі. У любым выпадку, ад таго, як чытач успрыме твор, складваецца і яго-нае ўяўленне пра нашу мінуўшыну».

Все это не осталось только благими намерениями. В романе очень хорошо чувствуется дух эпохи. Это проявляется во всем: в разговорах персонажей, в их быте, одежде, во всем том, что имеет отношение к повседневной жизни. Иногда соз-

дается впечатление, что Н. Голубева старается не пропустить даже мелочь. Хотя для кого-кого, а для нее, историка по образованию, таких мелочей нет и быть не может. Ибо сама жизнь как раз и соткана из так называемых мелочей, а уже из них и создается целостная картина того, как жили наши предки. Как жили они и, повторюсь, как любили.

Чисты, возвышенны взаимоотношения Мишеля и простой еврейской девушки Миры. К слову сказать, Н. Голубева очень правдиво передала быт, жизнь евреев тогдашнего Бобруйска. Колоритным получился, в частности, образ отца Миры, владельца корчмы Шмерке. Но сама Мира — особый разговор. Она словно яркий луч света в беспросветном мраке провинции, она будто нежный цветок, который расцвел среди грубости, грязи. Полюбив впервые, Мира преображается, из застенчивого подростка превращается в красивую девушку, готовую отстаивать свою любовь.

Мишель, в отличие от Миры, уже немало пожил и немало увидел. И успел столкнуться с предательством. Снова поверить в жизнь ему помогло не только то, что власти наконец-то поняли, что он невиновен. В большой степени помогла ему любовь к Мире. Мишель решительно ставит крест на своем прошлом. На том прошлом, в котором так много места было посвящено Лиз, где он не замечал того (а скорее, не желал замечать), что она просто играла с ним. Для нее он был очередным увлечением. И не больше. Любовь Миры же — чувство настоящее. Как говорится, на всю жизнь.

Закрывая последнюю страницу романа, хочется верить, что так оно и будет. Впрочем, роман оканчивается своеобразным многоточием. Все, что происходило на его страницах, как бы подытоживает одна из главных героинь Ванда (примечательно, что именно она является и первой, с кем знакомится читатель).

«Где же взять силы забыть одних ради одной правды, отречься от других ради другой правды? Зачем и почему? Думала ли я, что именно на этой земле и в мое время здесь в одночасье сойдутся реальность и мечты, а я окажусь на этом перепутье. Но так хочется быть просто счастливой, не тяготиться горечью разлуки, а радоваться встрече. Время рассудит всех, обязательно рассудит. Разве можно жить без надежды? Да храни всех Господь…»

Улягутся прежние политические страсти. Появятся новые. Жизнь будет продолжаться, будет писать свои новые страницы. Воссоздавать прошлое — удел историков и писателей. Когда же они представлены в одном лице, как Н. Голубева, то и появляются интересные исторические романы сродни этому.

Алесь Мартинович



Спасибо за публикации

С огромным удовольствием прочла в журнале воспоминания Зинаиды Красневской («Нёман», № 9, 2010 г.) и Татьяны Шамякиной («Нёман», № 8, 2010 г.). Какие молодцы! Думаю, что не у меня одной поднялась в душе теплая волна памяти тех далеких, но таких замечательных лет прожитой жизни. И не удивительно, мне скоро 75 лет, все самое прекрасное — там. По профессии я (и мой муж — мы однокурсники, 4 месяца тому его не стало) горный инженер-геофизик, специализация — поиски месторождений нефти и газа методом сейсморазведки. Окончили институт в г. Баку. Работали в Туркменистане — в Каракумах (18 лет), на Севере — в Мурманске, в акватории Баренцева моря — морская геофизика, на Полесье — Припятский прогиб. Такова география — и везде вложена огромная часть души. Жили мы работой, меньше всего думали о благах. Наше время было замечательно тем, что люди в своей массе были порядочными, совестливыми, понятие «честь» было не пустым звуком. Никогда и нигде я не слышала ни от одного руководителя в обращении с подчиненными хамства, высокомерия, унижения — ни к кому, а у нас ведь были и простые рабочие. А сейчас? Моя старшая дочь тоже геофизик — окончила Московский геолого-разведочный институт — везде работала с нами, теперь — в ЖКХ. Приходит зачастую с работы со слезами — начальники без мата сейчас не разговаривают — при женщинах! Такое в наше время нельзя было представить.

Помните, раньше практиковались Дни культуры в республиках Союза? Благодаря им мы, вечно находившиеся в полетах — так мы называли работу в экспедициях, сумели и успевали увидеть и услышать выдающихся артистов — Атлантова, Лисициана, Штоколова, Милашкину, Райкина, Зыкину, Хиля, Пьеху и многих других. А в 1965 году я из Ашхабада сумела на несколько дней слетать в Москву на Пятый международный кинофестиваль. В памяти остался просмотр первыми фильма «Разиня» с Бурвилем и Луи де Фюнесом.

Мое знакомство с Беларусью произошло до того, как мы сюда приехали жить. Благодаря изумительному роману Ивана Шамякина «Сердце на ладони». Читая этот роман, я и не предполагала, что мы окажемся именно в местах, описанных в романе (Мозырь, Калинковичи). Причина нашего приезда — трагическая. Мы буквально спасали своего сына от страшной болезни — муковисцирроз, нам врачи рекомендовали эти чистые сосновые леса. Он и умер здесь в 1982 году в 12-летнем возрасте.

Извините, что вторгаюсь в ваше время своими воспоминаниями. И дай Бог авторам воспоминаний крепкого здоровья и чистой памяти на долгие годы.

С уважением, Галина Курбанова.

п. Сосновый Гомельской области

Авторы номера

ДУДАРЕВ Алексей Ануфриевич. Родился в 1950 г. в д. Клены Дубровенского района Витебской области. Окончил театральный факультет Белорусского театрально-художественного института. Драматург, сценарист, председатель Белорусского союза театральных деятелей. Награжден орденом «Знак Почета», лауреат премии Ленинского комсомола Беларуси (1982), премии Ленинского комсомола (1984), Государственной премии СССР, премии «За духовное возрождение», Заслуженный деятель искусств Республики Беларусь. Живет в Минске.

ПОЗДНЯКОВ Михаил Павлович. Родился в 1951 г. в д. Забродье Быховского района Могилевской области. Окончил Белорусский государственный университет. Поэт, переводчик, прозаик, языковед. Автор многих книг для юных и взрослых читателей. Секретарь правления Союза писателей Беларуси, председатель Минского городского отделения СПБ. Лауреат ряда литературных премий. Живет в Минске.

БОГДАНОВА Лина (Богдан Галина Анатольевна). Родилась в 1961 г. в г. Береза Брестской области. Училась на математическом факультете Гродненского государственного университета. Автор пяти романов и двадцати рассказов. Живет и работает в Гродно.

АВРУТИН Анатолий Юрьевич. Родился в 1948 г. в Минске. Окончил Белорусский государственный университет. Поэт, переводчик. Автор многих книг поэзии. Член-корреспондент Петровской Академии наук и искусств и Академии поэзии (Москва). Лауреат нескольких международных литературных премий. Живет в Минске.

ГУРСКАЯ Ирина Александровна. Родилась в Минске. Окончила Литературный институт им. А. М. Горького, Институт Европейских культур при РГГУ (Москва). Поэт, прозаик, переводчик. Автор статей по творчеству Б. Поплавского, по культурологии и теории перевода. Переводит с итальянского и белорусского языков. Стихи публиковались в журнале «Грани», в сборнике «Дар света невечернего». Живет в Москве.

АВЛАСЕНКО Геннадий Петрович. Родился в 1955 г. в д. Липовец Ушачского района Витебской области. Окончил Белорусский государственный университет. Поэт, прозаик, драматург, переводчик. Автор многочисленных публикаций в периодических изданиях и нескольких книг. Живет в г. Червень Минской области.

БАРЖАВЕЛЬ Рене. Французский писатель, занимающий видное место не только во французской, но и в европейской литературе. Родился в 1911 г. в г. Ньон на юге Франции. Окончил коллеж Кюссе возле Виши. Считается первым автором французской научной фантастики XX века. Работал в кино (сценарист, диалогист), в основном с режиссером Жюльеном Дювивье. Умер в 1985 г. в Париже.

ГРАСНИК Ульрих. Родился в 1938 г. Окончил Высшую музыкальную школу в Дрездене. Современный немецкий поэт, автор многих поэтических сборников. Руководит литературным объединением в Кёпенике, одном из районов Берлина.